ДЭНИЕЛ КУИНН

ИСТОРИЯ Б



Дэниел Куинн

ИСТОРИЯ Б

Приключение сознания и духа

Роман

2021

«Кто не видит, что не видит,
тот не видит, что он слеп».
— Поль Вен.

Посвящается Гуди Кейбл
и, конечно, Ренни, всегда.

Оригинальное издание: Daniel Quinn, *The Story of B: An Adventure of the Mind and Spirit.* A Novel.—New York: Bantam Books, 1996.
Перевод с английского: Paul Bondarovski, 2021.
Обложка, вёрстка и графика: Paul Bondarovski, 2021.
На обложке использован рисунок: © Andreusk | Dreamstime.com

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЭПИЛОГ

ЛЕКЦИИ


часть
первая

ГЛАВА 1

Четверг, 10 мая

Дневник

Сегодня заскочил в магазин канцтоваров и купил толстую тетрадь — ту самую, в которой сейчас пишу. Событие безусловно значительное.

Раньше я никогда дневников не вёл, даже не собирался, и сейчас не уверен, что буду вести его регулярно, но решил хотя бы попробовать. Дневник — вещь особенная. С одной стороны, человек вроде бы ведёт его исключительно для себя, а с другой — обычно считает нужным сначала представиться и объяснить, с какой целью он это делает. Это наводит на подозрение, что все авторы дневников на самом деле пишут не для себя, а для потомков.

Интересно, есть ли на свете ребёнок, который на том или ином этапе пробуждения своего сознания не добавлял к своему почтовому адресу: «Планета Земля» или «Вселенная»? Уже пройдя через это почти три десятилетия назад, я начинаю свой дневник так:

Меня зовут Джаред Осборн. Я священник, помощник пастора в приходе Сент-Эдвардс и член ордена св. Лаврентия римско-католической церкви. К сказанному должен добавить: не очень хороший священник. (А дневник, оказывается, опасная штука! Таких откровений я до сих пор не позволял себе даже шёпотом, даже наедине с собой!) Не слишком задумываясь над тем, насколько это логично, хочу добавить,

что *именно потому,* что я «не очень хороший священник», я в данный момент своей жизни и ощутил потребность вести дневник.

Отлично. Именно так я и должен начать. Прежде чем перейти к остальному, чёрным по белому изложить, кто я такой и откуда взялся. Уже слава Богу, что нет нужды углубляться в прошлое до самого детства и начинать оттуда. Достаточно вернуться назад лишь настолько, насколько необходимо для объяснения, каким образом я оказался вовлечённым в одну из самых удивительных историй нашего времени.

Как я стал лаврентианцем

По давней традиции определяющим для лаврентианцев является их отличие от иезуитов. Одни историки говорят, что мы не такие плохие, как они, другие — что мы ещё хуже, третьи — что разница между нами лишь в том, что у них лучше налажены связи с общественностью. Оба ордена были основаны примерно в одно и то же время для борьбы с Реформацией, а когда битва была проиграна (или по крайней мере закончилась), оба избрали своим назначением воспитание элиты общества. Где же воспитываются юные иезуиты и лаврентианцы? Ясное дело, иезуиты — в иезуитских школах, лаврентианцы — в лаврентианских.

Я стал лаврентианцем по окончании университета Сент-Джеромс, интеллектуального центра ордена в Соединённых Штатах. Последнее отчасти объясняет, почему я стал именно лаврентианцем, но, естественно, не объясняет, почему я вообще стал священником. На этот счёт пока скажу лишь, что причины, по которым я в двадцать с небольшим лет принял такое решение, больше не кажутся мне достаточно убедительными.

Здесь важно отметить, что в студенческие годы на меня возлагали большие надежды, видели во мне будущий новый алмаз в короне. Однако, в моих постдокторских работах

вместо алмазов нашли лишь хрусталь — много блеска, но мало прочности. Разочарованы были все, но больше всех, разумеется, я. Начальство в меру возможного постаралось смягчить ситуацию. Преподавателем в мой или другой университет ордена меня взять не могли, но предложили место в одной из подготовительных школ. Если статус не имел для меня большого значения, епархия также предлагала работу в одном из приходов. Я выбрал последнее и так оказался в Сент-Эдвардсе.

Как я уже сказал, священник я не очень хороший. Это примерно как о беговой лошади сказать, что она не очень хорошая, потому что её готовили для скачек, а она потянула лишь на бег в упряжке. Откровенно говоря, на приходском уровне священнику и не обязательно быть *очень* хорошим. Это заявление не так цинично, как кажется, — священник всё-таки лишь посредник, а не источник милости Божьей. Конечно, ты должен быть усерден, уравновешен и терпим к человеческим слабостям (что уже немало), но никто не ждёт от тебя подобия св. Павлу или св. Франциску, и таинство, совершаемое тобой над последним негодяем, не менее богоугодно, чем над воплощением праведности. Мир сегодня таков, что, если ты не педофил и не пьяница, то уже честь тебе и хвала.

Отец Лалфр

Шесть дней назад я получил записку от секретаря настоятеля с любезным приглашением прибыть в среду (то есть позавчера) в три часа пополудни в офис отца Бернарда Лалфра. Это было в высшей степени странно.

Дорогой Дневник, сразу бьюсь об заклад, что тебе не известно, кто такой Бернард Лалфр, поэтому я должен тебя просветить.

Если коротко, то Бернард Лалфр для лаврентианцев такая же суперзвезда, как Пьер Тейяр де Шарден для иезуитов.

Тейяр де Шарден был геологом и палеонтологом, а Бернард Лалфр — археолог и психиатр. Характерная разница между ними в том, что Тейяр де Шарден знаменит на весь мир, тогда как Бернард Лалфр известен примерно десятку людей (в их числе Карл Поппер, Маршалл МакЛюэн, Ролан Барт, Ноам Шомски и Жак Деррида). Но это неважно. Для тех, кто дышит разреженным воздухом схоластических Альп, Бернард Лалфр — это авторитет.

Будучи студентом университета Сент-Джеромс, я написал курсовую работу, где высказал идею о том, что, хотя вера в жизнь после смерти, возможно, и лежит в основе традиции хоронить усопших вместе с их пожитками, не менее правомерным будет предположить, что, наоборот, практика похорон усопших вместе с их пожитками породила веру в жизнь после смерти. Преподаватель передал мою курсовую Бернарду Лалфру на предмет возможности её публикации в одном из подведомственных ему журналов. Опубликована она, естественно, не была, но привлекла ко мне внимание настоятеля, и некоторое время на факультетских чаепитиях обо мне говорили как о подающем надежды молодом даровании. Когда год спустя я принял послушничество, поползли слухи, будто я протеже настоятеля, и я по-детски решил эти слухи не опровергать. Отец Лалфр, возможно, и следил за моими успехами, но, если так, то делал он это совершенно безучастно. Когда моя академическая карьера начала буксовать, это было истолковано (с не меньшей долей фантазии) как потеря мною поддержки в верхах.

За пять лет, истекшие со дня моего рукоположения и до этого любезного приглашения к настоятелю, я не имел от него никаких вестей (да и с какой бы стати мне их иметь). Конечно, я был заинтригован, но всё-таки не настолько, чтобы прямо сгорать от любопытства.

Вряд ли он собирался отправить меня на бал в карете, запряжённой четвёркой лошадей. Вероятно, попросит о

какой-нибудь мелкой услуге или о чём-нибудь в этом роде. Возможно, кому-то в университете Сент-Джеромс захотелось что-то узнать о ком-то в Сент-Эдвардсе, и он сказал: «А почему бы не попросить отца Лалфра поручить отцу Осборну навести справки? Он как раз там работает». Вряд ли кому-нибудь показалось бы неудобным попросить меня пошпионить для ордена, раз уж возникла такая необходимость.

Наша частная шпионская сеть существует не один век, и работа в ней считается не менее престижной, чем служба в МИ-6 или ЦРУ. Втихомолку, конечно, но мы гордимся нашими интригами. Например, в последние десятилетия правления Елизаветы наш «Английский колледж» в Реймсе внедрил в Британию массу священников-агитаторов для поддержания мятежного духа в среде английских католиков. Самой крупной удачи мы добились в 1773 году, когда папа Климент XIV решил было расправиться со своими старыми друзьями иезуитами, но в последний момент засомневался, и один из наших агентов подсказал ему, как успокоить совесть и довести дело до конца.

Орден — наше Отечество, и само собой разумеется, что никогда и нигде я не позволю мелким епархиальным или приходским интересам поколебать мою верность ему. С другой стороны, если дело касается чего-нибудь в вышеупомянутом роде, то это настолько просто, что достаточно было и телефонного звонка. Чем дольше я размышлял, тем меньше представлял, о чём пойдёт речь.

В офисе отца Лалфра

Ничего не изменилось в офисе отца Лалфра с тех пор, как я в последний раз заходил туда десять лет назад. Он располагался всё в том же углу на том же этаже того же здания. Не изменился и сам отец Лалфр: сто восемьдесят два сантиметра ростом, широкий как дверь, с массивной угловатой головой

портового грузчика или шофёра грузовика. Такие, как он, внешне не меняются до тех пор, пока им не стукнет семьдесят или восемьдесят, и тогда они в одну ночь рассыплются и отдадут Богу душу.

Я встречал достаточно много блистательных людей, чтобы знать, что они редко блистательны и в личном общении, и отец Лалфр не исключение. Он встретил меня с напускной сердечностью, завёл разговор на какие-то отвлечённые темы и, казалось, был готов продолжать так часами.

К его сожалению, у меня не было настроения поддерживать эту беседу ни о чём, и через пять минут в кабинете наступила гнетущая тишина.

С видом человека, превозмогающего сильную боль, отец Лалфр, наконец, произнёс:

— Я хочу, чтобы вы знали, Джаред, что многие в ордене считают вас способным на большее, чем входит в ваши нынешние обязанности.

«Чушь какая-то», подумал я, но промолчал. Вместо этого пробормотал что-то вроде благодарности за тёплые слова, хотя не уверен, что сумел скрыть в своём голосе оттенки иронии.

Отец Лалфр вздохнул, по-видимому, всё ещё не находя нужных слов, чтобы перейти к делу. Я решил упростить ему эту задачу и сказал:

— Если у вас есть для меня новое назначение, отец мой, вы можете предложить мне его без обиняков. Я весь внимание.

— Спасибо, Джаред, мне нравится ваша прямота, — ответил он, всё ещё явно колеблясь. В конце концов, невыразительным тоном, словно не рассчитывая на понимание, он сказал:

—Вы, конечно, помните особый мандат нашего ордена.

Некоторое время я безучастно смотрел на него. Конечно, я помнил наш особый мандат.

Он касался Антихриста.

ГЛАВА 1

«Особый мандат»

Каждый новый послушник, изучая историю лаврентианцев, узнаёт, что устав нашего ордена с самого начала включал в себя особый мандат в отношении Антихриста. Он возлагает на нас почётную роль авангарда в его поисках и требует неусыпной бдительности. Мы раньше всех должны распознать Антихриста, помешать ему, а если представится возможность, то и уничтожить его.

Во времена, когда писался мандат, распознать Антихриста казалось делом довольно-таки простым. Он представлялся в образах Люцифера и его дьявольского отродья. По мере того, как этот поначалу отчётливый образ с течением времени терял ясность, лаврентианцы начали спорить между собой о том, какими именно средствами мандат может быть выполнен. Чтобы бдительность была эффективной, необходимо знать, на что именно обращать внимание. К середине семнадцатого века в Европе выявили такое множество Антихристов, что население в конце концов потеряло к этому вопросу интерес, и рассуждения об Антихристе стали примерно тем, чем они являются в наши дни — предметом теологических споров, не более того. Но не для лаврентианцев, которые в тайне разработали свою собственную, никем не санкционированную теологию Антихриста.

Упоминание об Антихристе мы находим в пророчестве Иоанна, который писал в своём первом послании: «Дети! Час последний близок. И, как вы слышали, что грядёт Антихрист, так и множество Антихристов уже появилось, из чего мы знаем, что последний час близок». Поскольку этот «последний час» так и не наступил при жизни Иоанна и его современников, каждое из последующих поколений христиан искало Антихриста в своём времени.

Первым делом они обратили внимание на преследователей церкви, прежде всего на Нерона, который, как ожидалось, должен был воскреснуть из мёртвых, чтобы продолжить

свою войну против Христа. Когда гонения со стороны римлян ушли в прошлое, Антихрист постепенно превратился в своего рода чудище из народных сказок — страшилище огромного роста, с налитыми кровью глазами, ослиными ушами и железными зубами. Конец эпохи Средневековья был ознаменован ростом народного возмущения коррупцией в среде церковнослужителей, и дошло до того, что в самом папстве увидели воплощение Антихриста. После этого папы и реформисты ещё целый век провели в раздорах, клея друг на друга ярлык лукавого.

Когда лаврентианцы со своим особым мандатом впоследствии решили тщательно проанализировать вопрос, они вернулись к его истокам и пришли к выводу, что пророчества редко содержат буквальное описание грядущих событий. Часто их даже не признают пророчествами, пока они не исполнятся.

В Новом Завете многие события из жизни Иисуса представлены как исполнение древних пророчеств, которые сами их авторы вовсе не обязательно считали пророчествами. Лаврентианские теологи рассуждали так: если пророчества о Христе были признаны пророчествами лишь после их исполнения, то почему должно быть иначе с пророчествами об Антихристе? Иными словами, узнать, что именно подразумевал Иоанн, не будет возможности до тех пор, пока предсказанные им события не произойдут, и тогда Антихрист скорее всего окажется совсем не таким, каким его представляли раньше.

Если кто-нибудь скажет вам, что Саддам Хусейн — Антихрист (и кандидатом в Антихристы его действительно выдвигали), вы имеете полное право расценить это как шутку. Антихрист едва ли явится в образе худшего варианта Гитлера или Сталина, потому что это было бы то же самое, только в большей степени — шестьдесят миллионов убитых вместо шести миллионов. Если вы пытаетесь распознать Антихриста,

а не просто банального злодея, вы должны искать в человеке опасность принципиально иного качества.

Так обстоят дела в конце второго тысячелетия. Хотя не совсем. Они обстоят так «официально», а в представлении рядового лаврентианского послушника Антихрист — не более чем архаизм, вот уже два столетия не имеющий конкретного смысла.

И вот теперь отец Лалфр намекает мне, что это ложное представление, намеренно внушаемое послушникам, чтобы прежде всего избежать в их среде пустой болтовни, которая легко может просочиться в прессу, падкую на сенсации. Такая политика хорошо работает. На нижних уровнях ордена тема Антихриста не всплывает. На высших же уровнях царит атмосфера секретности.

Лишь в очень редких случаях, не чаще одного раза в пятьдесят лет, вдруг возникает некто вызывающий беспокойство, и тогда орден отправляет кого-нибудь присмотреться к тому человеку поближе.

Кого-нибудь вроде меня. Кого-нибудь *совсем* как я.

Кандидат

Кандидатом был некий Чарлз Эттерли, сорокалетний американец, своего рода странствующий проповедник, уже десять лет ездящий по странам Центральной Европы и собирающий довольно многочисленную и разношёрстную аудиторию, не поддающуюся демографической или мировоззренческой классификации. В неё входили и старики, и молодёжь, вообще люди всех возрастов и обоих полов примерно в равной пропорции, ревностные христиане и евреи, священники дюжины разных конфессий (включая римско-католическую), атеисты, гуманисты, раввины, буддисты, радикальные защитники окружающей среды, капиталисты и социалисты, правоведы и анархисты, либералы и консерваторы. Единственными группами, не представленными в этой

пёстрой смеси, были бритоголовые, религиозные фанатики и неисправимые марксисты.

Кратко сформулировать суть его идей не представлялось возможным. Одни называли их «потрясающими», другие — «недоступными пониманию». Я спросил отца Лалфра, что опасного он нашёл в этом человеке.

— Опасно в нём уже то, — сказал он, — что ни он сам, ни его лекции не поддаются классификации. Он не пропагандирует медитацию, не проповедует ни сатанизм, ни неоязычество, ни лечение силой веры, ни спиритуализм, ни Умбанду, ни глоссолалию, ни бессмыслицу в духе нью-эйдж. Выступает он, похоже, совершенно бесплатно, что само по себе подозрительно. Когда человек загребает миллионы, с ним обычно всё ясно. Эттерли не имеет ничего общего с такими известными фигурами, как Дэвид Кореш, преподобный Мун, мадам Блаватская или Ури Геллер. Своими речами и образом жизни он скорее напоминает Иисуса из Назарета, что вызывает особое беспокойство.

— Беспокойство — это я понимаю, — сказал я. — Но в чём здесь опасность?

— Люди слушают, Джаред. Возможно, слушают что-то принципиально новое. Опасность кроется в этом.

Это я мог понять.

Кто думает, будто церковь открыта для новых идей, живёт в мире грёз.

Задание

Эттерли в настоящее время находится в Зальцбурге, сказал отец Лалфр. Я должен отправиться туда, послушать, понаблюдать, пообщаться со слушателями и обо всём доложить. На мой вопрос, кто будет моим европейским контактом, мне было сказано, что никто. Ни при каких обстоятельствах я не должен контактировать с кем-либо из ордена. Я должен ехать под своим настоящим именем, не скрывая, что я свя-

щенник, но и не афишируя это, в обычной мирской одежде, как будто я в отпуске.

— Почему не поручить это кому-нибудь из европейцев? — спросил я.

— Потому что Эттерли американец.

— Но он читает лекции европейцам.

— Не будьте наивным, Джаред. В Европе он лишь репетирует. Соединённые Штаты стали менее влиятельны за последние тридцать-сорок лет, но они по-прежнему задают в мире тон, и чтобы какие-то идеи завоевали мир, они должны сначала завоевать Америку. Эттерли это знает, даже если он не настолько умён, как о нём говорят, и когда он почувствует, что готов штурмовать Америку, можете быть уверены, он вернётся сюда. Мы должны быть готовы к встрече с ним раньше, чем он — к встрече с нами.

— Похоже, вы действительно принимаете его всерьёз.

Отец Лалфр пожал плечами.

— Если не принимать человека всерьёз, можно вообще его проморгать.

Обсудив такие мирские детали, как турагентства и кредитные карточки, я встал и направился было к двери, но внезапное ощущение, что я упустил что-то важное, заставило меня замедлить шаг. Уже стоя в дверях, я понял, что за вопрос меня беспокоил.

— А что потом? Я имею в виду себя.

Подумав минуту, отец Лалфр ответил встречным вопросом:

— А чего бы вы сами хотели?

— Не знаю, — сказал я. — Что вы имели в виду, когда говорили, что я способен на большее, чем прозябать приходским священником в Сент-Эдвардсе? Или по возвращении вы отправите меня прозябать там и дальше?

— Ваш вопрос имеет под собой основания, — сказал он, будто я и сам этого не знал. — Конкретных планов у меня

сейчас нет, но для меня само собой разумеется, что это задание обозначит начало чего-то нового в вашей карьере.

— Я предпочёл бы услышать что-нибудь поконкретнее, отец Лалфр.

— Я дал вам обещание, Джаред. Разве этого не достаточно?

Я был бы не против, если бы он повторил это обещание при свидетелях, но такой возможности явно не было, поэтому я решил не упрямствовать и ответил:

— Конечно, достаточно, отец мой.

Конец начала

Это было позавчера. Вчера и сегодня я был занят тем, что отменял встречи, передавал дела в Сент-Эдвардсе, оформлял связанные с поездкой бумаги и приводил в порядок записи в этом дневнике. Я что-то забыл сюда записать (может быть, даже многое), но сейчас не могу припомнить что именно и вряд ли найду для этого свободное время, пока не сяду в самолёт, который перенесёт меня через Атлантику.

ГЛАВА 2

Вторник, 14 мая

Зальцбург

Если шпиону в книгах Лена Дейтона или Джона Ле Карре дают задание разыскать человека в Зальцбурге, он скорее всего и найдёт его в Зальцбурге. В реальной жизни всё не так гладко. Чарлза Эттерли в Зальцбурге нет. Насколько я смог разузнать за два дня, его здесь никогда не было и не ожидают. Никто вообще о таком не слышал.

В остальном Зальцбург очень уютный городок, наполненный характерным шармом Старого Света, и местные жители без конца повторяют мне: «Ваш друг, вероятно, ждёт вас в Мюнхене». Как будто Мюнхен битком набит американцами, которых друзья ошибочно ищут в Зальцбурге, и один из них непременно мой.

Впрочем, можно поехать взглянуть.

ГЛАВА 3

Четверг, 16 мая

Мюнхен

Мне всё ещё не удалось напасть на след Чарлза Эттерли, и я начинаю чувствовать себя дураком. Я приехал в Европу совершенно не готовым к роли сыщика и нигде не нахожу ни одной зацепки.

Хорошо, конечно, что я нашёл общительную библиотекаршу с компьютером, и она целых полчаса пыталась мне помочь, но что особенного можно придумать, когда на все запросы вместо ответа выскакивает предложение спросить о чём-нибудь другом? Что можно придумать, когда уже пролистал все подшивки газет вплоть до Пивного путча? Разве что спросить у консьержа. Консьержи знаю всё. Но что если и консьерж не знает?

Можно было позвонить отцу Лалфру и посоветоваться, но эта идея мне не понравилась.

До сих пор я вёл себя довольно судорожно (не уверен, что это подходящее слово). Я действовал так, будто твёрдая, непоколебимая решимость сама собой поможет мне разыскать Чарлза Эттерли. Эта стратегия явно не сработала, и продолжать в том же духе смешно и глупо.

Факты таковы: срок мне не установлен, особой спешки в моей миссии нет, и я понятия не имею, что делать дальше. Следовательно (следовательно!), можно перестать суетиться и какое-то время просто плыть по течению.

ГЛАВА 3

Приглашение

Я пошёл прогуляться.

По правде сказать, я не искатель приключений. Как я сказал, я пошёл прогуляться, но лишь в окрестностях своего отеля, просто поглазеть на витрины. То тут, то там я останавливался перед ресторанами и разглядывал их меню, как будто что-нибудь в них понимал.

Так прошёл час, выброшенный на ветер с беззаботностью бродяги. В конце концов я приплёлся обратно в отель и некоторое время околачивался у стойки дежурного администратора в абсурдной надежде, что тот окликнет меня и вручит оставленную в моё отсутствие записку. Надежда не оправдалась, и я ленивой походкой отправился в бар, уселся за столик и заказал пива.

Несколько минут спустя бармен принёс полную чашку солёного арахиса и сказал, что джентльмен у стойки интересуется, не американец ли я, и если да, то не возражаю ли я, если он составит мне компанию.

Джентльмен у стойки оказался худощавым мужчиной лет шестидесяти, с живыми глазами, европейцем, если судить по покрою его пиджака — не первой свежести, но вполне респектабельного. Мне было любопытно, захотел ли бы он подсесть ко мне, если бы я не был американцем. Я с улыбкой кивнул ему, и он подошёл, захватив с собой свой стакан. Представившись с тевтонской церемонностью, он сел напротив меня.

Я нуждался в сочувствии и совете, так что герру Райхманну не пришлось загонять мне иголки под ногти, чтобы я признался ему, что разыскиваю человека по имени Чарлз Эттерли (ни слова об Антихристе, разумеется). Я заранее придумал себе не слишком убедительную, но правдоподобную легенду о том, что я внештатный журналист и ищу человека, который, если верить слухам, возглавляет некое новое религиозное движение.

— Новое религиозное движение? — недоверчиво и с иронией в голосе переспросил герр Райхманн. — Вы знаете, мы, европейцы, не так простодушны, как вы, американцы, с вашими ангелами и хрустальными шарами.

— Вы совершенно правы, — вежливо согласился я. — Именно поэтому Эттерли мне так интересен.

Несколько минут мы говорили на отвлечённые темы, затем герр Райхманн, после недолгой паузы, задумчиво глядя куда-то в дальний угол зала, сказал:

— Я могу вывести вас на кое-кого поинтереснее этого Эттерли. Вполне возможно, что кто-нибудь из его окружения сможет помочь вам и в вашем поиске.

— Буду премного вам благодарен, — с искренней радостью сказал я.

Он что-то написал на картонном бирдекеле и протянул его мне.

— «Дер Бау», сегодня в девять вечера. Консьерж покажет вам как пройти.

Он встал и направился было к выходу, но внезапно остановился, развернулся ко мне лицом и, кивая в знак прощания, сказал:

— Возьмите у него карту.

Пару минут спустя я вручил бирдекель консьержу и попросил показать мне дорогу на карте. Консьерж пытался убедить меня, что это совсем рядом и карта мне не понадобится, но я настоял, и он нехотя дал мне карту. Я спросил его, что такое «Бау».

— «Бау» — это «тоннель», — сказал он. Потом, подумав, добавил: — Нет, не так. «Бау» — это … это вроде подземного убежища.

— Катакомбы?

— Нет, звериное убежище.

— Нора?

— Да, нора.

ГЛАВА 3

В норе

Не представляю, чтобы такое место, как «Дер Бау», существовало где-нибудь в Новом Свете, хотя там можно найти места, оформленные в подражание этому стилю. «Дер Бау» был построен примерно в 1330 году неподалёку от Карлстора, изначально как винный погреб дворца какого-то дворянина. С течением веков окружавшие дворец улицы поднимались всё выше и выше из-за наносов земли, постепенно превратив первый этаж в подвал, а погреб — в своего рода «подподвал». Во время Второй мировой войны в подподвале хранили церковные и музейные ценности. Дворец оставался в руинах до 1958 года, после чего его снесли, а на образовавшемся пустыре построили торговый центр. Подподвал уцелел, и в нём, уже как «Дер Бау», разместилось кабаре в классическом стиле. Завсегдатаями его стали, однако, не обычные горожане, а художники и интеллектуалы всевозможных авангардных течений. Попасть туда можно было через вестибюль нового здания и затем по винтовой лестнице, спускавшейся, казалось, в самую преисподнюю.

При входе приятная молодая женщина пыталась убедить меня, что я, вероятно, ошибся адресом и что в Мюнхене много мест, где можно гораздо лучше провести время. Я твёрдо сказал ей, что знаю, куда иду, и что именно сюда меня пригласили на выступление, которое состоится сегодня вечером. Фамилия Райхманн не произвела на неё никакого впечатления, но, видя, что отговорить меня не удастся, она любезно отошла в сторону и позволила мне пройти.

В помещении было, конечно, непроглядно темно, но столики, к счастью, не освещались столь характерными для богемных заведений свечами. Потолок, к моему удивлению, высотой пять или даже шесть метров, был усеян крохотными поворотными светильниками, в данный момент едва мерцавшими, но при необходимости явно способными соперничать с полуденным солнцем.

Площадь помещения трудно было представить, поскольку стены тонули во мраке, видимая же его часть едва ли превышала тридцать квадратных метров.

В центре медленно вращалась невысокая круглая сцена, а над ней неподвижно висела квадратная металлическая рама с закреплёнными по бокам четырьмя видеоэкранами. В центре сцены стоял пюпитр с вмонтированной в него компьютерной клавиатурой. Почти на ощупь я пробирался вперёд, пока не нашёл свободный столик, настолько маленький, что на нём едва уместилась моя тетрадь.

Одним из секретов моих ранних успехов в учёбе было владение стенографией, что позволяло мне, слушая лекции, дословно записывать их. С годами я так хорошо овладел этой техникой, что мог вести записи в темноте (как мне и придётся сегодня) и автоматически, не концентрируя на этом внимание. Подготовив всё к записи, я вдруг подумал, что, вполне возможно, проведу этот вечер впустую. Герр Райхманн ведь не сказал мне, на каком языке будет лекция. С какой стати ей быть обязательно на английском? Я огляделся в надежде спросить у кого-нибудь, но вовремя спохватился: как глупо я буду выглядеть, если пришёл слушать лекцию на непонятном мне языке! И, Боже мой, я даже не знаю как зовут лектора!

Эти неприятные мысли оборвались, когда лампочки под экранами вспыхнули ярким светом, предвещая прибытие лектора. Как оказалось, он пришёл не один, а в сопровождении женщины. Они поднялись на сцену, и мужчина занял место за пюпитром и включил клавиатуру. В чёрном костюме, с пронизывающим взглядом и длинным носом с горбинкой, он был похож на большую хищную птицу. Ещё он напомнил мне горгулью, с её широкими скулами и большим ртом; а ещё — долговязого парижского гангстера, которого я однажды встретил на вечеринке, где он цитировал Августина и Шопенгауэра, при этом тени его страшного прошлого

отчётливо проступали у него на лице. На вид лектору было лет сорок или сорок пять.

Женщина — высокая, со спортивной фигурой, чуть старше тридцати лет — заняла место на краю сцены, лицом к публике. На ней были джинсы, заправленные в сапожки, чёрная шёлковая блузка и рыжевато-коричневый жакет из сыромятной кожи под цвет волос, стянутых на затылке конским хвостом. Когда медленно вращающаяся сцена приблизила её к моему столику, я разглядел на её лице удивительную татуировку — что-то напоминавшее красную бабочку. Цвет её кожи и экзотические черты лица не оставляли сомнений, что кто-то из её предков был родом из Африки, Азии или доколумбовой Америки.

Неожиданно включились экраны, и на них высветился заголовок:

ВЕЛИКОЕ ЗАБВЕНИЕ

Убедившись, что все присутствующие прочитали заголовок, мужчина приступил к лекции.* Мой взгляд встретился со взглядом женщины, и в тот момент она тоже заговорила, но — на языке жестов.

Практически с первых же слов лектора я понял, что меня обманули, непонятно лишь с какой целью. Мужчина на сцене не мог быть никем другим, кроме как Чарлзом Эттерли. Я понял это не в результате каких-то логических выкладок, хотя логика безусловно сыграла здесь роль. Вне всяких сомнений он был американцем. Одного этого было достаточно. Не могло же быть, чтобы два разных лектора из Америки в одно и то же время распространяли в центре Европы настолько эксцентричные идеи.

Теперь, задним числом, мне кажется странным, что это открытие так огорчило меня. Я просто не мог понять, зачем

---

* Текст лекции приведён в главе 25 — «Великое забвение».

герру Райхманну понадобилось вводить меня в заблуждение. Это казалось совершенно бессмысленным, и именно эта бессмысленность раздражала меня. К счастью, мои навыки в стенографии не подвели меня: мысли в моей голове совсем спутались, но рука продолжала работать. Слова Эттерли, будто по волшебству, сами собой ложились на бумагу, словно они всегда были записаны там невидимыми чернилами, а теперь эти чернила темнели под давлением моего пера. Я как раз смотрел на свою руку, когда она вдруг перестала двигаться — потому что Эттерли замолчал. Я взглянул на экран и увидел, что там буква за буквой появляется новый текст:

ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ …
СНОВА, И СНОВА, И СНОВА

По каким-то причинам это вывело меня из состояния транса. Я упустил четыре или пять минут лекции Эттерли, но, конечно, не насовсем. Они продолжали звучать у меня в голове, как своего рода эхо, позволявшее уловить суть сказанного.

Эттерли говорил о вещах, касавшихся моей жизни, а ещё больше — моей работы, и услышанное не нравилось мне. Не потому, что это была неправда, а как раз наоборот, потому что это была правда, но я её раньше не замечал. Под неожиданным для меня углом он рассматривал феномены, которым я был свидетелем тысячи раз, не обращая на них внимания. Я жил, как конь на королевском ипподроме в Аскоте — коню всё равно, что на него пришла поглазеть коронованная особа, но это не потому, что он демократ, а потому, что такие вещи выходят за пределы его понимания.

Всё, что говорил Эттерли, было очевидным, и всё было новым. От этого ум заходил за разум, потому что очевидному полагается быть *старым* — давно известным, наводящим скуку и не заслуживающим внимания. Я окинул взглядом слушателей, жадно ловивших каждое слово Эттерли, и мне

очень хотелось дать им всем подзатыльники, вцепиться в волосы, встряхнуть и закричать: «Зачем вы всё это слушаете? Вы же всё это *знаете!* Вы же сами могли до всего этого додуматься!»

Но они не додумались, как не додумался и я.

Сцена вращалась, приближая ко мне то Эттерли, то женщину, говорившую с помощью рук. Я уже ненавидел и эту карусель, и эту пару на ней. То, что их было двое, злило меня вдвое больше, чем если бы лектор был там один.

Меня раздражало видеть их то вблизи, то вдали, как раздражало и производимое ими на меня впечатление. Они демонстрировали мне, что я ничем не лучше того проклятого коня на королевском ипподроме в Аскоте. Я умею трясти головой и по-чемпионски вставать на дыбы, но не увижу разницы между конюхом и наследным принцем.

Они нашли у меня уязвимое место, о котором я сам не подозревал, и за это я их ненавидел. Они говорили ещё минут сорок. Я терпеливо слушал, хотя с большим удовольствием зажал бы ладонями уши. При этом моя рука продолжала стенографировать. Затем на сцене внезапно стало темно, лампочки над ней потускнели, и Эттерли и его подруга исчезли во мраке.

Я выскочил из подвала, как пьяница, который наконец вспомнил, где припрятал бутылку. Мне действительно хотелось выпить, но не в «норе» и не в отеле, где я, вполне вероятно, мог опять наткнуться на герра Райхманна.

Ничего, Мюнхен — огромный город, и спиртное в нём продают повсюду.

ГЛАВА 4

Пятница, 17 мая

Беспокойство

Похоже, я рехнулся, но, думаю, это пройдёт. Пришёл, увидел, убежал. Докладывать об этом отцу Лалфру я, разумеется, не стану.

Очевидно также, что я должен вернуться на след Эттерли.

Позднее

Герр Райхманн в отеле не проживает, и бармен, познакомивший нас, говорит, что никогда его прежде не видел. Я, правда, и не ожидал, что всё будет настолько просто. Консьерж навёл справки и выяснил, что «Дер Бау» открывается в три часа пополудни.

Сведения были неточными или устаревшими: он открылся (довольно неохотно, как мне показалось) около пяти с половиной. На этот раз персонал почти не говорил по-английски и ничем не мог мне помочь. Наконец, мне с большим трудом объяснили, что, если я сяду и подожду, то через час придёт некий Харри.

Я сел и стал ждать. К моему удивлению, примерно через час действительно пришёл Харри, оказавшийся или англичанином, или немцем, учившимся в Англии. Я сказал ему, что пытаюсь разыскать Чарлза Эттерли.

— Боюсь, что это имя мне незнакомо, — ответил Харри.

— Он выступал здесь вчера вечером, — сказал я.

— А-а. Его так зовут?

Я посмотрел на него с подозрением.

— Вы не знаете имя вчерашнего лектора?

— Мне незнакомо *это* имя.

— Что вы имеете в виду?

Харри пожал плечами.

— Имя, которое мне известно, может быть, вообще не имя. Его здесь знают как Б.

— Б? Как в слове «бой»?

— Да.

— Почему его так зовут?

Харри с усмешкой посмотрел на меня, как смотрят на маленьких детей, когда они спрашивают, откуда у Санта-Клауса эльфы. Я спросил, где можно его найти.

— Понятия не имею, — ответил Харри.

— А где будет его следующее выступление?

— Ни малейшей идеи.

Я ненадолго задумался.

— Но вы же как-то ангажировали его выступить в «Дер Бау»!

Он нахмурился, словно оценивая, не переступил ли я этим вопросом грань между простым любопытством и вмешательством во внутренние дела.

— Здесь не Лас-Вегас, дружище. Выступления организуются самыми разными способами и очень часто экспромтом. Мы не утруждаем себя формальностями, которые можно было бы назвать ангажементом.

— Но вы же должны были как-то на него выйти…

— Конечно, и если вы приставите мне револьвер к виску, я, может быть, вспомню, как мы это сделали, но в любом другом случае — вряд ли.

Он снова пожал плечами.

— Дружище, здесь не отдел розыска без вести пропавших, и у меня полно других дел.

Я сказал, что понимаю, поблагодарил его и за то немногое, что узнал от него, и хотел уже было направиться к выходу.

— Зайдите попозже, — сказал Харри. — У стойки всегда найдутся желающие поболтать, и кто-нибудь их них, может быть, знает о нём больше, чем я.

Я поблагодарил его ещё раз и вернулся в отель.

Сидя у себя в номере — сидя, расхаживая из угла в угол, стоя перед окном, — я вдруг вспоминаю, что сказочные герои, оказавшись в отчаянном положении, просто садятся и плачут. Современный герой в аналогичной ситуации скорее набьёт кому-нибудь морду или спустится в бар и напьётся, а сесть и заплакать ему и в голову не придёт.

В детективных романах следователь в таких случаях пытается раздобыть хоть какую-то случайную информацию. Но где её взять, даже такую?

Сидя и тупо глядя в дневник, я вдруг понимаю, что умышленно *избегаю* чего-то, а именно — прочитать лекцию, которую прошлым вечером в «Дер Бау» записал в другую тетрадь. Честно говоря, мне действительно не хочется это делать.

Интересная вещь: я помню её заголовок, «Великое Забвение», но не помню, в чём это Великое Забвение заключается. Нельзя, конечно, сказать, что я забыл совершенно всё, но я захлопнул эту дверь в своей памяти…

Спасён телефонным звонком. Как и следовало ожидать. Когда сказочный герой в отчаянии сидит и плачет, Вселенная посылает ему волшебных помощников. Мой был не очень волшебным, но определённо таинственным. Думаю, можно привести здесь наш разговор дословно.

Я: Алло.
ОН: Отец Осборн?
Я: Да. Кто говорит?

ОН: Вы чем, чёрт возьми, занимаетесь?
Я: Что?
ОН: Вы помните, зачем вы приехали?
Я: Кто это?
ОН: Мне дали понять, что пришлют кого-то хоть чуточку компетентного.

О чём идёт речь, было совершенно ясно, но это никоим образом не оправдывало вызывающую грубость собеседника. Я попытался слегка осадить его.

Я: Не знаю, кто вы и кто вам дал право читать мне нотации, но я знаю, кто я — приходской священник. Если вы ждали Джеймса Бонда, то либо вас обманули, либо вы сами обманули себя.
ОН: Разве быть приходским священником значит жить в состоянии комы?
Я: Сожалею, что разочаровал вас.

С этими словами я бросил трубку, чего не делал, кажется, с подростковых времён. А как ещё поступить, когда прижат к стенке? Естественно, он тотчас перезвонил.

— Девушка больна, — сказал он таким тоном, будто ничего не произошло. — Девушка умирает.

— Что?

На секунду я подумал, что он говорит мне какой-то пароль, на который я должен ответить: «Но ласточки вернутся в Капистрано всё равно». К счастью, я вовремя спохватился и спросил:

— Вы о той, которая говорила языком жестов?

— О ней. Вы видели её лицо?

— Видел. Только не понял, что это. Волчанка? Волчанка неизлечима, не так ли?

— Это склеродермия, а может, смешанное заболевание

соединительной ткани. Они все относятся к одной группе, включая волчанку. Это аутоиммунная коллагенопатия, дегенеративная и неизлечимая.

— Окей. И что прикажете мне делать с этой информацией?

— В Раденау есть лаборатория, которая занимается изучением и терапией заболеваний соединительной ткани. Поэтому они оба живут в Центральной Европе. Раденау — центр их круга, это в девяноста километрах к югу от Гамбурга.

— И что вы хотите этим сказать? Если заблудишься, езжай в Раденау?

— Если заблудишься, вспомни, что центр круга находится в Раденау.

— Кое-кто мог бы сказать мне об этом сразу.

Мой собеседник вздохнул. У него это получилось почти сочувственно.

— Кое-кто мог бы сказать об этом и мне. Но не сказал. Пришлось самому докапываться.

Не скажу, чтобы эта новость меня обрадовала, но я воздержался от комментариев и сказал:

— Это возвращает нас к моему первому вопросу: кто вы такой? И если этим занимаетесь вы, то что здесь делаю я?

— Вы должны вести, а я — следовать. Вам вообще не положено знать, что я здесь.

— Почему это мне не положено знать, что вы здесь?

— Не знаю. Возможно, цель в том, чтобы случайно не нарушить вашу маскировку. А может быть, чтобы не мешать вам действовать по вашей собственной инициативе.

— Шли бы вы к чёрту, Чарли, — сказал я.

Некоторых шокирует, когда священник позволяет себе выражаться вульгарно, как уличные мальчишки, но мой собеседник никак не отреагировал.

— Послушайте, — примирительным тоном сказал я, — я не сыщик, и не скрываю этого. Так что любая помощь приветствуется.

— Только не от меня. Прочь из отеля и за работу.

По мёртвой тишине в трубке я понял, что разговор окончен.

Пробую мыслить как сыщик

Я достал карту, и на душе сразу же полегчало. В круге с центром в Раденау оказалось четыре дюжины городов, где теоретически мог выступать Б: Нюрнберг, Дрезден, Берлин, Киль, Гамбург, Бремен, Эссен, Кёльн, Франкфурт, Гейдельберг, Штутгарт, это если считать только крупные. Задача была бы проще простой, иди речь о гастролях Билли Грэма, но как, чёрт возьми, отследить маршрут выступлений практически никому не известного человека по «имени» Б?

Не найдя вдохновения в географии, я стал думать о том, кто такой этот телефонный Чарли? Наверняка не священник. Как любой сделал бы на моём месте, я попытался представить его по голосу. Лет тридцати пяти, жилистый, среднего роста и веса, военного или полувоенного воспитания, с крысиным лицом и в дешёвой одежде стиля 1950-х годов. Как видно из этого описания, Чарли не завоевал мою симпатию. Некоторое время я повертел в голове мысль позвонить отцу Лалфру и спросить в чём дело, но не нашёл ни малейшего аргумента в поддержку этой идеи.

Если Чарли знает, где сейчас Б, то какой ему смысл скрывать это от меня? Если он хочет меня дискредитировать, то зачем звонить и давать мне наводки? А если отбросить наводки, то от всей его болтовни останется следующее: он наткнулся на ленивого школьника, который не справился с домашним заданием. Подсказывать школьнику правильные ответы — не его дело. Его дело — устроить школьнику выволочку. Это не лишено смысла, если он и в самом деле получил военное воспитание. Он ведёт себя как командир роты новобранцев.

Насколько я понимаю, во всём, что он мне рассказал, неопровержимым и относящимся к делу является лишь один факт: куда бы ни ездили Б и его подруга, они рано или поздно

непременно возвращаются в Раденау. Из того, что известно Чарли, это, видимо, самая ценная информация. Если бы он знал, что Б собирается провести лето, например, на Шпицбергене, он определённо не стал бы морочить мне голову выдумками про Раденау. Если я правильно рассуждаю, то Чарли и сам направляется в Раденау.

Похоже, чтобы сказать мне об этом, он и звонил.

Образование всё-таки не совсем бесполезно.

ГЛАВА 5

Суббота, 18 мая

Раденау

После позднего и неторопливого завтрака я выехал в Гамбург и прибыл туда во второй половине дня. Германия меньше, чем штат Монтана, а когда пересекаешь её из конца в конец на скоростном поезде, она кажется совсем маленькой. Поезд на Раденау отправлялся через пару часов, и я от нечего делать зашёл в туристическое бюро на том же центральном вокзале. В бюро мне настоятельно рекомендовали побывать на расположенной неподалёку улице Юнгфернштиг, с одной стороны которой открывается живописный вид на искусственное озеро, а на другой разместились самые роскошные магазины города. Я так и сделал, и улица действительно оказалась очаровательной.

Мало что в Раденау сохранилось с довоенных времён. Каким бы ни виделся этот город в последние годы войны Альберту Шпееру, главному технократу и архитектору Гитлера, он явно не собирался разместить здесь центр изящных искусств. Думаю, не людям, а заводам предназначалось чувствовать себя здесь как дома на всём протяжении Тысячелетнего рейха. Сегодня это обширная индустриальная зона с вкраплениями жилых кварталов, с виду мало чем отличающихся от казарм. Об отеле, где я забронировал номер, в моём путеводителе сказано лишь, что он современный и безупречно чистый; подтверждаю и то, и другое. Сказано

также, что отель расположен «в старой части города». Мне, однако, не удалось обнаружить в окрестностях ничего, что хоть отдалённо напоминало бы старину.

В поезде я коротал время тем, что расшифровывал стенограмму «Великого Забвения» для отправки отцу Лалфру. Зарегистрировавшись в отеле, я спросил у дежурного администратора, есть ли у них факс, на что тот окинул меня таким негодующим взглядом, как если бы я спросил, есть ли у них водопровод. Хорошо, что других вопросов у меня к нему не было.

Сейчас приму душ, потом не спеша поужинаю, размышляя о том о сём (всё-таки не о слишком многом), а перед сном, может быть, прогуляюсь. И ничего больше. Никакой работы до завтра.

Начало долгой ночи

Как я и предполагал, после ужина мне захотелось подышать свежим воздухом. Вечер был тёплый и тихий. Я не любитель долгих прогулок, так что, пройдя три квартала, уже собирался повернуть назад, как вдруг услышал где-то впереди гул толпы. Будь я в Бейруте, я бы, естественно, и не подумал пойти посмотреть, но, поскольку это был Раденау, мне стало любопытно.

Ориентируясь на шум голосов, я свернул в переулок и вскоре оказался перед маленьким театром, вход куда пикетировала группа из тридцати или сорока горожан, которым, судя по их стеснённым движениям, самим не очень-то нравилось участвовать в столь вульгарном мероприятии. Они беспорядочно перемещались туда-сюда, потрясая неведомо перед кем плакатами с неряшливо выведенными на них надписями и без энтузиазма скандируя лозунги, ещё явно нуждавшиеся в редактировании.

Не прошло и трёх секунд, как я уже был уверен, что нашёл Б или по крайне мере место его следующего выступления.

Изготовителям плакатов, похоже, нравилось придумывать всевозможные варианты интерпретации псевдонима Б. Из всего их множества мне запомнились «богохульник», «баламут», «болтун», «болван», «бездельник», «буффон», «бестолочь», «балда», «бродяга» и т. п. Некоторые называли его Бесом и Барабасом, а двое или трое, отбросив условие, что слово должно быть на букву «Б», шёпотом называли его Антихристом, что, признаться, удивило меня своим совпадением с гипотезой, которую мне надлежало проверить. Да что там, *всё* это было странно.

Вход в театр преграждал швейцар в униформе, чей грозный вид и взволнованность показались мне чрезмерными в данной ситуации. Единственным его требованием к желающим войти внутрь было оставить плакаты снаружи. Наблюдая за входящими в театр, я пришёл к выводу, что их план состоял в том, чтобы пошуметь немного на улице, затем пройти в зал, поперебивать немного оратора, после чего вернуться на улицу и поманифестовать там ещё немного. Смешавшись с толпой, я протиснулся в дверь.

Первым делом мне бросилось в глаза, что зрительный зал был не очень большим, мест на триста-четыреста. После этого я отметил про себя ещё более важную вещь: крикуны определённо с неохотой выполняли порученное им дело. Может, и правда немцы так любят порядок, что им неловко его нарушать?

Со всей очевидностью первые двадцать рядов занимали сторонники Б, сосредоточенные и заметно нервничавшие. За их спинами беспорядочно разместились озлобленные (но в большинстве своём молчаливые) противники. Я заметил в партере свободное место и направился туда, схватив по дороге пачку рекламных листовок, отпечатанных с одной стороны и поэтому годных к использованию в качестве писчей бумаги. К моему огорчению, Б был на сцене один.

Когда я садился, наши с ним взгляды встретились, и по

мелькнувшим в его глазах искоркам я понял, что он узнал меня. Или мне показалось.

Он стоял боком к аудитории, чуть сгорбившись над пюпитром и слегка вытянув шею, чтобы губы находились в миллиметре от микрофона. Я привожу эти подробности в надежде передать производимое им впечатление человека, полностью равнодушного к неудобствам, которые другим ораторам мешали бы говорить или по меньше мере раздражали бы их. К тому же, хотя крикуны и не слишком шумели, их враждебность почти физически ощущалась в воздухе. Его руки были спокойны и расслаблены. Казалось, всё его внимание было сфокусировано на мыслях, которыми он делился со слушателями столь же доверительно и спонтанно, как это бывает в личной беседе.

Не помню, как долго он говорил, помню только, что уловил знакомые фразы о «Великом Забвении». Хотя сама тема была мне знакома, на этот раз он излагал её более сжато. Я понял, что это было вступление, краткий обзор предыдущей лекции. Наконец, он сделал паузу и окинул взглядом аудиторию.

— Сегодня, — сказал он, — я хочу рассказать вам о лягушке в кипятке.

Я снял с ручки колпачок и начал стенографировать.*

Приглашение

До сих пор у меня не бывало причин задумываться об этом (или даже обращать на это внимание), но я впадаю в состояние своего рода транса, когда начинаю стенографировать. Возникает очень приятное ощущение (теперь, когда я к себе прислушиваюсь), что слова, выходящие из-под моего пера, это мои собственные слова. Появляется иллюзия, будто моя рука предвосхищает то, что услышат уши, будто слова известны мне раньше, чем они произнесены, и будто я мог

* Текст этой лекции приведён в главе 26 — «Лягушка в кипятке».

бы стенографировать лекцию, даже если бы лектор перестал говорить. Я испытываю странное ощущение тесной связи с оратором. Даже если я не вполне понимаю, что он говорит, я всё-равно воспринимаю смысл сказанного. Когда он перестаёт говорить, я могу оказаться не в состоянии ответить на простейший вопрос о содержании лекции, но это не беспокоит меня, поскольку я знаю, что всё надёжно зафиксировано на бумаге.

Поскольку в данном случае Б не использовал наглядные пособия, я закрыл глаза, что обычно способствует концентрации. Приблизительно через полчаса, однако, они открылись сами собой. Я взглянул на него, а он на меня, и наши взгляды встретились, при этом я не заметил в его глазах никакого особого выражения, которое было бы адресовано мне. Не прерывая речь, он окинул аудиторию точно таким же взглядом, не делая разницы, насколько я мог заметить, между сторонниками и противниками. Затем он вдруг сделал жест, не имевший никакой связи с тем, что он говорил. Он поднял вверх левую руку с вытянутым указательным пальцем, некоторое время подержал её в таком положении, затем резко согнул в локте и повернул вправо от себя, указывая за кулисы.

Несомненно это был какой-то сигнал, но я не увидел в зале никого, кто хоть каким-нибудь образом отреагировал на него. И я подумал, что, если я один обратил внимание на этот жест, то, может быть, он и *адресован* был мне одному.

Он продолжал говорить. Я закрыл глаза, чтобы отключиться от назойливого шума в задних рядах, а рука моя тем временем продолжала стенографировать. Шли минуты. Вдруг я заметил, что моя рука перестала двигаться. Открыв глаза, я увидел, что Б закончил лекцию. Он собрал разложенные на пюпитре бумаги и направился в сторону кулис. Лишь тогда в первых рядах раздались неуверенные аплодисменты, а в задних крикуны начали шумно поздравлять друг друга с

успешным завершением мероприятия. Б на ходу рассеянно поблагодарил всех кивком головы и скрылся за кулисами.

Ночной марафон

К тому времени, когда я вышел на улицу, акция протеста уже превратилась в гулянье, с поцелуями, объятиями и раздачей бумажных стаканчиков с вином всем участникам «благого дела». Сторонники Б разрозненными группами уходили в ночь. Крикуны к ним не приставали, а лишь свистели им вслед и выкрикивали какие-то глупости. Стоя на противоположной стороне улицы, я вскоре заметил, что демонстранты, как и я, не спускают глаз с узенького переулка за театром, где расположен служебный вход, и явно ожидают появления Б. Несколько минут спустя подъехал автомобиль — не лимузин, конечно, а лишь среднего возраста «Мерседес». Через секунду-другую группа добровольных охранников вклинилась в толпу и втиснула на заднее сиденье пассажира, после чего осталась на страже, пока автомобиль не отъехал и не скрылся за поворотом.

Упустив шанс пошуметь напоследок, толпа как-то сразу потеряла боевой дух и начала расходиться. Бутылки были закупорены, стаканчики собраны, и каждый, как принято, на прощанье обменялся рукопожатиями со всеми остальными. Пока продолжалась эта церемония, в дверях главного входа вновь показался швейцар, выпустил кого-то, видимо, из администрации театра, после чего запер дверь на ключ. Мужчина кивком головы поблагодарил швейцара, поднял воротник пальто, как бы укрываясь от ветра, затем повернул налево, протиснулся сквозь толпу и исчез в ночи. Узнать его было нетрудно, если бы кто-нибудь удосужился посмотреть. Я подождал, пока он не удалится метров на пятьдесят, и двинулся следом.

Я, конечно, не имел ни малейшего представления, куда он меня ведёт (если он вообще меня «вёл»). Ещё меньше мне

было понятно, почему я за ним иду. Жест, который я принял за приглашение, вполне мог быть спонтанным и ничего не значащим. Первое время я думал, что «Мерседес» объедет квартал и подхватит его, но этого не произошло. Затем я подумал, что он направляется в какую-нибудь таверну или кофейню неподалёку, но и это было ошибкой. Он всё шагал, и шагал, и шагал, и вот уже «старый город» остался у нас позади.

Эта авантюра нравилась мне всё меньше и меньше. Если я в итоге останусь один, добраться до отеля будет не так-то просто. Автобусы ходить перестали, во всяком случае в этой части города, и вот уже полчаса я не видел ни одного огонька такси. Хуже всего было то, что, по всем внешним признакам, мы вступили в район, именуемый промышленной зоной. Вокруг не было ни жилых домов, ни магазинов, ни кафе, ни дежурных аптек (откуда всегда можно позвонить и где хотя бы укажут дорогу), — одни лишь фабрики, мастерские, кирпичные заводы и товарные склады, где всё население в такой час составляли лишь ночные сторожа и сторожевые собаки.

Резонный вопрос: почему не догнать его и не спросить, куда он идёт? Я поразмыслил над этим. Поступить так было бы в порядке вещей или нет? Нормально это было бы или нет?

Толку от этих размышлений было, конечно, мало. Естественно то, что спонтанно, непроизвольно. Такие вещи, как эта, нужно или делать сразу, или не делать вообще. Разве не глупо шагать за кем-то целый час молча, а потом вдруг догнать и спросить, куда он меня ведёт? Абсурдная ситуация, которую я, взрослый, образованный мужчина, и т. д., и т. п., не должен был допустить, а должен был заранее выработать другую, лучшую линию поведения (хотя я и теперь не представляю какую именно).

Мои мрачные размышления прервались сами собой, когда я увидел, что Б входит в маленькое, не поддающееся описа-

нию строение. Снаружи оно было похоже на заброшенный сарай, втиснутый между товарным складом и сортировочной станцией. Я прибавил шаг, предчувствуя, что это и есть конечный пункт нашей прогулки. К моему изумлению, когда я подошёл к двери, рядом с ней оказалась оформленная с талантливой небрежностью вывеска: «Маленькая Богемия».

ГЛАВА 6

Суббота, 18 мая (продолжение)

«Маленькая Богемия»

Когда я открыл дверь и вошёл, у меня невольно вырвался глупый смешок, будто птичка вспорхнула с ветки. «Маленькая Богемия» оказалась таверной, но такой, каких я в жизни не видел, разве что во сне или воображении. Она могла бы послужить съёмочной площадкой для биографического фильма об Амедео Модильяни. В задымлённом зале с низким потолком и паутиной в углах было бы совершенно темно, если бы не несколько свечей, воткнутых в горлышки винных бутылок. Стены были испещрены эскизами, карикатурами и рисунками, большинство из которых настолько почернели от дыма, что виднелись лишь размытые пятна в стиле постимпрессионизма. Светившийся всеми цветами радуги музыкальный автомат у входа со страшным шипением играл старую, заезженную пластинку Пиаф. Это должна была быть, только и могла быть, и в действительности была песня «Жизнь в розовом цвете», вроде бы неуместная в такой обстановке и в то же время идеально вписывавшаяся в неё. Дисней, даже истратив миллион долларов, не смог бы создать столь характерную атмосферу. Пыль и паутина у него были бы из стерильно чистой пластмассы, а песню исполняла бы голограмма самой Пиаф в идеальной копии её знаменитого видавшего виды пуловера.

Клиентура, однако, роли не соответствовала, хотя вряд ли

осознавала это. Не было ни беретов, ни баскских рыбачьих фуфаек, ни артистических эспаньолок. Люди за столиками, тихо беседовавшие или склонившиеся над шахматными досками, могли быть кем угодно — поэтами, прозаиками, драматургами, актёрами, художниками, натурщицами — кто знает? В наши дни рекламного агента можно принять за художника, художника — за шофёра грузовика, а шофёра грузовика — за отдыхающего чемпиона по футболу.

Б сидел за столиком в глубине зала, и я понял, что он здесь, видимо, частый гость, потому что официантка уже обслуживала его, хотя с момента его прихода не прошло и шестидесяти секунд. Поймав мой взгляд, он кивком указал мне на стул справа от себя. Подойдя, я услышал, как он сказал официантке:

— Теда, принеси, пожалуйста, моему другу то же самое. Он, должно быть, устал с дороги. — Затем, обращаясь уже ко мне: — Это односолодовое шотландское виски, «Лагавулин», шестнадцатилетней выдержки. Мёртвого воскресит, если, конечно, влить не слишком поздно.

Я сел, уставившись (вероятно, довольно нескромно) в его странное горгулье лицо.

— Как вам понравилась моя лекция? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я и добавил: — Я не увиливаю, просто ещё перевариваю её.

— Вы были в «Дер Бау».

— Был.

— Но не были ни в Штутгарте, ни раньше.

— Нет.

— Это хорошо. Случайно или намеренно, но вы начали с самого начала цикла.

— Случайно, — сказал я.

Он вежливо улыбнулся, давая понять, что это не имеет большого значения.

— Кстати, как вас зовут? — спросил он.

Я сказал. В это время вернулась Теда с моей порцией виски — тёмной янтарной жидкостью в большой стопке. Я сделал маленький глоток и замер, поражённый его дымной, насыщенной крепостью.

— Прекрасный напиток, не правда ли?

Я кивнул и вдруг почувствовал странную отрешённость, как страница, которую вырвали из одной книги и вложили в другую.

— Почему Б? — спросил я. — Почему вас так называют?

Он криво усмехнулся.

— Понимаете… Я сам толком не знаю. Публика выбрала для меня это прозвище, исходя из каких-то не совсем очевидных соображений. Когда прозвище за мной закрепилось, я решил покопаться в этом вопросе, насколько возможно в таких вещах до чего-нибудь докопаться. В старину, если мужчине или женщине давали прозвище «А», значит, их грехом был…

— Адюльтер.

— Разумеется. Готорн же не сам это придумал для своей «Алой буквы». А если кого-то прозвали «Б», значит, его грехом было богохульство.

— И это в самом деле ваш грех?

— О да! Но я не думаю, что публика назвала меня так по этой причине. Во всяком случае вряд ли это было главной причиной.

— Тогда почему?

Он пожал плечами.

— Даже не знаю.

— Могу я узнать ваше настоящее имя?

— Мне не хотелось бы его называть. Я им больше не пользуюсь, разве что когда регистрируюсь в отеле.

— Хорошо. А почему вы дали мне знак следовать за собой?

Он улыбнулся совсем по-новому, на этот раз явно от удовольствия.

— Вам знаком средневековый китайский роман «Путешествие на Запад»? Это история короля обезьян, родившегося из волшебного каменного яйца на вершине горы. После многих лет беззаботной жизни он вдруг осознал, что мир полон удивительнейших вещей, о которых он ничего не знает, но очень хотел бы узнать. И он отправился в путешествие по свету, чтобы найти учителя. В конце концов он пришёл в монастырь, где настоятелем был знаменитый мудрец, который разрешил ему посещать занятия вместе с другими учениками, выполняя при этом работу по хозяйству.

Однажды, несколько лет спустя, мудрец спросил короля обезьян, какого рода мудрость тот ищет. Король обезьян попросил перечислить всё, что доступно, и, выслушав все описания, отверг их одно за другим от первого до последнего. Мудрец пришёл в ярость, трижды ударил его кулаком по голове и топнул ногой. Другие ученики были возмущены поведением мудреца, но короля обезьян оно не смутило, поскольку за годы учёбы в монастыре он усвоил язык тайных знаков и понял, что мудрец пригласил его прийти к нему домой в третью стражу. Когда король обезьян явился в назначенное время, мудрец похвалил его за стремление к мудрости сверх той, что доступна всем, и посвятил его в тайны магии, от которых тот сразу пришёл в состояние просветления.

Публичные и тайные учения

Я подождал минуту, чтобы убедиться, что Б закончил, затем спросил, не я ли та обезьяна, которую он выбрал для обучения по особой программе.

— Возможно, — сказал он. — Но я рассказал эту историю с другой целью.

— С какой же?

— Почему у мудреца было два учения: публичное и тайное?

— Не знаю.

Б опустил подбородок на грудь и исподлобья с иронией посмотрел на меня.

— Подумайте, — сказал он. — Подыграйте мне.

— Почему у мудреца было два учения? Я бы сказал, что иначе он не был бы таким уж и мудрецом. Публичные учения доступны всем, потому что их легко сформулировать. А тайные учения вообще нельзя сформулировать, поскольку их не бывает.

Б задумчиво кивнул.

— Очень хороший, современный ответ. Ответ циника.

— Я не считаю себя циником.

— Но вы уверены, что тайных учений не существует.

— Совершенно уверен.

— Иисус не передал своим ученикам никаких особых секретов?

— Нет.

— Ни Гаутама Будда, ни Мухаммед своим?

— Нет.

— Может быть, вы, конечно, и правы, но это не меняет сути моего рассказа.

— Хорошо. Но почему же у *вашего* мудреца было два разных учения?

— Одним премудростям очень легко научить, другим — очень трудно. Первые составляли публичное учение, оно преподавалось всем новым ученикам. Вторые составляли тайное учение, к которому стремились и которое могли усвоить только избранные ученики.

— Иными словами…

— Иными словами, тайные учения не потому тайные, что учитель держит их в тайне. Тайные учения — это те, которые трудно передать другим.

Я тряхнул головой. Удержаться от этого было сверх моих сил. Не припомню, чтобы кто-то так прямо и написал, но из всех текстов на эту тему вполне однозначно следует, что

никаких *реальных* тайн не существует, если, конечно, не принимать всерьёз такую запрещённую (и скорее всего мошенническую) деятельность, как колдовство или некромантия.

Мы многого не знаем, и многое никогда не узнаем, но всё, что нам *нужно* знать, нам уже известно. Если Моисей, Будда, Иисус или Мухаммед приберегли что-то для узкого круга посвящённых, тогда божественное откровение неполно и, по определению, не является откровением.

— Не очень понимаю, как это отвечает на мой первый вопрос, — сказал я. — Зачем вы пригласили меня сюда?

— Я пригласил вас затем же, зачем мудрец пригласил короля обезьян. Я надеюсь передать вам кое-какие премудрости, до которых мне никогда не добраться на сцене.

— Не понимаю. Почему вам никогда не добраться до них на сцене?

Вопрос, похоже, озадачил его. Он со вздохом опустил голову, затем тоскливо огляделся вокруг, словно исполняя в пантомиме роль доведённого до отчаяния учителя.

— Я думал, вы понимаете, что здесь происходит.

— Прошу прощения, я тоже думал, что понимаю.

— Всякий раз, когда Иисус обращался к людям, он обращался к людям с общей тысячелетней историей, общими взглядами и общими понятиями. К тому же, его аудиторией были евреи. Они не только говорили на одном языке — их мышление было сформировано одними и теми же писаниями, одними и теми же легендами, одним и тем же мировоззрением. Ему не нужно было объяснять им, кто такой Бог, кто такой Авраам, кто такой Моисей. Ему не нужно было объяснять им такие концепции, как *пророк, дьявол, покаяние, крещение, писание, шаббат, заповедь, рай, ад, мессия*. Все эти понятия были общеизвестны в их культуре. Где бы он ни выступал, он был абсолютно уверен, что слушать его пришли люди, заранее подготовленные к восприятию его слов.

— Да, это я понимаю.

— Иисусу не нужно было всякий раз начинать с сотворения мира — другие говорили об этом до него в течение сотен поколений, в буквальном смысле со времён Авраама. Я же *вынужден* делать это перед каждой новой аудиторией. Вы слышали меня в Мюнхене и здесь, в Раденау, но вы не слышали то, чему я хочу научить. Всё, что вы слышали, это лишь предисловие, и даже оно ещё далеко не закончено.

— Но рано или поздно…

— Да, рано или поздно я доберусь до сути, потому в толпе меня и называют богохульником, бесом и Антихристом. Но я никогда не доберусь до самого *конца* — во всяком случае не на публике.

— Почему?

— Потому что аудитория не одна и та же. Каждый раз меня слушают разные люди. Это значит, что с каждым новым выступлением в зале всё меньше и меньше людей, которые были и на предыдущих, которые всё слышали с самого начала. С каждым разом всё больше людей для меня потеряны. После пяти или шести лекций продолжать бессмысленно. До конца по-прежнему далеко, и я не надеюсь приблизиться к нему с нынешней аудиторией, а со следующей — ещё меньше. Мне придётся остановиться и начать всё сначала, как я сделал в Мюнхене.

Б покачал головой и добавил:

— И я вынужден ждать появления кого-нибудь вроде вас.

От этих слов мне стало не по себе. С таким чувством я порой просыпаюсь, когда мне снится, что я падаю с большой высоты.

Разоблачение

Маленькими глотками мы пили своё воскрешающее мёртвых виски. Мы слушали Пиаф и других певиц той эпохи, французских и немецких. Мы вдыхали в огромных количествах дым чужих сигарет.

Через несколько минут я сказал:

— И всё-таки мне непонятно, почему вы выбрали именно меня.

Б нахмурился и задумчиво почесал уголок правого глаза — как я вскоре заметил, привычный для него жест.

— Со всей очевидностью, это вас беспокоит, — после долгой паузы сказал он. — И я пытаюсь понять почему.

Я уже открыл было рот, чтобы возразить, но он остановил меня, покачав головой.

— Вы совсем не умеете притворяться.

Я в изумлении уставился на него.

— Мало практики, я бы сказал.

— С чего вы решили, что я притворяюсь?

Он снова покачал головой.

— Перестаньте, Джаред, у вас это в самом деле не получается. Или притворяйтесь уверенно, или вообще не пытайтесь.

— Вы правы, — признался я. — Из меня плохой притворщик и у меня мало практики. Но, как бы то ни было, почему вы решили, что я притворяюсь?

— Очень устойчивая тенденция в ваших вопросах: вы упорно настаиваете, что моё приглашение нуждается в объяснении. Со всей очевидностью, вы хотите понять, каким образом вам удалось меня обмануть.

Я не знал, как на это реагировать. Мои мысли спутались — а тут ещё этот дым, это виски, — в голове был непроглядный туман.

Я вдруг заметил, что за столиком нас уже трое. Я осознал это в следующей последовательности: сначала — что это был кто-то третий, потом — что это была женщина, и наконец — что эту женщину я уже видел раньше. Это была женщина из «Дер Бау», та, что переводила лекцию Б на язык жестов, женщина в жакете из сыромятной кожи и со странной бабочкой на лице. Внезапно я осознал, что меня с первого взгляда влечёт к этой женщине, с её плечами спортсменки,

с её манерой одеваться по-фермерски, с её растрёпанными тёмно-рыжими волосами.

Она говорила с Б — жестами. Он внимательно «слушал». Вдруг лицо его озарилось улыбкой, он посмотрел на меня и рассмеялся:

— Священник!

— Что? — переспросил я.

— Вы священник?

В недоумении я взглянул на женщину, но она встретила мой взгляд с выражением полного безучастия, как если бы я был ящерицей или рыбой.

— Она нашла ваш требник, — сказал Б.

В моём взгляде, видимо, читалось такое искреннее недоумение, что он добавил:

— В вашем гостиничном номере.

Но и после этого мне понадобилось около минуты, чтобы осознать происшедшее. Он провёл меня через половину Раденау, чтобы его ассистентка смогла не спеша пойти в мой отель, узнать, в каком номере я остановился, и пробраться туда. Хорошо ещё, что она не нашла мой дневник, который я, к счастью, ношу при себе.

Я не знал, что сказать. Я чувствовал себя полным идиотом и дилетантом, как тот подросток, который выбрал бутик «Картье» для своего грабительского дебюта.

— Так вы убийца или просто шпион? — спросил Б.

Женщина рассмеялась — не саркастически, а, как мне показалось, даже дружелюбно. К моему удивлению, оказалось, что она совсем не немая.

— Не убийца, — сказала она, глядя на меня как на кокер-спаниеля, которого по ошибке приняли за питбуля.

— Не уверен, — сказал Б. — Если не убийца, то кто?

Это было почти смешно. В тот момент Пиаф запела: «Non, je ne regrette rien» — «Нет, я ни о чём не жалею»! Я по-прежнему не находил, что сказать.

В таких случаях обычно пишут: «Минуты тянулись часами, как в кошмарном сне». Теда получила по счёту. Б и женщина встали, собираясь уходить, и, казалось, были удивлены, что я не двинулся с места.

— Вы решили заночевать здесь? — спросил Б.

— Нет.

— Тогда идёмте, мы подбросим вас до отеля.

Чувствуя себя ещё более по-дурацки, чем прежде, я забрался на заднее сиденье «Мерседеса», который ранее уже видел около театра. Женщина села за руль.

— Кстати, прошу познакомиться, это Ширин, — сказал Б.

Я молча кивнул.

Через пятнадцать минут мы остановились перед отелем. Я выбрался из машины и пробормотал какие-то слова благодарности.

Ширин кивнула, глядя на меня с жалостью, и машина уехала.

Изнемогая от усталости, я вошёл в отель.

ГЛАВА 7

Суббота, 18 мая (продолжение)

Ночь прошла, ночь прошла…

Оказалось, что нет.

Когда я проходил мимо стойки дежурного администратора, тот окликнул меня и передал записку в аккуратно заклеенном конверте. Кто-нибудь более опытный на моём месте просто сунул бы конверт в карман и забыл, но я не привык получать записки в отеле. Я вскрыл конверт и прочитал:

Джаред,

По получении этой записки немедленно позвоните мне. В любое время суток. Немедленно.

Бернард Лалфр.

Я скомкал записку и сунул её в карман. Когда я развернулся и направился к лифту, администратор сказал мне вслед:

— Он очень настаивал, сэр.

Я обернулся и к своему удивлению увидел, что это всё тот же дежурный администратор, которого так возмутил мой вопрос о наличии у них факса. Он, видимо, киборг — работает круглосуточно и без устали.

— Очень настаивал? — переспросил я.

— Очень, сэр.

— Мне бы хотелось бутылку виски в номер.

Его брови еле заметно сдвинулись.

— Боюсь, что бар закрыт, сэр.

— Мне не нужен бар. Мне нужно виски в номер. Поллитра, или какие у вас тут бутылки?

Я сунул ему сто марок и ушёл.

* * *

Звонить ли Лалфру в таком настроении? Это вряд ли было благоразумно, но мне очень хотелось выпить, лечь спать и утром проснуться без чувства невыполненного долга, поэтому я заказал разговор. Ответил сам отец Лалфр.

— Джаред! — сказал он. — У вас, должно быть, глубокая ночь.

— Так и есть.

— Что там у вас происходит? Введите меня в курс дела.

— Я побывал на двух лекциях Б, и …

— На чьих двух лекциях?

— На лекциях Б. Фамилию Эттерли здесь никто не знает. Публика знает его как Б.

— Б? Как в слове «бой»?

— Б, как в слове «богохульник».

— Понимаю. Вы побывали на двух лекциях, и …

— И целый час разговаривал с ним.

— Даже так! В каком же качестве? Слушателя? Ученика?

— Кто знает, — уклончиво сказал я.

— И какое у вас впечатление?

— Яркая фигура. Совершенно искренен.

— Я не о нём лично. Я о том, что он говорит.

Я слишком устал, чтобы думать.

— Не знаю. Кажется, всё довольно безобидно.

— Безобидно? Этого не может быть.

Я молча пожал плечами, забыв, что говорю по телефону и что между мной и моим собеседником шесть с лишним тысяч километров.

— Вы записали его на плёнку?

— Это непрактично. Нацепить на него микрофон я не мог, а иначе записал бы только шум в зале.

— Но вы хотя бы делали заметки?

— Я сделал лучше, — легкомысленно сказал я. — Я стенографировал всё дословно. Вы получили мой факс?

— Я не был сегодня в офисе. Всё уже там?

— Только первая лекция. Вторую ещё нужно расшифровать. Это займёт несколько часов.

— Надеюсь, у вас не какая-то экзотическая или ваша собственная стенографическая система?

— Нет, стандартная.

— Тогда моя секретарша сможет расшифровать. Факсуйте как есть.

Я начал было возражать, что записную книжку нужно сначала ксерокопировать, потому что саму её в факс не засунуть, но быстро понял, что веду себя как ребёнок. Сложив оружие перед неизбежностью, я спустился на первый этаж и сделал всё, что следовало.

Когда я вернулся в номер, меня там ждала бутылка «Катти Сарк». Я начал пить и писать. Не знаю, что, чёрт возьми, происходит, но знаю, что бесполезно вести дневник, если не записывать в него одно за другим все текущие события.

Изложил всё новое по данный момент и иду задёргивать шторы от восходящего солнца. Не забыть бы повесить снаружи табличку «Не беспокоить», прежде чем свалюсь замертво.

Опасные вопросы

Факс в этом заведении работает круглосуточно, но обед подают лишь до двух часов, и я успел сесть за стол в самый последний момент. Сейчас 14:47. Полагаю, что отмечаю время в надежде оправдать свою лень. Лень думать, лень писать, поэтому тщательно отмечаю время — так я вроде бы чем-то занят.

14:50. Интересно всё-таки, что со мной.

14:52. Кажется, моя жизнь разваливается на куски.

Разваливается под давлением чего? Не могу определить точно. Или не очень-то и хочу. Определённо Б играет в этом большую роль, но мне пока неясно, какую именно. Очень не хочется перечитывать его лекции. Они стоят у меня за спиной как зловещие тени. Уголком глаза я вижу их, и они тревожат меня, потому что разглядеть их ясно не получается. Я знаю, что могу развернуться и посмотреть им прямо в лицо, но, как я уже сказал, мне лень.

Я сказал отцу Лалфру, что учение Б безобидно. Что я под этим подразумевал? Думаю, что-нибудь в таком роде: Б безобиден потому, что он ставит под вопрос самые основы христианства, не говоря уже об иудаизме, исламе и буддизме.

Ничего опасного, правда?

Ничего опасного, отец Лалфр, потому что вы сами меня учили, что нет опасных вопросов, во всяком случае для *нас*. У *нас* на всё есть ответы, поэтому спрашивайте о чём угодно. Мы может ответить на любые вопросы. Абсолютно на любые. Для *нас* вопросы не представляют опасности, они для нас — благоприятные случаи.

Не правда ли, отец Лалфр?

Так в чём же проблема, отец Лалфр?

Я вам сказал по телефону: «Учение Б безобидно», а вы ответили: «Этого не может быть».

Чего не может быть?

Что вы имели в виду, отец Лалфр? Что опасные вопросы всё-таки есть?

Хороший солдат Джаред

Тот факт, что я нахожу во всём этом основания для беспокойства, беспокоит меня. Ведь нет же оснований для беспокойства. Я же хороший солдат, не так ли? Чертовски сообразителен, но по сути прост и бесхитростен. Как звали пастора в «Алой букве», которого мучили угрызения совести?

Диммсдейл? Я не Артур Диммсдейл, нельзя даже сравнивать. Моя совесть чиста. Хотите, чтобы я пошпионил за парнем, о котором ходят слухи, что он Антихрист? Проклятье, почему нет? Где мой билет на самолёт? Какой лимит у этой кредитной карточки?

Почему лучшие умы лаврентианцев остановили свой выбор на мне? Потому что им был нужен кто-то смышлёный, контролируемый и преданный. Не обязательно твёрдый в вере, но, желательно, с относительно слабым воображением.

Самое смешное, однако (даже страшно смешное), что именно потому, что я хороший солдат, простой и бесхитростный, я и *слушаю* того, за кем должен шпионить. А послушав, говорю себе: «Да, я понимаю, что он имеет в виду. Это что-то новое. Это *действительно* что-то новое. И это звучит убедительно. Убедительнее, чем *всё*, что мне когда-либо приходилось слышать на эту тему. Что же в этом плохого?»

Потом этот парень отводит меня в сторонку и говорит:

Потом этот парень проводит меня пешком через полгорода и говорит:

Потом этот парень угощает меня шестнадцатилетним виски и говорит:

— Есть знания, которые доступны лишь избранным. Я хочу посвятить тебя в некоторые из них.

Может быть, лучшим умам лаврентианцев следовало бы найти себе солдата похуже? Или, напротив, намного лучше?

Конечно, мои отношения с Б мне на данный момент не вполне ясны. Оглядываясь сейчас назад, я вижу, что сделанное Ширин открытие больше огорчило меня, чем его. Как я теперь понимаю, его реакция была для меня неожиданной потому, что я проецировал на него своё собственное восприятие ситуации. Будучи разоблачённым, я был готов к тому, что вызову у него отвращение или по меньшей мере разочарование. Ничего подобного, он нашёл ситуацию *забавной!*

Хорошо, я пока не уверен, в каких мы с ним отношениях,

но не думаю, чтобы он совсем уж поставил на мне жирный крест. Я не вышел из положения с блеском, но чтобы я вышел из него с позором, тоже сказать нельзя.

ГЛАВА 8

Воскресенье, 19 мая

Раденау, вторая ночь

Входя в девять вечера в театр «Ванфрид», я подумал было, что ошибся временем, потому что манифестантов на улице не было. Возможно, вторая лекция не фигурировала в их графике, или они решили, что одной ночи на баррикадах достаточно. А может быть, крикуны потребовались на какой-то другой площадке. Одна из активисток всё-таки караулила у входной двери — сердитого вида женщина, раздававшая сердитого же вида листовки. Я взял одну, но она была по-немецки.

Предыдущим вечером свет в зале был включён на полную мощность, как при эвакуации. Сегодня он горел так, что можно было читать, но не ярче. Слабо освещённая сцена была пуста, если не считать пюпитра. В зале было человек сто. Не желая быть узнанным со сцены, я выбрал место подальше. Публика вела себя спокойно, терпеливо и тихо — сотня незнакомых друг другу людей, большей частью, как мне показалось, глубоко одиноких.

Через несколько минут Б вышел на сцену, подошёл к пюпитру и начал приводить в порядок бумаги. Это такой приём у ораторов — дать публике время закончить начатые разговоры, усесться поудобнее и затихнуть.

Как я и предполагал, Б начал с краткого изложения не только вчерашней, но и мюнхенской лекции, неизбежно

ослабляя тем самым эффект от своих выступлений, о чём он мне говорил в «Маленькой Богемии». С каждой новой лекцией резюме предыдущих растут в объёме, пропорционально снижая общую эффективность.

Перед тем, как наконец приступить к материалу нынешней лекции, он сделал паузу, окинул взглядом аудиторию, как бы давая ей знак приготовиться, и — я приготовился записывать.*

* * *

Происходившее в моём сознании в течение следующих сорока минут вполне можно назвать радикальной переоценкой ценностей. Верующие нередко воображают, будто статус священника автоматически делает человека мудрее других. Однако, слушая Б, я ощущал себя ничуть не мудрее кого бы то ни было. Я во тьме. Я в самом начале пути. В определённом смысле мне всё ещё девятнадцать лет. В один момент моя рука замерла в нерешительности, и я сказал себе: «Не нужно записывать, достаточно просто слушать». Но сомнения были слишком сильны, и я продолжил стенографировать. Теперь я, конечно, этому рад. А тогда я чувствовал себя как рулевой за штурвалом тонущего корабля — беспомощным и никчёмным, поскольку дорогу ко дну корабль прекрасно найдёт и сам.

Через полчаса мне в голову пришло другое сравнение — я представил себя боксёром, терпящим поражение в восьмом или девятом раунде десятираундового матча. Я получал удары во все места, куда только можно было ударить по правилам, в каждый квадратный сантиметр своего туловища.

Фразы били меня наотмашь, и я защищался от них как мог. «О, вот эта опять по почке. Такая уже была в третьем раунде. А вот эта по бицепсу. В принципе не должно быть

* Текст этой лекции приведён в главе 27 — «Крушение ценностей».

больно, но, чёрт возьми, больно же! А вот эта вроде бы шла в плечо, но попала в ухо».

Когда лекция кончилась, я вместе со всеми вышел на улицу и остановился на противоположной стороне, ожидая, что через несколько минут появится Б. Было время подумать, и вот что я думал.

Я жил в своего рода капсуле для потомков, или, может, в особой больничной палате, где всё оставили так, как было в 1950-е годы. Жить в такой палате очень понравилось бы моим родителями и их друзьям. Не уверен, что именно я имею в виду, просто размышляю. В этой палате Гленн Миллер звучит так же приятно, как раньше, — не ностальгически, а как он звучал для моих родителей, когда они учились в колледже. В этой палате молодёжь справляет шумные свадьбы и проводит медовые месяцы в попытках разобраться, как *это* делается. В этой палате они ведут счёт неделям, а когда сбиваются, рождаются дети. В этой палате нет детей с наследственной наркозависимостью, нет безумных культов, нет террористов. В этой палате, если кто-то случайно настроит радио на выступление Б, то без задержки продолжит крутить настройку в поисках чего-нибудь другого, более созвучного жизни в палате.

Я не настаиваю, что действительно думал всё это, пока стоял перед театром, — вообще не уверен, что у меня в голове тогда были какие-то связные мысли, — просто стоял там и чувствовал себя отвратительно. Тем временем кто-то невидимый выключил свет под навесом над входом в театр, а затем и в фойе. Прошло минут десять. В конце концов до меня дошло, что программа вчерашнего вечера сегодня явно не повторится. Б по-прежнему был внутри, и, если я хотел встретиться с ним, я должен был искать его в театре. Почти на ощупь я пробрался к едва освещённому служебному входу и обнаружил, что дверь его слегка приоткрыта, буквально на толщину спичечного коробка, который и в самом деле

лежал на земле и мешал ей закрыться. Я вошёл, оттолкнув ногой коробок, и дверь закрылась за мной, негромко щёлкнув замком.

Где-то вдали слышались голоса. В них не было ничего особенного. Они не были ни радостными, ни грустными, ни возбуждёнными, ни приглушёнными. Они могли принадлежать людям, обсуждавшим как стоимость коммунальных услуг, так и конец времён. Разобрать слова было невозможно, хотя я прислушивался целую минуту, пока глаза привыкали к темноте и искали хоть какой-нибудь лучик света, который помог бы сориентироваться.

Сцена, конечно, должна была находиться более или менее по прямой линии от меня, по другую сторону незнакомых мне коридоров, актёрских уборных, арьерсцены, боковых карманов и, наконец, кулис, выходящих уже на саму игровую площадку сцены. Поскольку никакой путеводный ангел не пришёл мне на помощь, я начал осторожно пробираться вперёд и через пару минут был вознаграждён за своё усердие проблеском тусклого света, исходившего откуда-то слева. Это была голая лампочка, висевшая над пустой сценой, за которой виднелся пустой же зрительный зал.

В преисподнюю

Голоса между тем раздавались всё так же издалека, как и прежде. Я пошёл на их звук, и на арьерсцене увидел колодец с чугунной винтовой лестницей, спускавшейся в темноту. Свет здесь был не особенно нужен — ступени были расположены равномерно, а перила оказались незыблемо прочными. Однажды я где-то видел схему театра в разрезе, где были показаны первая нижняя сцена, вторая нижняя сцена, третья и четвёртая нижние сцены, и я помню своё недоумение: если вещи бесполезные, то зачем их хранить вообще, а если они полезные, то какой смысл хранить их на такой глубине? Вскоре глухие звуки моих шагов услышали внизу, и голоса

стихли. Четвёртая нижняя сцена, на которой кончалась лестница, была просторной и высокой. Сотня свечей на ящиках, столах и стеллажах в дальнем конце освещала некое подобие гостиной, устроенной посреди антикварной лавки.

Б сидел в кресле лицом ко мне. Он помахал мне рукой и громко сказал:

— Не бойтесь, здесь нет крыс!

По тону это звучало как приглашение. Внезапно с десяток лиц поднялись над этим нагромождением всякой всячины и уставились на меня из-за старой, потёртой мебели, свёрнутых ковров, манекенов, полусгнивших чучел, сваленных в кучу платьев, стопок книг и журналов и выцветших маскарадных костюмов на вешалках. Б словно почувствовал моё смущение и, видимо, решил смягчить неловкость моего положения следующим объяснением своего замечания о крысах.

— Руководство театра следит за тем, чтобы «Короля Лира» ставили не реже, чем раз в два года, — сказал он.

Дождавшись, когда все повернутся к нему, он продолжил:

— «Но лишь мышей и крыс семь лет давали Тому на обед». «Лир», акт третий, сцена четвёртая.

Едва ли от этого объяснения кому-то что-то стало яснее.

Он жестом указал мне на кресло справа от себя — чудесное старое бидермайеровское кресло с подушками из выцветшего бледно-зелёного бархата. Сам он расположился в ещё более чудесном *бержере* эпохи Регентства — из чёрного дерева с позолотой, с изогнутыми ножками в форме лап и подлокотниками с декором в виде львиных голов. Я сел и огляделся вокруг.

Справа от меня стояла экстравагантная оттоманка эпохи Директории, на одном краю которой, поджав ноги, устроилась Ширин, одетая, как всегда, в желтовато-коричневые джинсы, сапоги и шёлковую блузку (на этот раз не чёрную, а тёмно-зелёную). Она смотрела на меня с вежливым интересом, и я не был вполне уверен, что она узнала меня. Другой

край оттоманки занимала совсем юная, но очень серьёзного вида девушка в синих джинсах и серой фуфайке.

— Это Джаред Осборн, — сказал Б, и все кивнули, без особого энтузиазма, как мне показалось. — Я дам всем возможность представиться позже.

Повернувшись ко мне, он сказал:

— Мы здесь обсуждали вопрос, который возник в конце сегодняшней лекции, о необходимости программы. Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Боюсь, что не помню его.

— Если коротко, то один из слушателей спросил, что нам следует делать теперь, когда мы видим, что люди нашей культуры катятся в пропасть самоуничтожения.

— И вы хотите, чтобы я ответил?

— Я должен внести одно уточнение, — сказал Б, обращаясь к собравшимся. — Джаред Осборн — римско-католический священник.

— Я здесь не в этом качестве, — сказал я.

Б пожал плечами.

— Я полагаю, что точка зрения останется точкой зрения, даже если отбросить качество.

— Да, конечно, но я пришёл сюда слушать, а не выступать, если вы не против.

— Конечно-конечно… Перед самым вашим приходом я сказал кое-что о спасении мира, и Майкл, вон там, — он кивнул в сторону высокого мужчины, сидевшего напротив, — возразил против этой формулировки на том основании, что миру не нужно, чтобы мы его спасали, ему нужно, чтобы мы оставили его в покое. Я объяснил, что употребил слово «мир» не в биологическом смысле, а в традиционном библейском или литературном смысле, понимая его как «сферу материальной деятельности человека». Это мир, который имел в виду Вордсворт, когда писал: «Чрезмерен мир для нас». Это мир, который имел в виду Байрон, когда писал: «Как мир со

мной, так враждовал я с миром». Это мир, который имел в виду Иоанн, когда писал: «Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Вы с этим согласны, отец Осборн?

— Да, Иоанн определённо не имел в виду биосферу.

— Вот что я сказал: если мир и будет спасён, то только людьми с изменившимся мышлением, людьми с новыми представлениями. Он не будет спасён людьми со старым мышлением и новыми программами. Он не будет спасён людьми с новыми программами, но старыми представлениями.

Мне показалось, что все смотрят на меня и ждут моего ответа. Не знаю почему, но я был уверен, что это так. И я сказал:

— Я не уверен, что вижу разницу между представлениями и программами.

— Переработка отходов — это программа, — сказал Б. — Поддержка законов в защиту окружающей среды — это программа. Для участия в этих программах не нужны новые представления.

— Вы хотите сказать, что такие программы — пустая трата времени?

— Вовсе нет, хотя они внушают людям ложное ощущение прогресса и пустые надежды. Программы принимаются с целью противодействия представлениям или их ликвидации.

— Приведите пример того, что вы понимаете под представлениями.

— Например, представления в нашей культуре поддерживают идею изоляции. Они поддерживают идею отдельного жилья для каждой семьи. Они поддерживают замки на дверях. Они всеми силами поддерживают образ жизни, при котором люди сидят дома за запертыми дверями и смотрят на мир через экран телевизора. Люди уже так и живут, поэтому побуждать их к такому образу жизни не нужно никакими программами. Если же, наоборот, вы захотите, чтобы люди

выключили телевизор и перестали сидеть дома, вот для этого вам понадобится программа.

— Понятно. Мне кажется.

— Изоляция поддерживается представлениями, поэтому она достигается сама собой, а вот объединение людей в общество — нет, для этого требуются программы. Программы неизбежно противоречат представлениям, поэтому их приходится навязывать, «продавать» людям. Например, если вы хотите, чтобы люди жили просто, потребляли меньше, чаще покупали подержанные вещи, находили новое применение старым вещам, — вам потребуются специальные программы, чтобы стимулировать такой образ жизни. Но если вы хотите, чтобы люди потребляли больше и больше выбрасывали, вам не понадобятся никакие программы, потому что такой образ жизни поддерживается нашими культурными представлениями.

— Да, понимаю.

— Представления — это текущая река. А программы — это вбитые в дно сваи, замедляющие течение. И я говорю: люди с программами мир не спасут. Если мир уцелеет, то лишь благодаря людям с новыми представлениями.

— Иными словами, у людей с новыми представлениями появятся новые программы.

— Нет, это не то, что я говорю. Повторяю: представлениям не нужны программы. Представления — это текущая река. Промышленная революция была текущей рекой. Она не нуждалась в программах ни чтобы начаться, ни чтобы продолжаться.

— Но она и не всегда была текущей рекой.

— Не всегда. Она не была рекой ни во втором веке, ни в восьмом, ни в тринадцатом. Никаких признаков этой реки не было в те времена. Но один за другим на поверхность пробились родники, и ручейки от них начали сливаться вместе, десятилетие за десятилетием, век за веком. В пятнадцатом

веке это была уже заметная речка, в шестнадцатом она стала глубже и шире, в семнадцатом стала настоящим потоком, а в восемнадцатом стала судоходной рекой. В девятнадцатом веке она начала сметать всё на своём пути, а в двадцатом — затопила весь мир. И за всё это время не потребовалось ни одной программы в поддержку её прогресса. Река появилась на свет, выросла и набрала гигантскую силу исключительно благодаря представлениям.

— Понимаю.

— Один из парадоксальных признаков краха нашей культуры состоит в том, что поддержку наших же собственных представлений мы считаем злом, а разрушение их — благородным делом. Например, в школах успехи детей в учёбе никогда не вознаграждаются материально. К успеху нужно стремиться просто ради успеха, а не ради какой бы то ни было выгоды. Известные предприниматели ставятся в пример как образцы «креативности» и активной «благотворительной» деятельности, но их никогда не ставят в пример из-за их роскошных вилл, экзотических автомобилей и прислуги, которая в любой момент готова выполнить любую их прихоть. В мире, каким он представлен в школьных учебниках, хороший человек никогда и ничего не делает ради собственного обогащения.

— Да, похоже, что так.

— Люди нашей культуры — все поголовно — чемпионы по кусанию пуль. Для тех, кому незнакомо это идиоматическое выражение, объясняю, что кусание пули считается средством, помогающим переносить боль. Человек сначала терпит боль безо всяких средств, но когда боль становится невыносимой, он берёт пулю и сжимает её в зубах. К сведению тех, кто пишет и размышляет о нашем будущем, нам всем, чтобы выжить, неизбежно придётся кусать пули очень и очень сильно. Нашим мыслителям и писателям и в голову не приходит, что гораздо легче было бы всё бросить и начать

заново. По их мнению, лучшее, что мы можем сделать, это сжать зубы и крепче держаться за представления, которые убивают нас. По их мнению, наша судьба — это продолжать одной рукой колотить себя по темечку молотком, а другой принимать таблетки от головной боли.

— Разве легко изменить культурные представления? — спросил я.

— Это не измеряется лёгкостью или трудностью. Это измеряется готовностью или неготовностью. Если для новой идеи не пришло время, никакая сила на свете не заставит её пустить корни, но если её время пришло, она сметёт всё на своём пути, как лесной пожар. В Риме люди были готовы к восприятию того, что хотел им сказать св. Павел. В противном случае он исчез бы бесследно, и его имя не было бы известно нам.

— Христианство распространялось далеко не со скоростью лесного пожара.

— Если учесть, с какой скоростью в те дни распространялись новые идеи — без типографских прессов, без радио и телевидения, — можно сказать, что оно распространялось со скоростью лесного пожара.

— Если так, то, конечно, да.

— В данном случае я хочу заострить ваше внимание на том, что я понятия не имею, какие действия предпримут люди с изменившимся сознанием. Павел был в таком же положении, когда он в середине первого века ходил по империи, меняя сознание людей. Тогда он не мог вообразить ни будущую институционализацию папства, ни форму христианского общества в феодальной Европе. А вот один из первых авторов научной фантастики, Жюль Верн, мог блестяще предсказывать будущее на века вперёд, потому что между его временем и нашим ничего не изменилось в области представлений. Если у людей в следующем веке будут новые представления, они сделают то, что мы никоим образом не можем предуга-

дать сегодня. Более того, в противном случае — если бы их действия можно было предугадать сегодня — это означало бы, что их представления не сменились новыми, а остались по сути прежними.

— Однако, мне кажется, что у вас всё-таки есть программа, — сказал я. — Вы же хотите изменить сознание людей.

— По-вашему, у Павла была программа?

— Думаю, нет. Я бы сказал, что у него была цель, намерение.

— Я бы сказал, что у меня тоже. То, что я делаю, нельзя назвать программой, хотя я сегодня вечером и употребил это слово, отвечая на вопрос одной женщины.

— Можно подумать, что вы призываете людей вообще воздержаться от каких-либо действий. Разве любые последовательные действия не становятся в конечном итоге программами?

— Мы с вами говорим о разных вещах. Программы — не табу. Важно понимать разницу между представлениями и программами. Программы по своей сути реакционны. Это не делает их «плохими». Реакционность программ означает, что они всегда *следуют* и никогда не *ведут* (потому что они всего лишь *реагируют* на что-то). Программы — это вроде скорой помощи. «Скорая» не значит «плохая»; «скорая» значит временная, на короткий срок. Все программы без исключения реагируют на что-то плохое. Это значит, что им приходится *ждать,* когда это плохое случится. (Опять-таки, это не делает их «плохими», это лишь обрекает их на постоянное отставание.) Представления же, напротив, не ждут, пока случится что-то нежелательное — они направлены на достижение желаемого. Представления не противостоят тому, что есть, — они предлагают то, чего ещё нет. Они не помогают в беде, а открывают дорогу туда, где беды нет вообще.

В настоящее время река нашей культуры течёт по направлению к катастрофе, и программы — это вбитые в дно сваи, замедляющие течение. Моя цель — повернуть реку вспять,

в обратную сторону от катастрофы. Если река потечёт в другом направлении, людям не понадобятся программы, чтобы замедлить течение, а те, что уже существуют, пусть себе гниют в тине, бесполезные и ненужные.

— Очень амбициозно, — сухо заметил я.

— Можете назвать это манией мессианства, — с улыбкой сказал Б. — Как те, кто называет меня Антихристом.

От этих слов меня будто ударило током, не слишком сильно, но мне всё же понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и ответить, что я не понимаю, при чём здесь Антихрист.

— Это потому, что вы ещё мало меня слушали или ещё не сделали из услышанного логических выводов.

Здесь он попал в самую точку. В этом не было сомнений. Во всяком случае мне так показалось.

ГЛАВА 9

Воскресенье, 19 мая (продолжение)

Инквизиция

— Хотелось бы узнать, что здесь делает отец Осборн.

Это сказала Ширин. Я взглянул на неё, но она смотрела на Б.

— Может быть, он сам нам об этом скажет? — предложил Б.

Ширин обменялась взглядами с девушкой на другом краю роскошной оттоманки времён Директории. Казалось, все присутствовавшие переглянулись между собой. Видимо, Б счёл их общий ответ положительным, потому что он повернулся ко мне и кивком головы предоставил мне слово.

Должно быть, я всё же обладаю кое-какими шпионскими качествами, потому что я тотчас сообразил, что могу рассказать массу правдивых, но безопасных вещей, даже не прибегая ко лжи, в которой всегда есть опасность запутаться.

До сих пор, во время нашего диалога с Б, моё внимание было сконцентрировано на нём. Теперь была моя очередь, и я огляделся вокруг. Ширин я уже описал. Она была для меня непроницаемой, как сфинкс, с её странной печатью на лице и пронизывающим взглядом. Бонни, девушка на другом краю оттоманки (которая, как я узнал позднее, была дочерью американского бизнесмена), смотрела на меня с нескрываемым подозрением и враждебностью. Остальная аудитория (за пределами того, что я определил бы как узкий круг) казалась более нейтральной. Мужчина, которого Б

назвал Майклом, инстинктивно вызывал у меня симпатию, хотя не знаю, чем именно. Длинный, неуклюжий и немного смешной, с большими мясистыми ушами, вытянутым лицом, сонными глазами и подвижными, иронически изогнутыми губами, он в то же время производил впечатление очень интеллигентного и непритворно скромного человека. Его одежда была настолько обыкновенной, что совершенно не отпечаталась в моей памяти. Была также маленькая, лукавого вида женщина лет пятидесяти, которую я по каким-то причинам вообразил директором школы. Был также аристократического вида мужчина лет семидесяти, возможно, врач или библиотекарь на пенсии (позднее выяснилось, что он был булочником). Была также молодая супружеская пара из рабочего класса, державшаяся несколько нервно и встревоженно. Их звали Моника и Хайнц Тейтель. Был также двадцатилетний юноша, смотревший на меня с такой высокомерной ухмылкой, будто только и ждал удобного случая раздавить меня, как насекомое, своим гигантским интеллектом. Это был Альбрехт.

— Позвольте мне начать с того, чего я здесь *не* делаю, — сказал я. — Я здесь не в качестве эмиссара Ватикана. Если бы я был таковым, это было бы видно — я был бы одет в чёрный костюм с римским воротником. С другой стороны, это правда, что я послан сюда моим орденом, но не как миссионер или полемист. Я здесь не для того, чтобы вербовать неофитов или защищать веру. Я здесь для того, чтобы выслушать и понять.

— Что за орден? — спросила Ширин.

— Лаврентианцев.

Название явно не произвело впечатления. Я сказал, что это просветительский орден, схожий с иезуитским.

— Почему лаврентианцы захотели «понять» Б? Почему лаврентианцы, а не доминиканцы и не францисканцы?

— Боюсь, что я не могу ответить за доминиканцев и францисканцев.

— Вопрос был о том, чем вызвано любопытство лаврентианцев. Я полагаю, за них-то вы можете ответить.

Здесь она меня, конечно, поймала на слове. Я чуть было не признался в желании лаврентианцев убедиться в безосновательности выдвинутых против Б обвинений в том, что он Антихрист, но он ведь только что сказал, что я ещё недостаточно слушал его для каких-либо выводов на сей счёт.

— Я вынужден просить вас уточнить вопрос, — сказал я. — Вы спрашиваете, чем вызвано любопытство церкви вообще или лаврентианцев в частности?

— Разве есть разница?

— Несомненно.

— Хорошо, тогда скажите сначала, чем вызвано любопытство церкви вообще.

— Вы привлекаете внимание, затрагивая вопросы, непосредственно касающиеся веры, этим и вызвано любопытство. Всякий, кто проходил вчера вечером мимо театра и видел манифестантов с плакатами, мог заинтересоваться, в чём тут дело.

— Хорошо. А чем вызвано любопытство лаврентианцев?

— Отвечу совсем прямо: мы хотим быть впереди остальных. Нам нравится быть немного проворнее, немного бдительнее, немного любопытнее и немного энергичнее других в удовлетворении нашего любопытства.

— Авангард, одним словом.

— Так мы себя себе представляем. Это предосудительно?

Ширин засмеялась и тряхнула головой.

— Чистая работа, — сказала она.

Я посмотрел на Б, тот одобрительно кивнул.

— Да, очень чисто сработано, — сказал он. — По-настоящему хитроумные волки знают, что подозрительнее всех в стае выглядит волк, одетый в овечью шкуру.

— Что вы хотите сказать? Что по-настоящему хитроумные волки не станут маскироваться?

Б окинул взглядом аудиторию, затем кивнул в сторону Майкла, и тот, расплывшись в смущённой улыбке, сказал:

— По-настоящему хитроумные волки наденут маски *дружелюбных* волков.

Сразу три остроумных ответа промелькнули у меня в голове, но вслед за ними пришло осознание, что любые мои слова лишь подтвердят обоснованность предъявленного мне обвинения.

В этот момент женщина, которую я принял за директора школы, неожиданно высоким голосом сказала по-английски с сильным акцентом:

— Сорок лет моим путеводным принципом было и остаётся: «Никогда не доверяй христианам!» И ни разу ни один христианин не убедил меня в обратном.

— Могу я спросить, почему? — поинтересовался я, радуясь возможности сменить тему.

Глядя на меня с нескрываемой неприязнью, она сказала:

— Всегда ваша верность сомнительна, всегда… запачкана.

Не находя нужных слов, она обратилась по-немецки к Майклу, и тот перевёл:

— Фрау Хартманн говорит, что ваша преданность непостоянна. Всегда может быть пересмотрена вами по каким-то тайным причинам. Сегодня вы мне друг, но внутри у вас есть невидимая черта, за которой начинается ваша преданность Богу. Если я, ничего не подозревая, пересеку ту черту, то вы, продолжая дружески улыбаться мне, чего доброго решите, что теперь ваш священный долг уничтожить меня. На этой неделе вы мне друг, а на следующей вам скажут, что я колдунья, а Бог хочет, чтобы колдуний сжигали, и вы сожжёте меня. На этой неделе вы мне друг, а на следующей вам скажут, что я анабаптистка, а Бог хочет, чтобы анабаптистов топили, и вы утопите меня. На этой неделе вы мне друг, а на следующей вам скажут, что я вальденсианка, а Бог хочет, чтобы вальденсов вешали, и вы повесите меня.

Майкл сочувственно улыбнулся мне и объяснил, что Фрау Хартманн историк.

Поскольку у меня не было ни малейшей идеи, что ей ответить, я повернулся обратно к Б и сказал:

— Итак, я волк, надевший дружелюбную маску, и, будучи христианином, связан по рукам и ногам обязательствами, неизвестными посторонним. И как нам теперь быть?

— Не знаю. Ширин?

— Что вы делаете с заметками, которые строчите на лекциях Б?

— Это не заметки, — сказал я. — Это стенограммы.

— Пусть так. Что вы с ними делаете?

Ширин уже побывала в моём гостиничном номере и обыскала его. Раз так, она вполне могла докопаться и до того, что я делал со стенограммами. (В данном случае лучше было допустить, что она до этого докопалась.)

— Я посылаю их факсом своему настоятелю в Соединённые Штаты.

— Зачем они ему? Только не говорите, что он хочет быть в авангарде религиозной мысли.

Я опять повернулся к Б.

— Что на очереди? Иголки под ногти? Резиновый шланг?

Брови на горгульем лице Б сердито сдвинулись, и было непонятно, всерьёз это или в шутку.

— Почему вы переадресовываете мне свои затруднения? Это Ширин вас спрашивает, к ней и обращайтесь.

Я был потрясён этим предательством мужской солидарности, как и моим собственным предательством самого себя. Сам того не заметив, я надеялся склонить Б на свою сторону — дескать, мы, мальчишки, дружно против девчонок. Мне стало стыдно за себя. Я-то думал, что уже по меньшей мере лет десять, как избавился от таких подростковых комплексов.

Я взглянул на Ширин, и мантия священника соскользнула с моих плеч, как плащ со сломанной пряжкой. В одно мгно-

венье она стала в моих глазах личностью, а не вздорной, надоедливой прихожанкой, которую нужно как-нибудь успокоить, лишь бы поскорее избавиться от неё. В её глазах я увидел теперь не враждебность и подозрительность, как мне показалось вначале, а совсем, совершенно другое — страх. По какой-то причине, непостижимой для меня, я был источником террора для этой сильной и умной женщины. Я всей душой сочувствовал ей, и совесть грызла меня за то, что мой вынужденный обман столкнул нас друг с другом как непримиримых противников.

Я искренне собирался ответить на её вопрос, но, лишь начав уже говорить, услышал, что говорю совсем о другом.

Тайное становится явным

— Б говорит, что мир, к которому я принадлежу, отжил своё, — сказал я. — Он отжил своё десятилетия назад, а мы и не подозревали.

Ширин нахмурилась, пытаясь понять, к чему я клоню, и в то же время не хотела перебивать меня, видя, что я пытаюсь сформулировать какую-то важную для меня мысль.

— Это не совсем так, — продолжал я. — Мы *подозреваем*, что устарели, но верим, что наши опасения безосновательны. Вы понимаете, что я имею в виду?

Ширин беспомощно покачала головой.

— Я говорю о нас как о хранителях веры. Как о профессионалах. Мы знаем, как обращаться с нашими опасениями. Мы знаем это по долгу службы, поскольку ежедневно имеем дело с опасениями других. Мы, если можно так выразиться, профессиональные утешители, профессиональные позитивисты, профессиональные рассеиватели сомнений.

Ширин еле заметно кивнула, опустив голову буквально на миллиметр, не больше, давая мне знать, что вроде бы начинает улавливать ход моих мыслей.

— Тем, кого мы хотим ободрить, мы говорим: не волнуй-

тесь, ничего не случилось. Мир таков, каков есть. Не бойтесь, не тревожьтесь. Фундамент прочен. Колонны на месте, как прежде. Ничего не изменилось с девятисотого года, с двухсотого, с тридцать третьего, когда врата небесные были открыты для нас тем, кто отдал свою жизнь за наши грехи и на третий день восстал из мёртвых. Ни одна пылинка не изменилась с тех пор. Хотя воюем мы теперь хитроумными бомбами и нервно-паралитическим газом вместо мечей и камней и храним свои мысли на пластмассовых дисках вместо пергаментных свитков, *эти дни по-прежнему те дни*.

Ширин вдруг перевела взгляд на Б, обращаясь к нему за помощью. Не получив ответа, она повернулась к своей подруге на другом краю оттоманки, затем к фрау Хартманн, к Майклу. Но, казалось, никто не знал, как помочь ей в её затруднении, и Ширин пришлось повернуться обратно ко мне.

— Боюсь, что я всё же не понимаю, к чему вы это говорите.

— Мне показалось, что вы хотите знать правду.

— Да, хочу.

— Но вы же не можете сказать: «Под правдой я понимаю один конкретный фрагмент мозаики. Если это другой фрагмент, я не хочу о нём слышать».

Ширин удивлённо заморгала, затем кивнула.

— Прошу прощения, — сказала она, — я не поняла, что вы делаете.

— Эти дни по-прежнему те дни. Вы понимаете, что это значит?

— Честно говоря, не вполне.

— Вы спросили, почему моего настоятеля интересует, что происходит в Раденау. Объясняю: его это интересует потому, что эти дни по-прежнему те дни. Ничего не изменилось. Фундамент прочен. Колонны на месте, как прежде.

Ширин на минуту задумалась, затем вновь повернулась за помощью к Б.

— Я думаю, отец Осборн вот-вот нам всё объяснит, — сказал Б.

— Буду вам очень признателен, если вы перестанете добавлять звание, — сказал я и посмотрел по сторонам, давая понять, что прошу о том же и остальных. — Называя меня *отцом* Осборном, вы настойчиво подчёркиваете мой статус чужого и чуждого вам.

— Что вас устроит больше? — примирительно спросил Б.

— Поскольку вы здесь в основном называете друг друга по имени, я предпочёл бы, чтобы меня называли Джаредом.

— Меня Джаред устраивает, — сказал Б, — но остальные пусть сами решают.

— Хорошо, — сказал я и вновь обратился к Ширин. — Наш орден был основан четыреста лет назад, и его главной задачей была защита церкви от сил Реформации. Однако тогда же он взял на себя дополнительную, особую миссию, о которой последнюю пару столетий говорят мало. Эта миссия заключалась в бдительном несении специфической вахты: мы должны были первыми распознать Антихриста.

В помещении воцарилась мёртвая тишина. В конце концов её нарушила фрау Хартманн, хрипло воскликнув:

— Надеюсь, вы шутите!

— Раз вы так говорите, — сказал я, — значит, вы невнимательно слушали: *эти дни по-прежнему те дни*.

— Вы хотите сказать, что лаврентианцы по сей день продолжают нести эту вахту?

Это спросила Ширин.

— Да. Честно вам заявляю: я сам узнал об этом совсем недавно. Я был уверен, что об этом давно забыто. Я тоже начал было забывать, что эти дни по-прежнему те дни.

— Но это же нонсенс, — сказала фрау Хартманн. — Бред рыночных сплетников.

— Эти дни по-прежнему те дни для них тоже.

— Вы должны опровергнуть это, — твёрдо сказала она,

обращаясь к Б. — На следующей же лекции вы должны опровергнуть это.

— Опровергнуть как? Пустить по залу моё свидетельство о рождении в подтверждение того, что я, как все, простой смертный?

— Вы должны раскритиковать саму идею.

— На каком основании? Если можно постулировать существование Христа (а это, со всей очевидностью, можно), то почему нельзя постулировать существование его антитезиса?

— Но вы не его антитезис.

— Это вы так считаете. А другие, как вам известно, утверждают обратное.

— У них нет никаких оснований. Никаких оснований, которые … vernünftig.

— Никаких рациональных оснований, — сказал Майкл.

— Может быть, Джаред скажет нам, как на это смотрят лаврентианцы?

— Я разделяю мнение фрау Хартманн: нет никаких рациональных оснований для ассоциации вас с Антихристом, — сказал я. — Я сказал вам об этом двадцать минут назад, а вы возразили, что я ещё мало вас слушал, чтобы делать выводы.

— Итак, вы ответили, не ответив, — сказал Б. — Вопрос Ширин теперь даже более актуален, чем прежде: зачем вашему настоятелю ваши стенограммы?

— Я думал, что это уже понятно. Он хочет знать, что в ваших лекциях даёт людям повод называть вас Антихристом.

— Но что он делает, прочитав стенограммы? Кстати, у этого человека есть имя?

— Его зовут Бернард Лалфр.

Б замер от удивления.

— Археолог? Вы о нём говорите?

— Да. Вы его знаете?

— Я знаю его работы. Но я не знал, что он лаврентианец.

— Какие его работы вы знаете?

Б улыбнулся так, будто я вызвал в его памяти приятные воспоминания.

— Его имя слишком уж тесно связано с теорией о том, что свитки Мёртвого моря были созданы ессейской общиной, жившей в Кумране.

— Я не знал, что эта теория подвергалась сомнению.

— Подвергалась и подвергается, несмотря на все усилия отца Лалфра и других твердолобых фанатиков.

— Похоже, я читаю не те журналы.

Б пожал плечами.

— Как он отреагировал на ваши стенограммы?

— Пока никак.

— А как отреагирует?

— Не знаю. Честно, не знаю. Знаю только, что обычно он не реагирует ни скоропалительно, ни предсказуемо.

— В этом-то я не сомневаюсь, — с грустной улыбкой сказал Б. — Ни скоропалительно, ни предсказуемо. Отец Лалфр не из тех, кто мыслит прямолинейно.

ГЛАВА 10

Воскресенье, 19 мая (продолжение)

Антихрист за чашкой кофе

Я не заметил, когда исчезли Хайнц и Моника Тейтели. Теперь они вновь появились из сумрачного коридора за креслом Б, толкая перед собой сервировочный столик с кофе. Как ни странно, мысль о кофе пришла мне в голову буквально за минуту до этого. Я взял предложенную мне чашку, маленькую безвкусную выпечку, посыпанную сахарной пудрой, и вернулся с ними на своё место. Другие остались рядом со столиком, беседуя на какие-то отвлечённые темы. Одна Ширин не двинулась с места, продолжая сидеть, где сидела, глубоко о чём-то задумавшись.

Я закрыл глаза и попытался прислушаться к мыслям у себя голове. Их не было, в голове было пусто.

Когда через десять или пятнадцать минут столик увезли и все вернулись на свои места, Б заговорил в своей обычной неторопливой манере.

— В свете того, что мы сегодня услышали, — сказал он, — я решил изменить свои планы на ближайшие недели.

За исключением Ширин, которая восприняла это сообщение так безучастно, будто заранее о нём знала, все были явно удивлены.

— Все присутствующие, кроме, кажется, Альбрехта, по меньше мере один раз прослушали полный цикл лекций. Это означает, что вы уже знаете то, чего Джаред ещё не знает. Вы

знаете, почему перед театром устраивают пикеты, почему меня называют Вельзевулом, сатанинским отродьем, бесом и даже Антихристом.

— Они пикетируют потому, что не понимают, — буркнула фрау Хартманн.

— Как ты думаешь, Ширин?

— Они пикетируют потому, что именно понимают, — мрачно сказала Ширин.

— Боюсь, что Ширин права, фрау Хартманн, — сказал Б. — Но это сейчас неважно. Отец Лалфр, и наверняка кто-то ещё из начальства ордена, решили предать нас суду, а эти господа не имеют обыкновения публично оглашать свои приговоры. Я правильно рассуждаю?

Вопрос был адресован мне, и я кивнул в знак согласия.

Хайнц Тейтель поднял руку. Этот коренастый молодой человек и его жена Моника чувствовали себя наименее уверенно из всех членов этой разношёрстной группы. Извинившись, что отнимает у всех время банальным вопросом, который, может быть, даже не заслуживает ответа, он спросил, не могу ли я вкратце объяснить, имеет ли слово «Антихрист» какое-либо значение, кроме чисто условного.

— Никто из нас здесь не вырос в религиозной семье, — сказал он. — Мы привыкли считать, что Антихрист — это символический образ, вроде Мамоны или Пандоры, а не живой человек.

— Это совсем не банальный вопрос, — сказал я. — Я не эксперт, но постараюсь ответить как можно яснее. Антихрист — центральная фигура в мифологической истории космоса, каким люди представляли его в древности («в нашей культуре», как выразился бы Б). Культура Великого Забвения представляла Вселенную и человечество как результаты единого акта творения, совершённого несколько тысяч лет назад. События человеческой истории она рассматривала как важнейшие в масштабах Вселенной и считала, что произошли

они за довольно короткий период времени. Лишь несколько сотен поколений сменилось с самого начала времён и ещё столько же, если не меньше, сменится до конца времён. Важно понимать, что в представлении людей того времени Вселенная возникла не миллиарды лет назад, и у неё не было впереди ещё миллиардов лет. В их представлении космическая драма началась всего несколько тысяч лет назад и приближалась к финалу. Центральным действием этой драмы была борьба между добром и злом, а местом действия — наша планета. В среде евреев, которые, по всей вероятности, были самыми активными религиозными мифологами той эпохи, считалось, что решающая схватка произойдёт между двумя сильнейшими воинами с обеих сторон. Сторону Бога должен был представлять Мессия, чьё появление, ожидавшееся со дня на день, ознаменовало бы собой начало конца. Ожидалось и появление его противника — Человека Греха, воина со стороны Дьявола. Итогом их боя должно было стать поражение сил зла, что повлекло бы за собой конец истории и Вселенной.

Ранние христианские авторы имели такое же представление об истории, но для них Мессия, конечно, уже явился, и ожидалось лишь появление Человека Греха. Поскольку Мессию именовали Христом, его противник был назван Антихристом. Ясность миссии Христа автоматически проясняла и миссию его противника. Христос явился, чтобы привести человечество к Богу, а Антихрист — к Дьяволу. И Антихрист не отступится от своей цели точно так же, как Христос от своей. Антихриста люди полюбят так же, как любят Христа, и последуют за ним так же радостно, как следуют за Христом, но лишь до поры до времени, разумеется. В конечном итоге, после решающей битвы, силы Бога восторжествуют, и история придёт к своему завершению.

Это ясное представление об Антихристе с течением веков стало расплывчатым и карикатурным вследствие того, что

чуть ли не каждое поколение клеило ярлык с этим именем на кого попало. Всякий, кто вызывал в людях страх или ненависть, становился кандидатом в Антихристы, а, например, в годы Реформации обе враждующие стороны называли друг друга Антихристами. Позднее, в семнадцатом веке и далее, идея Антихриста людям наскучила. Из поколения в поколение они продолжали и продолжают выдвигать кандидатов в Антихристы — Наполеона, Гитлера, Саддама Хусейна, — но никто не принимает это всерьёз.

Наступила напряжённая тишина. Минуту или две все обдумывали моё краткое выступление. Первым заговорил Хайнц:

— Я могу понять, почему никто не принимает это всерьёз, — сказал он. — Чего я не понимаю, так это почему *вы* принимаете это всерьёз. Вы, ваш орден и ваш отец Лалфр.

Я признал, что это хороший вопрос. На самом деле я признал это в разных формах, пока пытался то так, то этак объяснить, почему вообще возможно относиться к идее Антихриста всерьёз. В конце концов я сказал:

— Теолог эпохи раннего христианства Ориген предвидел возникновение такой ситуации. Я не имею в виду, что он предугадал саму ситуацию. Я имею в виду, что его слова объясняют её. Он говорил, что каждое поколение выдвинет своих предтеч и свои прообразы Антихриста, и они будут заслуживать это имя в той мере, в какой будут воплощать в себе дух Антихриста. В их числе окажется по меньшей мере кто-то *один,* кого можно будет назвать Антихристом в полной мере. В ожидании этого *одного* мы и сохраняем бдительность.

— Что это значит, «тот один, кого можно будет назвать Антихристом в полной мере»?

— Это как раз то, что невозможно узнать заранее. Это можно узнать, лишь столкнувшись с этим человеком лицом к лицу. Иными словами, только увидев *подлинного* Антихриста,

мы поймём значение этого слова. Тогда мы спросим себя: «Как же мы могли представлять, будто Нерон был Антихристом, или папа, или Лютер, или Гитлер?» Только настоящий Антихрист раскроет нам смысл пророчества. Только так мы распознаем его. Только он может показать нам, что такое в действительности Антихрист.

Приговор

Наступила мёртвая тишина. Её нарушил юный Альбрехт, спросив Б, почему тот ради меня изменил свои планы. Меня удивило, что он говорил не с немецким, а с английским акцентом.

— Чтобы поскорее отделаться от него, — пожав плечами, ответил Б.

— Если дело в этом, то поручите его нам с Хайнцем и Майклом, мы отведём его подальше и утопим в озере, или что-нибудь в этом роде.

— Сомневаюсь, что от этого будет толк. Как вы думаете, Джаред?

— Согласен, много толку не будет. Меня легко заменить. Кроме того, в случае моей пропажи подозрения практически сразу падут на вас.

— Боюсь, что Джаред прав, — сказал Б, обращаясь к Альбрехту.

— Всё равно не понимаю, какой смысл помогать ему.

— Подскажите, как можно ему помешать, и я ему помешаю.

Альбрехт задумался, но, со всей очевидностью, ничего не придумал.

Б поднялся.

— Я думаю, что на этом мы остановимся, — сказал он. — Ширин и я будем держать вас в курсе. — Затем, повернувшись ко мне, добавил: — Ширин проводит вас до отеля. Приходите завтра в шесть или семь.

Я хотел было сказать, что нет необходимости провожать

меня до отеля, который находится в четырёх кварталах от театра, но вовремя сообразил, что Б знает это не хуже меня.

Освобождение заключённого

К моему удивлению, когда мы вышли из театра, на улице ещё было совсем темно. Вопреки времени, которое показывали часы на моём запястье, у меня было ощущение, что после затянувшихся «бури и натиска» уже давно наступил рассвет.

Некоторое время мы с Ширин шли молча, затем я заметил, что они с Б, похоже, чувствуют себя как дома в театре «Ванфрид».

— Директор театра разделяет наши взгляды, — сказала Ширин, не вдаваясь в подробности.

— Стало быть, вы здесь и живёте?

— Да, это наша штаб-квартира.

— Но почему в Раденау?

Спросив это, я тотчас вспомнил, что знаю ответ. Таинственный незнакомец объяснил мне это по телефону в Мюнхене. На секунду я пожалел, что спросил, но затем решил, что вопрос совершенно естественный. Не спросить об этом было бы более подозрительным, чем спросить.

— Здесь находится медицинский центр, где занимаются изучением и терапией смешанных заболеваний соединительной ткани, — сказала она.

— Б страдает смешанным заболеванием соединительной ткани? — спросил я.

— *Я* страдаю смешанным заболеванием соединительной ткани. Склеродермией, если коротко.

— Мне очень жаль, — сказал я. — Мои познания в медицине очень поверхностны. Это как-то связано с *этим?* — Я провёл рукой по своему носу и по щеке.

— Волчаночная бабочка, — сказала Ширин.

— Волчаночная… Прошу прощения, что такое волчаночная?

— Волчанка. Ещё одно смешанное заболевание соединительной ткани. У меня симптомы обоих.

— Надеюсь, это не очень серьёзно.

— Вы правда надеетесь?

— Правда. Хотите верьте, хотите нет, но священники иногда способны на нормальные человеческие чувства.

Почти намёк на то, что обычно мы на них не способны.

— Всё зависит от того, — сказала она, — насколько задеты другие органы — сердце, лёгкие, почки. К сожалению, в моём случае всё очень серьёзно. Врачи не надеются, что я доживу до начала нового века. С другой, положительной стороны, конец, вероятно, наступит мгновенно, а до тех пор, чем активнее будет мой образ жизни, тем лучше. Это не та болезнь, при которой полезен постельный режим.

У священников на такие случаи всегда заготовлены утешительные и ободряющие фразы, но ни одна из них не приходила мне на ум. Не хотелось даже повторять, что мне очень жаль.

Ещё некоторое время мы шли молча. Наконец, она спросила, понял ли я, почему Б попросил её проводить меня. Я ответил, что нет.

— Сначала я тоже не поняла, — сказала она. — Но теперь понимаю. Он знает, что я способна думать о немыслимом и задавать немыслимые вопросы. Для людей в моём положении это в порядке вещей.

— У вас ко мне немыслимый вопрос?

— Да.

— Спрашивайте.

— Что сделает ваш отец Лалфр, если решит, что Б — Антихрист?

Я усмехнулся, или вроде того.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Это действительно из области немыслимого.

— Немыслимо, чтобы он решил, что Б — Антихрист?

— Да.

— Тогда зачем ему было посылать вас сюда?

Мне потребовалась минута или две, чтобы обдумать ответ. Как ни странно, я до сих пор не видел причин задумываться над этим.

— Если в один прекрасный день, — сказал я, — на стене в гостиной у г-на Смита проступит пятно с изображением плачущей девы Марии, и все будут клясться, что каждый четверг в три часа пополудни из глаз её текут слёзы, и тысячи паломников станут приходить туда днём и ночью, и люди начнут свидетельствовать, что пятно чудесным образом исцеляет больных, то рано или поздно церковь отправит кого-нибудь посмотреть, что там происходит. Какого-нибудь невзрачного священника вроде меня, откуда-нибудь издалека, потому что местному священнику будет неловко объяснять своим прихожанам, что пятно появилось в конце особенно дождливой недели прошлой весной; что семья Смитов сразу же наняла местного рабочего, чтобы починить протёкшую крышу; что по четвергам после обеда г-н Смит никого и близко не подпускает к деве Марии; что флакончик, в который он собирает слёзы, вполне может быть использован и как их источник; что, хотя г-н Смит действительно не взимает с посетителей никакую плату, большая корзина у входной двери всегда полна денег; и что, хотя два или три человека уверяли других, что исцелились от чего-то, ни один из них не пробыл в городе достаточно долго, чтобы его могли осмотреть врачи.

— Значит, этого священника прислали не для того, чтобы проверить, произошло ли чудо.

— Конечно, нет. Его прислали, чтобы удостовериться, что никакого чуда *не* произошло.

— Боюсь, что для меня это слишком запутанно. Если всем ясно, что чуда не было, зачем посылать священника?

— Потому что кого-то *нужно* послать. Неважно насколько всё там сомнительно, неважно насколько невероятно — кого-то нужно послать.

— Затем кто-то должен прочитать его рапорт.

— Абсолютно. Рапорт будет прочитан, обсуждён, утверждён, заверен, зарегистрирован, и при необходимости копии его будут отосланы в епархиальный архив, а может быть, и в архив Ватикана, где они будут храниться до конца времён.

Мы продолжали идти по пустынным улицам Раденау.

Когда за очередным домом показался мой отель, я почувствовал, что у Ширин есть ко мне ещё по меньше мере один вопрос.

— Не знаю, как об этом спросить, — сказала она.

— Спрашивайте как сможете.

— До вашего приезда сюда Б был для вас пятном на стене?

— Совсем нет. Если вас посылают в чём-нибудь разобраться, нужно отнестись к этому очень серьёзно.

— Даже если результат предрешён?

— Теоретически предрешён. Предрешён на девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента. Всегда есть крохотная доля вероятности — бесконечно малая, но всё-таки есть, — что в пятне действительно чудесным образом проступила дева Мария, которая натуральным образом плачет каждый четверг после обеда.

— Или что Б — Антихрист.

— Да.

— Тогда вопрос, на который по-прежнему нет ответа: что сделает отец Лалфр, если решит, что Б — Антихрист?

— Он передаст своему начальству, что нужно готовиться к наступлению новой эры в истории человечества.

— Он этого не сделает.

— Конечно, не сделает.

Мы остановились под маркизой отеля и повернулись лицом друг к другу. Её взгляд встретился с моим, и я увидел в её глазах такую беспомощную мольбу, что у меня сжалось сердце. Моей выдержки хватило, быть может, на полсекунды, затем я отвёл глаза.

— Хочется верить, что вы говорите правду, — неуверенно сказала она.

— Клянусь вам, — ответил я, добавив про себя: «*Во всяком случае в данный момент*».

ГЛАВА 11

Понедельник, 20 мая

Раденау, день третий

Сижу и зеваю. Зеваю так, что скоро вывихну челюсть. Не потому, что хочется спать, а потому, что нервничаю. Шесть часов, скоро пора идти.

Отец Лалфр получил новую порцию факсов и продолжает молчать. Я завершил очередной цикл своего ежедневного ритуала — сон, душ, бритьё, обед и т. д. — и занёс в дневник всё случившееся по данный момент включительно. Приобрёл также очень хороший (и очень дорогой) диктофон, который на медленной скорости позволяет записывать на каждую сторону кассеты по два полных часа, в течение которых можно о нём не думать.

18:07. Чувствую, что не должен двигаться с места, пока не выясню, почему я так сильно взвинчен. Только ли потому, что веду двойную игру? В некотором смысле как адвокат, который представляет на суде обе стороны и всеми силами старается убедить каждую из них в своей честности. Убедить *себя* в своей честности. Я барахтаюсь в море лжи и при этом делаю вид, что стою на незыблемой почве порядочности.

Всё это правда, но проблема не только в этом. Что же ещё заставляет меня так нервничать? Знаю: это программа, которую Б для меня приготовил. Одно дело проверить, не является ли кто-то самым опасным среди живущих, и совсем другое — пойти к нему в ученики.

Изложение этого в письменной форме не устраняет нервозность, но хотя бы лишает смысла продолжение этого самокопания.

Снова в подвале

Б был один в подземном складском помещении театра «Ванфрид» и с грустной улыбкой смотрел, как я пробираюсь сквозь дебри театрального антиквариата. Он сидел, как и в прошлый раз, в своём восхитительном *бержере* эпохи Регентства из чёрного дерева с позолотой. Я тоже, как в прошлый раз, разместился в чудесном старом бидермайеровском кресле с подушками из выцветшего бледно-зелёного бархата.

— В Мюнхене и на вчерашней лекции, — сказал он после того, как мы обменялись формальными приветствиями, — вы слышали, как я несколько раз ссылался на своего коллегу по имени Измаил. Он тоже учитель, но совершенно другого рода, чем я. Он майевтический учитель, я — нет.

— Майевтический?

— Это от греческого слова…

— Я, кажется, знаю, — сказал я. — От слова «майя» — «повивальная бабка».

— Да. Майевтический учитель работает с учениками, как повивальная бабка, бережно извлекая на свет идеи, которые долгое время неосознанно зрели у учеников внутри.

Немного подумав, я спросил, всегда ли майевтический учитель использует этот метод, или это зависит от преподаваемого предмета.

— Это зависит от цели обучения. Майевтический метод годится не для всякой цели. Например, Исааку Ньютону бессмысленно было пытаться извлечь свои открытия из голов учеников — их там попросту не было. С другой стороны, он вполне мог использовать майевтический метод, чтобы продемонстрировать им, почему его алхимические опыты казались ему важными. Сократ, конечно, был знаме-

нит своим использованием майевтического метода. Иисус лишь изредка прибегал к нему, обычно чтобы помочь людям понять смысл их собственных вопросов, как в случае, когда он сказал: «Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют их ваши соплеменники?»

Я снова обдумал его слова, прежде чем спросить:

— Значит ли это, что то, чему вы считаете нужным меня научить, нельзя извлечь из моей головы?

— Большей частью нельзя.

Я показал ему свой новый диктофон и спросил, не возражает ли он, если я буду записывать наши беседы.

— Возражать не имело бы смысла, — ответил он. — Наш разговор подразумевает передачу его содержания вашему отцу Лалфру.

Мозаика

— На данный момент у меня нет для вас плана обучения, — сказал Б. — Я полагаю, вы знаете, что такое план обучения.

— Я бы сказал, что это этапы обучения, выстроенные в определённой последовательности.

— В какой именно последовательности? Ведь не в случайной.

— В идеале, насколько я понимаю, это продвижение от знакомого к незнакомому, от простого к сложному. План обучения строится по принципу пирамиды, от фундамента вверх. Нужно усвоить А, чтобы понять Б, усвоить А и Б, чтобы понять В, усвоить А, Б, и В, чтобы понять Г, и так далее.

— Хорошо. Но, как я сказал, такого плана обучения у меня нет. Вместо пирамиды я складываю мозаику. Фрагменты можно добавлять в любом порядке. На ранних стадиях нет ничего, похожего на картину, но по мере добавления фрагментов картина начинает вырисовываться. Чем больше вы добавляете фрагментов, тем картина яснее, отчётливее, и в определённый момент вы уже в основном видите, что на

ней изображено. После этого с каждым новым фрагментом картина становится всё чётче и детальнее, и, наконец, у вас появляется впечатление, что больше нет недостающих элементов, осталось лишь заполнить разрывы между смежными фрагментами кусочками помельче. Когда и эти разрывы будет заполнены, мозаика станет похожа на картину маслом — практически сплошное, а не фрагментарное изображение. А когда вы заполните и совсем мелкие пробелы, вы и вовсе забудете, что перед вам мозаика.

— Понимаю.

— Думаю, всё, что я говорю, вам придётся передавать тоже фрагментами. Увидим, что получится. У меня было много учеников, и все они учились просто слушая. Обстоятельства вынуждают меня применить непроверенный метод.

Я сказал, что непроверенный метод меня устраивает.

— Вот фрагмент, с которого можно начать. Вы помните молодую пару, которая была здесь вчера, Хайнца и Монику Тейтелей.

Я подтвердил.

— Они прослушали полный курс моих лекций и, таким образом, по меньше мере один раз слышали всё, что я могу сказать массовой аудитории с уверенностью, что это будет ей понято. Но человек не становится христианином, выслушав одну проповедь, как не становится фрейдистом, прослушав одну лекцию, или марксистом, прочитав одну брошюру. Если кто-нибудь посторонний спросит Тейтелей о чём-либо выходящем за рамки того, что они слышали от меня, они обратятся за ответом ко мне. Они понимают то, что я говорю, но моё послание не стало *их* посланием настолько, чтобы они могли генерировать собственные ответы. Для них картина в мозаике лишь начала проступать.

Фрау Хартманн дважды прослушала курс моих лекций и побывала на многих вечерах, подобных вчерашнему. Если кто-нибудь посторонний задаст ей вопрос, выходящий за

рамки того, что она слышала от меня, она постарается ответить на него, как сможет, но когда она перескажет мне тот вопрос, скорее всего окажется, что я отвечу на него совершенно иначе, если вообще не противоположно её ответу. Она тоже понимает всё, что я говорю, но моё послание не стало *её* посланием настолько, чтобы она могла генерировать собственные ответы с уверенностью. Она достаточно ясно видит общую картину, но её мозаика ещё очень фрагментарна.

С Майклом мы знакомы чуть дольше, чем с фрау Хартманн, и если кто-нибудь посторонний задаст ему вопрос, выходящий за рамки всего, что он слышал от меня, он почти всегда даст правильный ответ, хотя иногда ему не хватает глубины и уверенности, с которыми ответил бы я. Послание у него почти полностью собственное, и мозаика в основном закончена, хотя изображение немного расплывчато, как если бы он не вполне ещё отрегулировал резкость.

А вот Ширин со мной дольше, чем кто бы то ни было, и если кто-нибудь посторонний задаст ей вопрос, выходящий за рамки всего, что она слышала от меня, она ответит без колебаний. Акценты в её ответе не обязательно будут расставлены так же, как их расставил бы я, и стилистика может быть другой, и угол зрения, но он будет не менее аутентичным и убедительным, потому что мозаичная картина, которой она руководствуется в своих ответах, не менее законченна и отчётлива, чем моя. Её послание полностью совпадает с моим, и при этом оно полностью её собственное. Она сама является посланием в том же смысле, в каком я являюсь посланием.

Б сделал паузу, будто ожидая вопроса, и я сказал, что всё понимаю, кроме того, зачем он мне это говорит.

— Я в другой форме повторяю вам то, о чём говорил при нашей первой встрече, — сказал он. — Иисус ушёл, не оставив после себя никого, кто был бы посланием.

Я еле сдержался, чтобы не воскликнуть: «Ого!» Возразить

было нечего. Это была неоспоримая правда. Не в смысле какого-то сожаления, а просто неоспоримая правда. Иисус не оставил после себя никого, кто мог бы говорить с таким же авторитетом, кто мог бы сказать: «Вот что к чему». Апостолы не могли ответить на массу самых элементарных вопросов: например, до какой степени соблюдающий новые заповеди должен блюсти и старые? Трудно найти более фундаментальный вопрос. Лишь св. Павел — человек, никогда даже не видавший Христа, — в конце концов сказал: «Вот что к чему» с бóльшим авторитетом, чем кто-либо другой. В отличие от Иоанна, Петра или Иакова (насколько нам известно), Павел *был* посланием.

Однако и после посланий Павла, как и после всех евангелистов, прошло ещё триста лет, прежде чем христианская мысль смогла воссоздать послание Христа — сложить воедино разрозненные фрагменты, устранить очевидные противоречия, отсеять ересь, глупости и несоответствия и создать цельное и самодостаточное вероисповедание, с которым практически все могли согласиться.

Но и при этом я всё ещё не вполне понимал, к чему клонит Б, и так ему и сказал.

— Прошлой ночью я говорил об изменении мышления. Я сказал, что, если мир и будет спасён, то только людьми с изменившимся мышлением. Не программами, а людьми с изменившимся мышлением.

— Я помню.

— Вот за этим вы сегодня сюда и пришли. Изменить своё мышление.

Я уставился на него в недоумении.

— Какое вы послание, Джаред? Сейчас, в данный момент.

— Я вас не понимаю.

— Иисус ушёл, не оставив после себя никого, кто был бы посланием. Никто из апостолов не был посланием. Это вы понимаете, да?

— Да.
— Но вы ведь не в том же положении, что апостолы. Или в том же?
— Нет. Думаю, нет.
— Так да или нет?
— Нет.
— Послание Христа — это ведь *ваше* послание, не так ли? Если я спрошу вас, секс до свадьбы — это правильно или неправильно, вам же не придётся обращаться за ответом к отцу Лалфру, правда?
— Не придётся.
— Вы знаете ответ как свой собственный. На этот и на тысячи других вопросов подобного рода.
— Да.
— Тогда спрошу ещё раз: какое вы послание?
— Я — послание Христа.
— Лютеранский священник может сказать то же самое, как и пресвитерианский священник, как и баптистский проповедник, хотя на некоторые вопросы они ответили бы иначе. Итак, вы здесь, и я хочу, чтобы вы поняли, зачем вы здесь.
— Хорошо.
— Отец Лалфр скорее всего сформулировал бы это как-нибудь по-другому, но — он фактически прислал вас сюда для того, чтобы вы стали *моим посланием*.
От этих слов у меня по спине пробежали мурашки.

Новый горизонт

— Если вы дадите группе школьников задание объяснить, почему мы находимся на грани катастрофы, они тут же начнут цитировать газетные штампы и демагогические теории Унабомбера, которые он изложил в своём сенсационном опусе пару лет назад: неконтролируемый технологический прогресс, неконтролируемая индустриальная алчность, неконтролируемое разбухание государственного аппарата,

и так далее. Как вы думаете, откуда взялись эти всем уже надоевшие и ничего толком не объясняющие объяснения?

— Понятия не имею, — ответил я. — Прошу прощения, что сдаюсь так сразу, но я знаю, что никогда прежде не задумывался об этом.

— Тогда давайте подумаем вместе. Одним из главных препятствий строительству Панамского канала в последние десятилетия девятнадцатого века была жёлтая лихорадка. Её источник был неизвестен, а медицина того времени была бессильна против неё. Вы что-нибудь знаете об этом?

— Кое-что. В то время предполагали, что её вызывает ночной воздух. Те, кто ночью не выходил из дома, заболевали реже, чем те, кто выходил.

— Но те, кто не выходил из дома, заболевали тоже.

— Да, но они оставляли окна открытыми. В конце концов люди поняли, что нужно следить за тем, чтобы ночной воздух вообще не проникал в помещение.

— Но, как потом установил Уолтер Рид, носителем болезни был не ночной воздух, а комар *Aedes aegypti*, который охотится по ночам.

— Да.

— Почему же люди верили, что лихорадку вызывает ночной воздух?

Вопрос был для меня неожиданным. Я покачал головой и сказал, что не знаю, как ответить.

— Всё равно попытайтесь, — сказал Б. — Подумайте.

Я пожал плечами.

— Так люди думали. Идея не была совсем уж неразумной по своей сути и даже подтверждалась кое-какими фактами.

— Отлично. В этой истории, правда, больше легенд, чем фактов, но ваша версия вполне годится как иллюстрация. Идеи, которые сформулировал Унабомбер, тоже из серии «так люди думают». В них тоже нет ничего неразумного по сути, и они тоже подтверждаются кое-какими фактами.

— Хорошо, я, кажется, начинаю вас понимать.

— В обоих случаях людям недостаёт одного и того же. Знаете чего?

— Я бы сказал, что в обоих случаях им недостаёт широты мышления. Они ищут причины рядом со следствиями и не смотрят дальше.

— Именно. Это доминирующий эффект Великого Забвения. В нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе, история человечества начинается лишь одновременно с сельскохозяйственной революцией. По вине Великого Забвения люди нашей культуры, оглядываясь в прошлое, видят не дальше нескольких тысяч лет. В 1654 году архиепископ Ашшер вычислил, что род человеческий появился на свет в 4004 году до н. э. Позднее археологи подсчитали, что именно в это время в Месопотамии начали строить первые города. Что могло быть логичнее для людей, в чьём воображении человек от рождения скотовод-земледелец и строитель цивилизации? Человечество возникло в Месопотамии шесть тысяч лет назад — и тотчас начало строить города. Великое Забвение навеки впечатало эту картину в нашу культурную память. Все *знают,* что человечество на три миллиона лет старше городов Месопотамии, но это не имеет значения. Каждая крупица нашей культуры хранит на себе отпечаток идеи, что для понимания нашей истории незачем смотреть дальше Месопотамии.

— И вы хотите сказать, что всегда смотрите на историю в масштабе трёх миллионов лет?

— Всегда. Для меня Месопотамия *стёрта* как линия горизонта. По вашему мнению, как можно этого достичь?

— Я полагаю, что нужно взобраться на лестницу или ещё на что-то, откуда видно дальше.

— Правильно. И тогда события, прежде казавшиеся грандиозными (потому что они близки к нам по времени), займут своё место в более глубокой перспективе и перестанут

заслонять не менее важные и не менее грандиозные события отдалённого прошлого.

Взбираюсь по лестнице

— Мы говорили о штампах, которые люди без конца повторяют для объяснения того, почему мы находимся на грани катастрофы: неконтролируемый технологический прогресс, неконтролируемая индустриальная алчность, неконтролируемое разбухание государственного аппарата и так далее. Эти объяснения вполне устраивают людей, пребывающих в Великом Забвении, — в их представлении Месопотамия находится на линии горизонта человеческой истории, и дальше нет ничего. Для них наша сельскохозяйственная революция в буквальном смысле была началом истории человечества. А для меня линия горизонта нашего прошлого пролегает на три миллиона лет дальше Месопотамии, поэтому, с моей точки зрения, глупо даже предполагать, будто сельскохозяйственная революция ознаменовала собой начало человеческой истории. Она, конечно, ознаменовала собой *нечто,* но это нечто даже отдалённо не было началом нашей истории.

Чувствуя, что пора как-то засвидетельствовать своё внимание, я спросил:

— Что же она ознаменовала?

— Она ознаменовала собой изменение мышления — новое представление о мире и нашем месте в нём.

— Из чего вы сделали вывод, что изменилось мышление?

— Из того факта, что произошла революция, — ответил Б. — Революции не происходят среди людей, продолжающих мыслить по-старому.

— Разве изменение социально-экономических условий не может породить революцию?

— Надеюсь, вы шутите. Революции делают *люди,* а не условия.

— Я хотел сказать, разве люди не могут отреагировать

революционным образом на изменение социально-экономических условий?

— Конечно, могут. Но весь вопрос в том, могут ли они реагировать революционным образом до того, как их *мышление* стало революционным?

Я вынужден был признать, что революционные действия невообразимы при отсутствии революционного мышления.

— Мне приходилось слышать наивное предположение, — сказал Б, — будто наша сельскохозяйственная революция была спровоцирована голодом.

— Почему это предположение наивно?

— Потому что умирающие с голоду не сеют пшеницу. Как утопающие не начинают строить плот. Терпеливо ждать урожая могут лишь люди, у которых *есть* достаточно пищи.

— Логично.

— Встречается также гипотеза о том, что сельское хозяйство было естественным шагом вперёд, поскольку оно облегчало жизнь и делало её безопаснее. Однако, на самом деле оно сделало жизнь тяжелее и опаснее. Все исследования, где количество израсходованных калорий сопоставляется с количеством приобретённых калорий, подтверждают, что, чем больше продуктов производит сельское хозяйство, тем больше труда нужно вкладывать в их производство. Первые неолитические фермеры, при том, что выращивали, вероятно, очень мало растений, а в основном довольствовались дикорастущими, — даже они для выживания работали намного больше, чем их мезолитические предки. Более поздние фермеры, выращивая больше и занимаясь собирательством меньше, выживали с ещё бóльшим трудом, а уже совсем современным, тоталитарным фермерам, полностью зависевшим от выращенного урожая, прокормить себя и семью было труднее всех. Что же касается голода, то он не только не исчез с развитием сельского хозяйства, а стал его побочным продуктом — где сельское хозяйство, там и

периодический голод. Съездите в самую негостеприимную пустыню Австралии в период самой ужасной засухи, и вы не увидите там ни одного аборигена, умирающего от голода.

— Хорошо, — сказал я. — Мне кажется, я понимаю, что вы делаете. Вы заранее отвечаете на все возможные возражения.

— Возражения против чего?

— Против вашего тезиса.

— Который заключается в чём?

— Который заключается в том, что наша сельскохозяйственная революция ознаменовала собой появление нового, изменившегося мышления. И дело не в том, что умирающие с голоду люди просто в отчаянии пытались начать жить по-новому. И не в том, что люди просто искали способ облегчить свою жизнь. И не в том, что люди просто искали возможность жить с уверенностью в завтрашнем дне.

— Всё верно. Но вместо того, чтобы облегчить свою жизнь и сделать её безопаснее, они сделали её тяжелее и рискованнее, чем она была у их предков, охотников-собирателей. Так что вопрос о людях, делавших что-то просто потому, что так «лучше», даже не возникает.

У меня создалось впечатление, что своими аргументами Б рискует опровергнуть самого же себя.

— Вас послушать, так наша сельскохозяйственная революция была настолько безразлична к собственному успеху, что удивительно, как она вообще произошла, — сказал я.

— Очень даже удивительно, что она произошла, — многозначительно сказал Б. — Именно это я и хочу вам показать. И когда вы это увидите, ваши представления об истории человечества изменятся навсегда.

Миролюбивые убийцы Новой Гвинеи

— Для этой части мозаики мне нужен фрагмент с определёнными качествами, которые мы находим, например, у новогвинейского племени гебуси.

— Хорошо, — сказал я.

— В последние десятилетия стало популярным «демонизировать» людей, вызывающих особенный страх и презрение, представлять их монстрами порочности. Точно так же принято идеализировать тех, кто вызывает особое восхищение и уважение, — представлять их воплощениями совершенства, обладающими только самыми лучшими качествами. Примером может служить недавняя тенденция идеализировать племена Оставляющих во всех уголках планеты, представляя их бесконечно мудрыми, бескорыстными, дальновидными защитниками окружающей среды, этакими ангелами, никогда не конфликтующими друг с другом, соблюдающими полное равенство полов, и так далее. Понимаете, о чём я?

— Разумеется. Я не живу в холодильнике. И я видел «Танцующего с волками».

— Отлично, — сказал Б. — Поскольку все ангелы приблизительно одинаковы, процесс идеализации этих народов — можно называть их Оставляющими или аборигенами, это не очень важно, — тоже делает их более менее одинаковыми, что, как вы понимаете, далеко от действительности. Здесь и будет уместно привести в пример новогвинейское племя гебуси. Его описание может занять несколько минут.

— Хорошо.

— Гебуси — один из народов, которых наша сельскохозяйственная революция никак не коснулась. Они занимаются сельским хозяйством, но вернее будет называть их охотниками-огородниками. Они живут в деревнях и любят то, что мы называем «общественной жизнью», любят устраивать всевозможные праздники с шумом, весельем и танцами. Две трети из них умирают, как мы это называем, естественной смертью, а треть — от рук друзей, соседей и родственников. Убийство — дело мужское, так что на каждый данный момент две трети мужчин гебуси составляют убийцы.

— Симпатичные ребята, — вставил я.

— Как ни странно, в целом они действительно симпатичны — не святые, конечно, но приятные в общении и доброжелательные. Если вы их спросите, почему они так склонны к насилию, они искренне не поймут, о чём вы говорите. Они не склонны к насилию как таковому, и если вы спросите о преступности в их среде, вам придётся сначала объяснить им, что такое преступность. Конечно, между ними бывают конфликты, и жадных, грубых, наглых и эгоистичных людей среди них не меньше, чем среди нас, но преступности в нашем её понимании у них нет.

Если не считать статистику убийств, главным различием между ними и нами является их теория болезни и смерти. Мы считаем, что болезнь возникает в результате проникновения в наше тело невидимых организмов, называемых микробами, бактериями и вирусами. Эта теория кажется нам неоспоримой, но вполне вероятно, что люди двадцать третьего века (если тогда ещё останутся люди) будут смеяться над ней точно так же, как мы сегодня смеёмся над гуморальной теорией темперамента эпохи Возрождения. Вы можете такое представить?

— Что наша современная теория о причинах болезней когда-нибудь превратится в нелепость? О да, я вполне это допускаю.

— Прекрасно. В теории гебуси нет ничего схожего с нашим понятием «естественной смерти». Болезнь и смерть вызываются только сверхъестественными причинами, и если кто-нибудь заболел или умер, значит, кто-то другой «пожелал» ему этого. Это может быть колдун, это может быть дух кого-нибудь из живых или мёртвых, это даже может быть дух какого-то зверя.

Чтобы выяснить причину болезни, медиум отправляется в мир духов, находит там виновного и, исходя из полученной таким образом информации, назначает лечение. Если кто-то умер, медиум проводит расследование тем же способом.

Не всякое расследование приводит к обвинению кого-то из живущих, но когда так случается, обвиняемому предоставляется шанс доказать свою невиновность гаданием на саго — кулинарным испытанием такой сложности, что одни лишь опыт и ловкость едва ли обеспечат успех. Это можно сравнить с выпечкой идеального суфле размером с ванну. Полный успех означает, что дух умершего пришёл обвиняемому на помощь и тем самым оправдал его. При частичном успехе обвиняемый остаётся под подозрением и лишь получает отсрочку, во время которой рассматриваются другие возможные свидетельства вины, такие как поведение трупа в его присутствии. Чем хуже результат гадания на саго, тем более доказанной считается вина. Отрицать вину в этом случае бесполезно, и обвиняемый, как правило, раскаивается в содеянном и пытается убедить соплеменников, что гнев, толкнувший его на убийство с помощью колдовства, уже прошёл и он больше не представляет опасности для окружающих. Соплеменники в один голос успокаивают его, говорят, что верят ему и готовы простить, но часто бывает, что дни несчастного всё равно сочтены.

В представлении гебуси души умерших вскоре инкарнируются в животных. Умершие молодыми возвращаются в виде маленьких зверьков, птиц или ящериц, а кто был постарше — в виде казуаров, крокодилов, и так далее. Однако казнённые колдуны неизменно возвращаются в виде диких свиней, и вот почему (как мне кажется) казнённых колдунов непременно запекают и съедают. Думаю, что в представлении гебуси колдуны и при жизни были отчасти дикими свиньями, за которыми охотятся не только из-за их вкусного мяса, но и чтобы избавиться от злых духов.

Я прервал Б, чтобы спросить, являются ли гебуси людоедами и при других обстоятельствах.

— Насколько мне известно, — ответил он, — единственное блюдо из человечины в их меню — это запечённый колдун.

— Поразительно.

— Но вернёмся к нашему антропологическому изысканию. Представьте себе, что мир захватили и подчинили себе не люди нашей культуры, а гебуси. Представьте мир, в котором за каждой смертью привычно следует казнь и поедание колдуна. Представьте мир, где, будь вы телефонным мастером, законодателем, дирижёром симфонического оркестра или модельером в Берлине, Пекине, Токио, Лондоне, Нью-Йорке или Бокс-Элдере, штат Монтана, вас в любой момент могут подвергнуть испытанию гаданием на саго, чтобы решить, оставлять вас в живых или нет. Представьте мир, где поедание колдунов — это самое обычное дело, такое же обычное, как отправлять детей в воспитательный концентрационный лагерь до достижения ими пяти- или шестилетнего возраста. Представьте мир, где убийство человека настолько же несомненно превратит его в дикую свинью, как наказание в форме тюремного заключения превратит его в образцового гражданина.

Б замолчал и с надеждой посмотрел на меня. Я не понял, чего он от меня ожидает.

— Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что безумства любого культурного сообщества воспринимаются его членами как священнодействия.

— Вне всяких сомнений, — сказал Б. — Если бы я сказал вам, что, согласно религии гебуси, творец Вселенной за всю её историю обращался лишь к одному народу на этой планете, и этот народ — гебуси, вы снисходительно улыбнулись бы, не так ли?

— Пожалуй.

— При этом люди нашей культуры верят абсолютно в то же самое, не так ли? Обращался ли творец Вселенной к кому-нибудь, кроме нас?

— Нет.

— Современные люди появились около двухсот тысяч лет

назад, но, согласно нашей вере, Богу нечего было им сказать до тех пор, пока не пришли *мы*. Бог и словом не обмолвился ни с алавами в Австралии, ни с гебуси в Новой Гвинее, ни с бушменами в Африке, ни с навахо в Северной Америке, ни с ихалмиутами в арктической Канаде. Он не сказал ни слова ни одному из сотен тысяч других народов мира, а заговорил только с нами. Только нам он раскрыл порядок и замысел своего творения. Только нас посвятил он в тайну спасения.

— Всё верно. С точки зрения истинной веры, всё так.

— Но это не безумие.

— Нет. Опять-таки, с точки зрения истинной веры.

— Для гебуси думать, что они одни находятся в прямом контакте с творцом Вселенной, было бы глупостью, а для нас верить в то же самое совершенно разумно.

— Да.

— Выходит, что победители пишут не только историю, но и теологию.

— Выходит, что да.

— Как бы то ни было, в данный момент я прошу вас не понять что-то, а сделать что-то.

— Что вы хотите, чтобы я сделал?

— Я хочу, чтобы вы представили, что мир — вот этот мир, здесь, — это мир гебуси. Вас как римско-католического священника будут терпеть в качестве рудимента экзотического и безобидного предрассудка. На каждом углу медиумы будут предлагать свои услуги по части диагностики и лечения болезней — и в расследовании причин смерти сограждан. Друзья будут приглашать вас в ресторан отпраздновать очередное убийство и на прощанье совать вам свёрток с куском запечённого колдуна для вашей семьи. Что ещё вам сказать? Фильмы будут фильмами гебуси, романы — романами гебуси, спорт — спортом гебуси, развлечения — на манер гебуси.

Я сказал, что могу это представить, более-менее.

— Но я не представляю, что вы хотите от меня услышать.

— Как вам это понравилось бы?

— Сумасшедший дом, мерзость.

— Конечно. В пределах своих нескольких сотен квадратных километров гебуси — это анахронизм и экзотика, но позвольте их культуре вырасти до размеров универсальной мировой культуры, обязательной для всех и каждого, и экзотика превратится в мерзость. И это общее правило. Любая культура превратится в мерзость, если навязать её всему миру и сделать обязательной для всех. В пределах нескольких сотен квадратных километров, в которых она родилась, наша культура была бы лишь анахронизмом и экзотикой. Раздувшись до размеров универсальной мировой культуры, обязательной для всех и каждого, она стала ужасающей мерзостью.

— Кажется, в целом я начинаю понимать, что вы имеете в виду, — сказал я.

Б кивнул.

— Вы, вероятно, не помните, почему я сначала привёл в пример гебуси. Вы удивились, что тоталитарное сельское хозяйство вообще у нас прижилось, если жить от него стало не легче и безопаснее, а наоборот.

— Я помню.

— Я хотел, чтобы вы увидели, что выбор той или иной культурой того или иного образа жизни не всегда можно объяснить логически. Выгоды того или иного образа жизни не обязательно очевидны. Его выбирают не обязательно из-за связанных с ним удобств, хотя люди порой приводят этот аргумент, объясняя свой выбор детям или приезжим. В нашей культуре мы объясняем нашим детям преимущества нашего метода ведения сельского хозяйства тем, что он был естественным шагом вперёд для всего человечества, поскольку облегчал жизнь и делал её безопаснее.

Я спросил, что же сделал этот метод, если жизнь от него не стала ни легче, ни безопаснее.

— Именно в этом мы и пытаемся разобраться. Перед нами комплекс поведенческих характеристик, и мы пытаемся выяснить, какого рода взаимодействие между ними даёт результат, который мы видим. Вот прямо сейчас пройдитесь по характерным особенностям гебуси и попробуйте найти среди них механизм, который мог бы подтолкнуть их культуру к разбуханию до размеров универсальной мировой культуры, обязательной для всех и каждого.

Я спросил, какого рода механизм он имеет в виду.

— Какую-то динамику в их культуре. Какой-то обычай, какую-то глубокую веру.

Я две или три минуты думал об этом, но не нашёл никакого механизма, который мог бы произвести такой эффект.

— Тогда придумайте какой-нибудь, — сказал Б.

— Территориальные амбиции, пожалуй, могли бы дать такой эффект.

— Не сами по себе, — сказал Б. — У ацтеков были территориальные амбиции, но, завоевав вас, они не интересовались, как вы дальше будете жить. Они не видели смысла в том, чтобы делать из соседей ацтеков. Вот почему, хотя они вели себя отвратительно, они не были нами — теми, кого Измаил называет Берущими.

— Хорошо, я понимаю, что вы имеете в виду. Тогда, чтобы подтолкнуть их к разрастанию до размеров мировой культуры, обязательной для всех и каждого, нужно сделать их «культурными миссионерами».

— А чтобы сделать их культурными миссионерами, нужно наделить их какой-то верой. Неверующих миссионеров не бывает. Какого рода вера подошла бы для гебуси?

— Вера в правильность их образа жизни.

— Именно. Если бы гебуси верили, что их образ жизни единственно верный для всех людей на планете (у них, кстати, и в мыслях этого нет), это мотивировало бы их стать культурными миссионерами во всём мире. Но одной веры

было бы недостаточно. Люди нашей культуры всегда обладали такой верой — и на протяжении всей истории демонстрировали, что обладают такой верой, — но им нужен был и другой механизм. Думаю, можно назвать его механизмом распространения. Механизм, который двигал бы их по поверхности земли, помогая распространять благую весть о своём культурном просветлении.

— Сельское хозяйство, — сказал я.

— Сельское хозяйство определённого типа, Джаред. Не всякое сельское хозяйство толкнёт людей завоёвывать всю планету. Маломощное сельское хозяйство гебуси просто не выдержало бы подобной экспансии.

— Понимаю.

— В нашей культуре для поддержания одной её специфической особенности нам нужна была другая специфическая особенность, чтобы обе вместе они усиливали друг друга. Мы верили (и продолжаем верить), что наш образ жизни — единственно верный для всех людей, но нам требовалось, чтобы наши миссионерские усилия поддерживало тоталитарное сельское хозяйство. Оно давало нам гигантские излишки продовольствия, которые являются основой всякой военной и экономической экспансии. Никто в мире не мог противостоять нам, потому что ни у кого не было такого мощного механизма по производству продовольствия, как у нас. Наш военный и экономический успех подкреплял (и продолжает подкреплять) нашу веру в то, что наш образ жизни — единственно правильный. Тот факт, что мы способны поставить на колени и уничтожить любой другой образ жизни, люди нашей культуры воспринимают как безусловное доказательство нашего культурного превосходства.

— Боюсь, что это так. В том, что касается культурного «выживания сильнейшего», мы — чемпионы.

— Вы хотите сказать, что мы чемпионы процесса естественного отбора?

— Да, пожалуй, это я и имею в виду.

Б покачал головой.

— Лучше не рассматривать это так. Из принципов эволюции обычно получаются очень рискованные метафоры. Биологическая эволюция стремится к разнообразию. Она не стремится к «единственно правильному виду». С самого начала она неуклонно *удалялась* от однообразия, которое было для неё отправной точкой. Помню, подростком я читал научно-фантастический рассказ об организме-мутанте, который родился в канализационной трубе как случайная комбинация случайных же генов. Этот организм был движим одним-единственным тропизмом — превращать всё живое в себя. Потенциально он был способен за несколько дней повернуть вспять миллиарды лет эволюции путём пожирания всех форм жизни и превращения их в одну-единственную форму — себя. Этот организм-мутант — идеальная метафора для нашей культуры, которая всего за несколько веков повернула вспять миллионы лет человеческого развития, пожирая все культуры на этой планете и превращая их в одну-единственную культуру — нашу.

— Чудовищная идея, — сказал я.

— Чудовищный процесс.

— Порох, — сказал Б, — это смесь нитрата калия, древесного угля и серы. Полагаю, вы знаете, что, если любой из компонентов отсутствует, смесь не взрывоопасна.

— Конечно.

— Наша культура, как порох, состоит из трёх основных компонентов, и без любого из них никакого цивилизационного взрыва на планете не произошло бы. Два компонента мы уже установили: тоталитарное сельское хозяйство и вера, что наш путь — единственно верный. Третий компонент — это, конечно же, Великое Забвение.

Немного подумав, я сказал, что не понимаю, каким образом Великое Забвение могло иметь отношение к цивилизационному взрыву.

— Грубо говоря, его роль можно сравнить с ролью древесного угля в порохе. Как вообще нам пришло в голову, что наш путь — единственно верный?

— Не знаю.

— Давайте вернёмся к интеллектуальным отцам нашей культуры — Геродоту, Конфуцию, Аврааму, Анаксимандру, Пифагору, Сократу и прочим, кто придёт вам на ум. Соберите их всех в одной комнате и задайте вопрос: давно ли люди живут так, как мы? Каким будет их ответ?

— Они скажут, что люди так жили всегда, с самого начала.

— Иными словами, человек был *рождён,* чтобы жить так.

— Да.

— Что вам это говорит о природе человека?

— Это говорит мне, что человеку было *назначено* жить так. Человеку назначено заниматься тоталитарным сельским хозяйством и строить города, как пчёлам назначено делать мёд и строить ульи.

— Тогда скажите мне, Джаред, как это может *не быть* единственно верным путём?

— Да, понимаю.

— Чего не хватало в образовании этих мыслителей? Что было забыто в период Великого Забвения?

— Был забыт тот факт, что человек *не был* прирождённым крестьянином и строителем городов. Был забыт тот факт, что наш путь *не был* предопределён с начала времён. Если бы это не было забыто, мы никогда не смогли бы убедить себя, что наш путь — единственно верный. Вот почему Великое Забвение было незаменимым компонентом для нашего культурного взрыва.

— Пойдёмте пройдёмся, — сказал Б. — Я должен вам дать одну вещь.

— Мне?

— Она вам понадобится позднее.

Я двинулся было обратно к винтовой лестнице, но Б поманил меня рукой в противоположную сторону, в коридор, вход куда открывался за его креслом и откуда Моника и Хайнц Тейтели прикатили прошлой ночью кофейный столик. Коридор вскоре стал шире и уже вмещал бетонные скамьи по обеим сторонам. Б сказал, что раньше там было бомбоубежище для служащих театра и государственного учреждения, расположенного на соседней улице.

— Не думаю, чтобы его хоть раз использовали в этом качестве, — добавил он.

Через пару сотен метров тоннель пошёл вверх и закончился массивной пожарной дверью, за которой оказалось подвальное складское помещение государственного учреждения. К моему удивлению, там была стойка, а за стойкой — мужчина, видимо, охранявший вход на склад. Мужчина был средних лет и с солдатской выправкой, причём было очевидно, что он чувствовал бы себя увереннее в какой-нибудь униформе. Он неодобрительно посмотрел на нас, но без возражений позволил проследовать по его территории. Два лестничных пролёта вывели нас на первый этаж, а затем на улицу.

ГЛАВА 12

Понедельник, 20 мая (продолжение)

Визит в меловой период

Когда мы вышли, было лишь полдевятого — ранний вечер в этом северном городе за считанные недели до летнего солнцестояния. Несмотря на ранний час, практически все магазины были уже закрыты, а улицы почти пусты. Раденау не славится кипящей ночной жизнью.

Б — такой же любитель прогулок, как я. Можно было подумать, что он просто гуляет без определённой цели, и я с удовольствием шагал рядом.

— Уверен, что вы догадываетесь, почему я не вожу с собой публику в этом направлении, — сказал он.

— Догадываюсь, — ответил я. — Хотя не уверен, что вижу направление.

— Не забывайте, что мы составляем мозаику, а не сочиняем повествование или силлогизм. После этого разговора вы ещё не придёте к выводам, но, надеюсь, придёте к более полному пониманию всего, что когда-либо слышали от меня.

— Всё идёт к тому. Изображение в моей мозаике всё ещё расплывчато, но уже меньше, чем два часа назад.

— Недавно вы сказали, что, если меня послушать, то удивительно, как наша культурная революция вообще произошла. Это и в самом деле удивительно. Она не была суждена, она не была предопределена божественным замыслом с самого основания Вселенной, она не была неизбежной. Она

не случилась за двести тысяч лет существования людей не менее сообразительных, чем мы. Её могло не случиться ещё двести тысяч лет, ещё миллион лет. Это была ирония судьбы, случайность. Соберите вместе один невиданный доселе культурный фактор, другой невиданный доселе культурный фактор, добавьте к ним третий такого же рода, и вот вам культурный монстр, который в буквальном смысле пожирает мир и который, если его не остановить, в конечном итоге сожрёт самого себя.

Мы продолжали шагать ещё некоторое время, затем я спросил Б, окажется ли мозаичное изображение в итоге портретом нашей цивилизации.

— Можно сказать и так, — сказал он. — Хотя я никогда не рассматривал мозаику с такой точки зрения. Я думал о ней, как о настенной росписи, состоящей из множества взаимосвязанных сцен, как на потолке Сикстинской капеллы. То, что мы называем «нашей цивилизацией», присутствует во многих сценах в разные моменты её истории, но в мозаике также есть сцены внутри сцен. Там есть сцены, изображающие историю Вселенной, и среди них есть сцены, изображающие развитие жизни на этой планете. Среди них есть сцены, изображающие появление человеческого рода. Среди сцен, изображающих появление человеческого рода, есть сцены, изображающие происхождение сотен тысяч культур, включая гебуси и нашу. Среди сцен, изображающих развитие нашей культуры, есть сцены, изображающие много других вещей, таких как завоевание мира нашей культурой, как появление «душеспасительных» религий в нашей культуре, как промышленная революция. Мы переходим от сцены к сцене, мы отдаляемся от настенной росписи, чтобы попытаться увидеть взаимосвязь между сценами, мы снова подходим ближе, чтобы приглядеться к деталям, и так далее. Постепенно вся композиция начинает складываться для нас воедино — но это процесс, который не завершается никогда. Никогда не

наступит момент, когда можно будет вставить финальный фрагмент и сказать: «Всё, готово, больше добавить нечего».

Мы остановились перед вывеской с непонятной мне надписью: «*Meyer — Überbleibselen*». Б стал осматривать со всех сторон массивную серую стальную штору, видимо, надеясь найти потайную кнопку, от нажатия на которую штора поднимется. Ничего не найдя, он начал бесцеремонно барабанить по ней кулаком. Через минуту над шторой открылось окно и высунувшийся оттуда Святочный дух прошлых лет спросил по-немецки какого чёрта мы здесь расшумелись. Как я вскоре узнал, это был Густл Майер. Некоторое время Майер и Б перекрикивались на смеси немецкого и английского, после чего окно захлопнулось.

Б с улыбкой кивнул мне в знак того, что всё идёт хорошо. Через пару минут штора с грохотом поднялась и впустила нас в лавку Майера, полутёмную и до предела заваленную «отвергнутыми или списанными» (*Überbleibselen*) музейными экспонатами самого разного рода, относящимися к военной истории, политической истории, естественной истории, науке, технике, промышленности — ко всему, кроме искусства.

Как только мы переступили порог, Б охватило возбуждение, какое испытывает пятилетний мальчишка в магазине игрушек, и я заподозрил, что в душе он безумный коллекционер всяких диковинок.

Он пришёл в полный восторг от действующей модели старого «безопасного» лифта; от воскового неандертальца в натуральную величину, сидевшего по-турецки на полу и занятого какой-то ручной работой, предмета которой в его руках уже не было; от блестяще изготовленного уменьшенного медного рудника в разрезе; от страшного (и скорее всего фальшивого) чучела дронта, изготовленного, по заверению Майера, из подлинной кожи; от обломков одноместной подводной лодки времён Наполеона; от прозрачной говорящей головы, объяснявшей (по-голландски) работу мозга, в то

время как крохотные лампочки внутри высвечивали зоны, о которых шла речь.

Там были ящики с образцами руды, груды потускневших медных инструментов, ящики с полуразложившимися свитками, стеллажи с энтомологическими образцами, ящики со всякого рода окаменелостями, у одного из которых Б, наконец, остановился и начал сосредоточенно рыться в нём. Он доставал и осматривал трилобитов, морские лилии, ещё что-то, показавшееся мне зубами, когтями и яйцами динозавров. Наконец он остановился на предмете размером с пончик, похожем на камерную раковину наутилуса, разве что эта была ребристой, как скрученный рог горного барана.

— Аммонит, — сказал Б. — Головоногий моллюск одного класса с наутилусом.

Он сунул его мне в руку.

— Вымер около шестидесяти пяти миллионов лет назад.

Я пробормотал что-то «оригинальное» вроде «Правда?» и хотел было вернуть моллюска Б, но тот уже отошёл к Майеру договариваться о цене. Немного поторговавшись, Б сунул ему ворох купюр, на вид достаточный, чтобы заплатить за ужин на двоих в хорошем ресторане.

— Коллекционер заплатил бы намного больше, — объяснил Б, когда мы вышли на улицу, — но Майер и не рассчитывал получить от меня очень много.

— Что мне теперь с этим делать? — спросил я.

— Положите в карман и носите с собой. Пока не знаю, когда мы до него доберёмся.

Обезьяна с кнопкой

Мы зашли в не поддающийся описанию трактир поужинать, и Б посоветовал мне заказать не виски, а пиво.

— Вам понравилось в «Маленькой Богемии»? — спросил он. — Мы зайдём туда выпить позже.

Я сказал, что вернусь туда с удовольствием. Похоже, в его

представлении католические отцы только и думают, что о выпивке.

— Я хочу вернуться к первому фрагменту, который мы обсуждали сегодня, — сказал он. — Мы не закрепили его достаточно прочно.

— Хорошо.

— Прошлой ночью в театре я говорил об изменении мышления. Я сказал, что если мир и будет спасён, то лишь людьми с изменившимся мышлением — не программами, а людьми с изменившимся мышлением.

— Я помню.

— Люди обычно с трудом понимают это, потому что не видят, что всё вокруг нас, до мельчайшей крупинки, всё, чем мы гордимся, чем восхищаемся и что проклинаем, сделано людьми с изменившимся мышлением.

— Я тоже этого не вижу, — признался я.

— Я знаю, — сказал Б, — потому мы и возвращаемся к этому. Сначала давайте проверим, что мы согласны в исходных фактах. Изменение мышления, о котором я говорю, произошло около десяти тысяч лет назад в Плодородном полумесяце — регионе между реками Тигр и Евфрат, ныне на территории Ирака. Это там местное население десять тысяч лет назад заложило основы того, что сегодня является нашей глобальной культурой. С этим вы согласны?

— Да.

— Отлично. Но человечество, как вы понимаете, не возникло в Плодородном полумесяце. Имеющиеся на сегодня свидетельства вполне однозначно указывают, что род человеческий возник в Африке.

— Да.

— Он возник в Африке и оттуда очень и очень медленно проник во все уголки планеты — на Ближний и Дальний Восток, в Европу, и в конце концов, тридцать или сорок тысяч лет назад, достиг самых отдалённых регионов, таких как

Америка, Австралия и Новая Гвинея. На Ближнем Востоке, особенно близком к Африке, современные люди поселились в незапамятные времена, сто тысяч лет назад, если не раньше. В том числе и в регионе Плодородного полумесяца. Понимаете, к чему я клоню?

— Не очень.

— В Плодородном полумесяце современные люди жили за сто тысяч лет до начала нашей сельскохозяйственной революции.

— Это я вроде бы понимаю.

— Я имею в виду, что сельскохозяйственная революция произошла среди людей, которые жили в тех местах уже десятки тысяч лет. Жили, жили, и вдруг началась революция. Но революция — это не метеорологическое явление. Это не землетрясение и не извержение вулкана. Это событие, которое происходит в человеческой среде. Около десяти тысяч лет назад люди, жившие в Плодородном полумесяце многие десятки тысяч лет, вдруг перешли на *другой образ жизни,* который я ранее назвал образом жизни Берущих.

— Да.

— Они начали жить по-другому не потому, что умирали от голода, — как я уже говорил, умирающие от голода не изобретают образы жизни, как люди, падающие с самолёта, не изобретают парашюты. И этот новый образ жизни не улучшал жизнь настолько, чтобы представляться наиболее предпочтительным. Фундаментальным изобретением отцов-основателей нашей культуры было понятие *работы*. Они придумали *тяжёлый* образ жизни — самый тяжёлый из всех когда-либо практиковавшихся на планете.

— Но вместе с тяготами жизни люди получили и массу других вещей.

— Именно. Теперь мы идём с вами в ногу, Джаред. Теперь вы начинаете понимать, что я имею в виду, когда говорю, что у тех людей *изменилось мышление*. Они не мыслили, как

гебуси, шайенны, алавы, ихалмиуты, микмаки, бушмены и тысячи других народов. Что они делали, не имело смысла для их соседей — и пусть. Что они делали, не имело бы смысла для их собственных далёких предков — и пусть. Что они делали, было исполнено здравого смысла для них самих, как образ жизни гебуси исполнен здравого смысла для гебуси. А то, что они делали, было исполнено для них здравого смысла потому, что они стали смотреть на вещи иначе — иначе, чем их предки, и иначе, чем их соседи. Понимаете теперь, почему я говорю о них как о людях с *изменившимся мышлением?*

— Думаю, да.

— Поскольку их изменившееся сознание это и наше сознание, мы смотрим на сделанное ими и говорим: «Это само собой разумеется. В этом есть смысл. Что может быть очевиднее? Так и *должно* было случиться. Люди *рождены,* чтобы стать Берущими». Поскольку у нас с ними общий менталитет, их революция исполнена для нас здравого смысла. Для нас она логична и естественна, как пожирание колдунов логично и естественно для гебуси.

— Понимаю.

— Нам известно, к какой этнической группе принадлежали эти люди, — очевидно, что они были белыми, — но нет никаких причин полагать, что все белые народы приняли участие в этой революции. Гебуси и их соседи кубо}ры, бедамини, ойбэ, хонибо и само — все принадлежат к одной этнической группе, но у них нет общей культуры. Понимаете?

— Пожалуй, да.

— Мы никогда не узнаем, как назывался народ, который начал революцию, но давайте придумаем для него имя. Назовём его Бер. Это свяжет его с образом жизни, который я назвал образом жизни Берущих.

— Хорошо.

— Беры занялись сельским хозяйством не потому, что были голодны, и не потому, что изнурительный труд им нравился

больше, чем охота. Вы сами нашли ключ к пониманию их выбора: в новом образе жизни они нашли что-то, что компенсировало его изнурительность. Почему они поставили во главу угла сельское хозяйство? Что тоталитарное сельское хозяйство дало им такого, что собирательство не давало их соседям и предкам?

— Вы уже говорили: тоталитарное сельское хозяйство дало им *власть*.

— Верно. Целью их революции была не еда, целью их революции была *власть*. В этом их главный интерес *по сей день*.

— Да, это очевидно.

— Кто-то однажды спросил меня, как я могу настаивать, что человечество само по себе не порочно, если оно так падко на власть. «Беры не устояли перед соблазном власти», сказал он. «Разве это не порок? Все их потомки одержимы властью. Разве это не порок?» Я напомнил ему о знаменитом эксперименте, проведённом в конце 1950-х годов. Обезьяне в мозг, в зону, называемую «центром удовольствия», вживили электрод, соединив его с пультом управления в виде ящичка с кнопкой. При нажатии кнопки обезьяна приходила в неописуемый восторг от ощущения удовольствия во всём теле. Когда ей дали этот ящичек, она поначалу, конечно, не знала, что с ним делать, но вскоре случайно нажала на кнопку и опять пришла в полный восторг. Быстро уловив связь между кнопкой и удовольствием, обезьяна вскоре только и делала, что часами нажимала на кнопку, впадая от этого в настоящий экстаз. Её больше не интересовали ни еда, ни секс. Если бы у неё в конце концов не забрали этот ящичек, она так и продолжала бы без конца давить на кнопку и буквально извела бы себя удовольствием до смерти. И я задал тому слушателю встречный вопрос: «Что было не в порядке с этой обезьяной? Она была в каком-то смысле порочной?» Что вы скажете, Джаред?

— Я скажу, что нет, в обезьяне не было ничего порочного.

— Я тоже так думаю. Точно так же и в берах не было ничего порочного. Нажимая на кнопку тоталитарного сельского хозяйства, они получали сильнейшие и приятнейшие импульсы *власти*. Такие же импульсы власти стали получать люди в Китае и Европе. Такие же импульсы власти получаем и мы сегодня. И, как та обезьяна, никто не хочет перестать нажимать на кнопку. И, как та обезьяна, мы серьёзно рискуем извести себя этим до смерти.

— Полагаю, это вы и имели в виду, когда говорили, что, если мир и будет спасён, то лишь людьми с изменившимся мышлением. Люди с традиционным мышлением скажут: «Давайте снизим эффект от нажимания кнопки до минимума». Люди с изменившимся мышлением скажут: «Давайте выбросим ящик!»

Б кивнул.

— Я бы сказал это по-другому, но вы совершенно правы. Когда люди нашей культуры решат выбросить ящик, в нашей жизни начнутся радикальные перемены. А когда вы начнёте по-своему говорить то же самое, что другими словами сказал бы я, это будет означать, что вы на пути к тому, чтобы стать посланием.

Беры

Принесли ужин, и мы замолчали, чтобы уделить ему наше внимание. Наконец, Б сказал:

— Есть один сюжет, обсуждение которого я хотел отложить на более поздний срок, думая, что впоследствии смогу вообще его избежать, но теперь думаю, что лучше взять и обсудить его сразу.

Я спросил, почему он хотел избежать тот сюжет.

— Я хотел его избежать потому, что на меня давит нехватка времени.

Он тряхнул головой, недовольный сказанным.

— Это недостаточно прямо. Хочется поскорее избавиться

от нависшей над нами тени Бернарда Лалфра. Хочется удовлетворить его любопытство и забыть о нём.

— Понимаю. Но что это за сюжет?

— Как я уже говорил, беры казались соседям безумцами, как гебуси кажутся безумцами нам. Вам в это трудно поверить?

— Да, но я полагаю, что и гебуси с трудом верят, что кажутся нам безумцами.

— Конечно, — сказал Б. — Беры кажутся нам здравомыслящими и нормальными потому, что мы их культурные потомки. У нас то же мировоззрение, что у них.

— Это понятно. Но, если и так, у нас всё равно нет свидетельств того, что на самом деле думали о берах их соседи.

— В данном случае нам крупно повезло: история сохранила для нас свидетельства того, что хотя бы *одни* из соседей беров думали о них. Точнее, до нас дошла их версия тех событий. Опять-таки, нам известно, к какой этнической группе принадлежали соседи, но не известно, как они назывались. Назовём их цойгенами («свидетелями»). Цойгены по образу жизни были близки к масаям, живущим в Восточной Африке. Вы знаете, кто такие масаи?

— Что-то читал о них. Если не ошибаюсь, они кочевники-скотоводы.

— Да. Цойгены тоже были кочевниками-скотоводами. В революции беров они не увидели никакого технологического прогресса, ничего даже отдалённо похожего на технологический прогресс. Они увидели лишь, что всё там встало с ног на голову. Как и вы, они увидели, что тоталитарное сельское хозяйство даёт не просто больше еды, оно даёт *власть* — власть решать, кому жить, а кому умереть. Понимаете, почему это привлекло их внимание?

— Расскажите.

— Это легче показать на примере. Тоталитарное сельское хозяйство подразумевает, что коровы вправе жить, а волки должны умереть; что куры вправе жить, а лисы должны уме-

реть; что пшеница вправе жить, а земляные клопы должны умереть. Всё, что мы едим, вправе жить, а всё, что питается нашей пищей, должно умереть. И не каким-то спорадическим образом, не по принципу «Если койот нападёт на моё стадо, я убью его». Нет, наш принцип — «Сотрём всех койотов с лица земли!» В случае с волками и коровами мы решим: «Истребить всех волков!» И волки будут истреблены. Или решим: «Пусть коров будет миллиард!» И коров станет миллиард.

— Ясно.

— Кто обычно обладает такой властью?

— В каком смысле?

— Взгляните на это глазами кочевников-скотоводов, живших десять тысяч лет назад. Кто решает, кому жить, а кому не жить на планете?

— Боги.

— Конечно. В представлении цойгенов боги обладают особыми знаниями, которые и позволяют богам править миром. В числе этих знаний есть знание того, кому жить, а кому умереть, в прямом и множестве других смыслов. Это знание проявляется в каждом выборе, который делают боги. В понимании цойгенов, каждый выбор богов оборачивается добром для одних и злом для других, и, если вдуматься, по-другому и быть не может. Если перепёлка летит на охоту и боги посылают ей кузнечика, то это хорошо для перепёлки, но плохо для кузнечика. А если лиса идёт на охоту и боги посылают ей перепёлку, то это хорошо для лисы, но плохо для перепёлки. И наоборот, конечно. Если лиса идёт на охоту, а боги не посылают ей перепёлку, то это хорошо для перепёлки, но плохо для лисы. Понимаете, что я имею в виду?

— Конечно.

— Когда цойгены увидели, что делают беры, они сказали себе: «Эти люди вкусили от древа богов, от древа мудрости, и стали как боги, знающие добро и зло».

— Опа! — воскликнул я. Не уверен, что это междометие

вырывалось у меня когда-либо в жизни, но теперь вырвалось. — Откуда вы это взяли?

— Это выражение Измаила.

— Вы когда-нибудь произносили его при теологах?

Б кивнул.

— При них тоже, и ни один не нашёлся, что возразить. Один даже сказал, что это единственное разумное объяснение из всех, какие он знает.

— Это единственное разумное объяснение из всех, какие *я* знаю, а я знаю их все.

Я помню, что минуты две-три сидел как окаменелый, пытаясь осмыслить все последствия такого толкования грехопадения. Когда я, наконец, покачал головой и сдался, Б продолжил:

— Я должен был это сказать, чтобы внести ясность в то, как я понимаю эту революцию. Даже авторы Бытия представили это как *изменение сознания*. Они увидели у своих соседей рождение не нового образа жизни, а нового образа мыслей — образа мыслей, который сделал нас мудрыми, как боги, который превратил мир в собственность человека и который дал нам власть над жизнью и смертью в мире. Они пришли к выводу, что этот новый образ мыслей погубит Адама — и история подтверждает их правоту.

Я положил салфетку на стол и сказал:

— Больше сегодня в меня не влезет.

Б посмотрел на меня с недоумением и неодобрением.

— Слишком много для одного раза, — сказал я.

— Но ещё рано!

— Я знаю, и прошу извинить меня, но я должен всё это переварить и придумать, как передать это отцу Лалфру. Я не могу просто переписать на бумагу содержание плёнки. Если он решит, что я становлюсь учеником колдуна, он немедленно отзовёт меня.

После недолгого колебания Б кивнул.

— Вы правы. Мы не можем так рисковать.

Мы договорились встретиться за ужином на следующий день.

Вернувшись в свой номер, я с трудом устоял перед искушением сразу улечься спать. Мне хотелось отправить факс отцу Лалфру не позднее трёх-четырёх утра, чтобы не нарушать периодичность, заданную в предыдущие дни.

Текст нашего разговора с Б я решил разбить на эпизоды, часть которых привести прямой речью, дословно, а часть — в изложении, как в евангелиях: «И вот некто, подойдя, сказал Иисусу…» или «Встретило Его много народа, и один из народа воскликнул…» Не уверен, что получилось достаточно убедительно. Но, с другой стороны, какие причины у отца Лалфра подозревать меня в желании что-то скрыть? (Ответ: Такие, что его мышление даже отдалённо не схоже с моим.)

Пять утра, и я выжат как лимон. Надеюсь, что стакан виски поможет мне быстро уснуть.

ГЛАВА 13

Вторник, 21 мая

Ступени веры

В девять утра зазвонил телефон. Я выползал к нему, как из альпийского ущелья. Это была Ширин, которая объясняла что-то слишком сложное для моего понимания после неполных четырёх часов сна. Я попросил её повторить всё с начала помедленнее и в конце концов понял. Речь шла о запланированном выступлении Б, которое не удалось отложить, а назначено оно на сегодняшний вечер в Штутгарте. Чтобы успеть, нужно в одиннадцать уже сидеть в поезде, и мне предлагался выбор либо ехать вместе с ними, либо дожидаться их возвращения в Раденау. Я сказал, что буду на вокзале в половине одиннадцатого.

Положив трубку, я тотчас решил, что душ и завтрак важнее ещё одного часа сна.

В моей голове вертелась мысль, обдумать которую я мог только письменно, так что на завтрак я захватил с собой записную книжку, и вот что в ней написал:

> Есть только одна ступень *веры*, но пятьдесят ступеней *потери* её. Надо бы написать эту вескую фразу на отдельном листке, чтобы при необходимости всегда была под рукой. Только одна ступень *веры*, но пятьдесят ступеней *потери* её.
>
> Думается, я знаю лишь одного священника, стоящего на той единственной ступени веры. Все остальные, включая меня,

находятся на одной из пятидесяти ступеней её потери. Многих из моих прихожан это признание, вероятно, шокировало бы, но не меня. Конечно, есть священники, которые спустились по всем пятидесяти ступеням и покинули церковную службу. Все об этом знают, и я сам знал с полдюжины таких. Но остальные продолжают цепляться — коленями, локтями, пальцами, ногтями, зубами, бровями. Это успокаивает, поскольку, я думаю, никому не хочется терять веру, а уж тем более *совсем* потерять её. В этом, надо признать, есть и доля трусости — мы же понимаем, что с потерей веры церковная жизнь станет невыносимой и придётся расстаться с ней и уйти в незнакомый светский мир. А может, дело отчасти в том, что сколько-то веры в нас всё равно остаётся, раз нам *хочется* продолжать верить. Вот если пропадёт и эта последняя малость веры, тогда уж пропало всё, и ты на пятьдесят первой ступени. Ты изгнан, ты кончен.

Себя я вижу примерно на тридцать четвёртой ступени. Когда мне было пятнадцать, я был на самой вершине, на той единственной ступени, которая означает веру. Поступив в семинарию, спустился ступени на три. На момент рукоположения был уже на двадцатой ступени. Когда три недели назад вошёл в кабинет отца Лалфра, был на двадцать пятой. Тот факт, что сейчас я на тридцать четвёртой, звучит, вероятно, довольно плохо, но только звучит. Я боялся (когда только что занялся этим самокопанием), что я уже спустился до действительно страшной, сорок седьмой ступени. Сорок седьмая ступень — это почти уже самый край пропасти. Ещё три шага — и ты пропал.

В Штутгарт

Группа туристов состояла из Б, Ширин, Майкла и меня. Когда мы обменивались рукопожатиями, Майкл впервые сказал мне свою фамилию, хотя я могу лишь гадать, как она пишется. На звук я запомнил «Дершински». Ширин

держалась по-деловому, нейтрально. Б выглядел мрачным и озабоченным.

Настроения разговаривать ни у кого не было, кроме разве что Майкла, который то и дело кивал и подмигивал мне, но в остальном сдерживал своё хорошее настроение из уважения к Ширин и Б. Минут через десять после отправления я всё же нарушил тишину и спросил, что это за неотложное выступление. Охоты ответить, похоже, ни у кого не было. В конце концов Б объяснил, что выступление было организовано супружеской парой из местного университета, которые знали и хотели популяризировать взгляды Б на проблемы народонаселения.

— Похоже, что это приглашение, не вызвало у вас большого энтузиазма, — заметил я.

— Мои взгляды на этот предмет обычно приводят публику в ярость.

— Публику какого сорта? Католиков?

— Совсем нет. Марксистов.

— Марксистов?

Он пожал плечами и отвернутся к окну. Майкл и Ширин едва заметными жестами дали мне понять, что Б сейчас лучше оставить в покое.

В Гамбурге мы пересели на более быстрый и менее аскетичный поезд. Атмосфера оставалась тяжёлой, даже когда мы вскрыли коробки с ланчем, которые Майкл купил для нас на вокзале во время пересадки.

На полдороге к Штутгарту Б сказал Ширин:

— Почему бы тебе не рассказать Джареду притчу об императорском ознобе?

Если я правильно понял выражение её лица, она не обратила внимания на предложение Б и продолжала сидеть с безучастным видом, как прежде. Чтобы немного расшевелить её, я достал диктофон и включил его.

К моему удивлению, это её не смутило и не привело в

замешательство (меня на её месте очень даже смутило бы). Напротив, она на минуту сосредоточилась, затем начала рассказ, как профессиональная актриса.

Императорский озноб

— Императорский озноб много веков беспокоил придворных, так много, что все уже потеряли им счёт. Было очевидно, что недуг этот был наследственным, но от этого легче никому не было, особенно самому императору, которого постоянно трясло. В каждой академической и научной дисциплине был раздел, посвящённый ознобу. Каждый студент и учёный в той или иной мере работал над этой проблемой, которая, по общему мнению, носила метаболический и, вероятно, диетический характер. Проблем с питанием у императора, естественно, не было, но предполагалось, что кое-какие корректировки (пусть даже совсем незначительные) могут дать хороший эффект и принести его императорскому величеству облегчение. Предлагались и желудёвая диета, и яблочная, и жеруховая, и кабачковая. Субсидии на исследования университетам зависели от их успехов в разработке понижающих температуру диет, причём все знали, что так может продолжаться до конца времён.

И вот однажды премьер-министр созвал пресс-конференцию и объявил, что достигнут прорыв. Разумеется, о прорывах объявляли и раньше, но всякий раз это заканчивалось ничем, так что и теперь никто ничего особенного не ожидал, пока все не обратили внимание на выражение лица премьер-министра. На этот раз (говорило его лицо) речь шла о чём-то принципиально новом.

Ширин сделала паузу и спросила Б, рассказывать всё до конца сейчас или продолжить позже.

— Расскажи всё сейчас, — угрюмо сказал Б. — Тогда он сможет поразмыслить над этим.

Ширин продолжила:

— Заявление премьер-министра (о том, что установлена причина императорского озноба) было поразительно кратким. За ним последовала мёртвая тишина, после чего присутствовавшие начали шёпотом обсуждать его с нескрываемым ужасом и недоверием, а некоторые и вовсе сочли заявление глупостью. Собственно говоря, возмущение слушателей вызвал не текст заявления. Возмутил их тот факт, что лучшие умы ломали головы над проблемой императорского озноба в течение дюжины поколений, и вот оказывается, что проблема-то решается до смешного просто. В представлении большинства критические проблемы (вроде императорского озноба) непременно должны иметь сложные и необъяснимые причины, установить которые должно быть невероятно трудно (если вообще возможно). Один ошеломлённый учёный ходил по битком набитому залу и как заведённый твердил: «Простых решений *не бывает*, простых решений *не бывает*, простых решений *не бывает*». Не то, чтобы он был в этом по-настоящему убеждён, но повторением этих слов он надеялся вернуть им привычную комфортабельность незыблемой аксиомы.

Наиболее поразительным было не то, что причина озноба стала теперь очевидной, а то, что она была очевидна *всегда*, но — не считалась *причиной*. Она была у всех на глазах, но никто не обращал на неё внимания, поскольку все были заняты поиском сложных и необъяснимых причин. Во всей империи не было человека, который и раньше не знал, что страдающий от озноба монарх попросту… ходит голым.

* * *

Сказать, что я не знал, что на это сказать, это ничего не сказать. К счастью, никто, похоже, не ждал от меня комментариев. Б продолжал безучастно смотреть в окно. Ширин, даже не взглянув на меня, взяла в руки книгу, которую читала до этого. Лишь Майкл на свой манер отреагировал на рассказ,

ободряюще подмигнув мне. Казалось, молчание и не прерывалось. Я убрал диктофон, чувствуя себя Алисой Льюиса Кэрролла, которая никак не могла привыкнуть к тому, что готовилась к волнующим приключениям, а они всякий раз оказывались ничуть не волнующими.

Вечер с марксистами и прочими

На вокзале нас встретили организаторы мероприятия — супружеская пара средних лет с автомобилем, вмещавшим пять человек, но никак не шесть. Проблему решили просто: Майкл и я поехали на такси.

Поездка позволила мне узнать его чуть получше. Оказалось, что в поезде он молчал не столько из уважения к Б и Ширин, сколько потому, что вообще был страшно, можно сказать, патологически стеснительным. Это было особенно очевидно в такси, где он мог говорить сколько душе угодно, но по-прежнему продолжал молчать. Я предпринял пару попыток извлечь Майкла из его кокона, но быстро понял, что он непритворно предпочитает оставаться на заднем плане, не привлекая к себе внимания.

Мы вышли из такси перед массивным неоготическим зданием школы, напоминавшим тюрьму, после чего нас проводили по лестнице в класс, от одного вида которого легко было впасть в депрессию. Аудитория состояла из пары десятков слушателей, рассевшихся врассыпную, половина из них с таким видом, будто они готовились к роли Кассия в трагедии «Юлий Цезарь». Б, Ширин и принимавшие нас супруги стояли перед классной доской и о чём-то беседовали или делали вид, что беседуют.

Мы с Майклом разместились у задней стены. Через несколько минут Ширин села в первом ряду, и супруги подробно представили Б (по-немецки).

Я решил не записывать это выступление Б на плёнку, поскольку всё равно собирался его стенографировать, но я

не рассчитывал, что оно окажется самым длинным из всех, какие я до сих пор слышал.*

Я оказался не подготовлен к тому, что услышал, хотя за время общения с Б пора было привыкнуть к неожиданностям. Материал полностью выходил за рамки того, что я когда-либо слышал или читал на эту тему. Слушая Б, я начинал понимать главный смысл притчи об императорском ознобе. Факты, которые приводил Б, поражали своей очевидностью и были столь же неоспоримы, как нагота императора (во всяком случае в моём наивном восприятии). Когда он закончил, зааплодировали семь человек, в их числе принимавшая нас супружеская пара, Ширин, Майкл и я.

Б явно вложил в выступление все свои силы и выглядел как выжатый лимон, однако тут же, без перерыва, начал отвечать на вопросы (точнее, на возражения), задаваемые исключительно по-немецки. Наклонившись ко мне, Майкл объяснил, что, обращаясь к Б по-немецки (хотя публика со всей очевидностью хорошо владела английским), оппоненты тем самым подчёркивали своё принципиальное несогласие с его взглядами.

Перед каждым ответом Б повторял вопрос по-английски (полагаю, что для меня). Насколько я понял, слушатели просто с порога отрицали всё, что он только что сказал. Интересный метод, подумал я. Когда вопросы кончились (или окончательно его утомили), Б в качестве заключительного слова рассказал нечто вроде эпилога к притче об императорском ознобе, теперь уже явно обращаясь ко мне:

— Когда несколько дней спустя столичные учёные мужи обдумали своё положение, они пришли к выводу, что не всё потеряно. Они созвали пресс-конференцию вдвое торжественнее, чем была у премьер-министра, и пригласили втрое

* Текст этой лекции приведён в главе 28 — «Народонаселение: системный подход».

больше народу. После роскошного обеда для многочисленных представителей прессы глава Императорской комиссии по изучению озноба поднялся на трибуну и сделал следующее объявление: «Император наг — это чистая правда. Мы всегда знали об этом, но не обостряли на этом внимание, поскольку это было и так очевидно. Однако в целом причины императорского недуга многообразны, сложны и трудны для понимания неспециалистами. Было бы непростительно сводить их к по-детски наивному объяснению: дескать, императора знобит исключительно потому, что он ходит в чём мать родила. Предложение одеть императора во что-нибудь тёплое в надежде, что это улучшит его состояние, звучит прелестно и продиктовано самыми добрыми намерениями, но оно не будет рекомендовано нами к принятию или дальнейшему изучению». Вслед за этим объявлением премьер-министр был снят с поста за некомпетентность, все гранты учёным возобновлены, а император так и страдал от озноба до глубокой старости.

Б поблагодарил слушателей и отошёл в сторону. Аудитория ответила ему гробовым молчанием. Организаторы, кажется, подготовили для нас на вечер нечто вроде культурной программы, но мы вежливо отказались, чтобы успеть на обратный поезд в Гамбург. На наше счастье, вагоны в ночном поезде были уютного старого типа, с отдельными купе.

Между Штутгартом и Франкфуртом

— Напомни мне никогда больше этого не делать, — сказал Б, когда мы сели в поезд.

— Я напоминала тебе как раз перед тем, как ты согласился поехать, — сухо сказала Ширин.

— Ты была недостаточно настойчива.

Майкл откашлялся и сказал:

— Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся, — после чего густо покраснел.

— Очень любезно с вашей стороны, Майкл, — мягко сказал Б, — но всё это было мучительно тяжело.

— Это да.

— На чём мы остановились вчера вечером? — спросил он меня несколько минут спустя.

Немного подумав, я ответил:

— Вы говорили, что авторы библейского текста о грехопадении увидели в нашей сельскохозяйственной революции не технологический прогресс, а рождение нового мировоззрения, ставившего нас по мудрости в один ряд с богами и наделявшего нас властью над жизнью и смертью в мире.

Б кивнул.

— Я рад, что мы продвинулись так далеко, но это всё же лёгкая часть по сравнению с остальным.

— Почему?

— Представить происходившее после рождения Вселенной довольно нетрудно, поскольку мы видим Вселенную всякий раз, когда обращаем взгляд к небу. Но представить происходившее *до* рождения Вселенной очень и очень трудно.

— До рождения Вселенной не происходило *ничего*. По определению.

— Именно.

Я тряхнул головой.

— Не вижу, как это связано с нашей темой.

— Нам нетрудно понять первых фермеров, решивших жить осёдло, в деревнях. Нетрудно понять купцов бронзового века, возивших караванами товары за сотни километров из Фив в Гераклеополь, из Дамаска в Ассур и Ур. Нетрудно понять строителей аккадско-шумерской империи, строителей Великой китайской стены, строителей колоссальных египетских пирамид. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Примеры можно приводить часами.

— Понимаю.

— Мы понимаем их потому, что они делали то же, что на

их месте делали бы и мы. Они были нашими культурными предками. Они смотрели на мир так же, как смотрим мы, и своё место в нём понимали так же, как понимаем мы.

— Да.

— Но, оглядываясь в прошлое *за пределы* нашей сельскохозяйственной революции, мы перестаём понимать людей. Мы не понимаем, как они могли десятки тысяч лет жить без торговли и коммерции, без империй и королевств, даже без деревень, без каких бы то ни было достижений.

— Это правда. Создаётся впечатление, что они вообще *ни о чём* не думали. И дело не столько в том, что мы их не понимаем, сколько в том, что там и нечего понимать.

— Как в случае с рождением Вселенной, Джаред. Мы не можем себе представить, что было до рождения Вселенной, поскольку до её рождения не было *ничего*. Точно так же мы не можем себе представить, о чём думали люди до рождения нашей цивилизации, поскольку, в нашем понимании, они не думали *ни о чём*.

— Выходит, что так.

— Это один из результатов Великого Забвения. Мы *забыли*, о чём люди думали до нашей революции.

— Я всё ещё чего-то не понимаю, — сказал я. — Почему так важно знать, о чём думали люди до нашей сельскохозяйственной революции?

Б вздохнул.

— Есть некоторые вещи, которые можно объяснить лишь в форме иносказания, и боюсь, что это как раз тот случай. Дайте мне немного подумать.

Я взглянул на Ширин и Майкла, но они не смотрели на нас и как будто даже не слушали. В этот момент мы уже подъезжали к франкфуртскому вокзалу. Б и я сидели друг против друга у окна, и я от нечего делать стал разглядывать ожидавших поезда людей на платформе. К моему удивлению, одно из лиц показалось мне знакомым. Лишь когда мы уже

медленно проехали мимо, я вспомнил, кто это был — герр Райхманн, пожилой господин, посоветовавший мне вместо Чарлза Эттерли послушать в «Дер Бау» другого оратора, которым, конечно же, оказался Б. Я подумал, что неплохо было бы представить друг другу Б и герра Райхманна, но тут Б начал свой рассказ.

Ткачи

— Хорошо известно, — сказал Б, — что каждый кусок ткани, сотканной вручную, хранит в себе элемент магии — индивидуальной магии соткавшего её. Эта магия не обязательно умирает со смертью ткача, а часто переходит от поколения к поколению в семье и нередко распространяется на целые нации, поэтому те, кто чувствителен к подобным вещам, сразу могут сказать, соткана ли данная ткань в Ирландии или во Франции, в Вирджинии или в Баварии. И так на всех планетах Вселенной, где практикуют ткачество. Так было и на планете, о которой я хочу рассказать.

Жил-был на той планете ткач по имени Никст. Странным образом он сочетал в себе гениальность и безумие, грубость и артистизм, чёрствость и обаятельность. Всё это магическим образом впитывалось в его ткани, и те, кто носил одежду из них, становились такими же, как тот ткач. Вскоре он стал знаменитым, и все хотели купить его ткани, а вместе с ними получали и его магию. В одежде из его тканей художники творили шедевры, торговцы богатели, политики достигали вершин власти, солдаты побеждали в битвах, любовники не имели соперников. Почти сразу же обнаружилось, что у никстианской магии была и отрицательная сторона: она обладала избыточной силой и разрушала всё, к чему прикасалась. Вместо того, чтобы сохраняться века, шедевры художников разлагались через десятки лет. Вместо того, чтобы передаваться из поколения в поколение, богатства торговцев таяли ещё до конца их жизни. Вместо того, чтобы

оставаться у власти десятилетия, политики теряли власть через пару лет. Вместо того, чтобы длиться годами, чары любовников ослабевали через несколько месяцев. Но никого это не заботило. Художники жаждали шедевров, торговцы — денег, политики — власти, а любовники — новых побед.

Ясное дело, каждый ткач в той стране хотел ткать с той же магией, что и Никст, а сам Никст был уже так богат, что готов был с радостью поделиться ею. В течение одного поколения все тамошние ткачи стали вкладывать в свои ткани только этот тип магии, а все прочие были забыты. С детских пелёнок до погребальных саванов все в стране одевались лишь в ткани, пронизанные никстианской магией, и, как нетрудно догадаться, та нация в кратчайшие сроки стала самой выдающейся нацией в мире. Ничто не могло помешать ей завоевать всю планету, что она и не преминула сделать всего за несколько поколений, и в каждой завоёванной ею стране ткачам, практиковавшим другие сорта магии, приходилось либо учиться магии Никста, либо менять профессию.

Но, чем шире распространялась магия Никста, тем активнее проявлялся присущий ей недостаток — действие её становилось всё краткосрочнее. Когда количество созданных благодаря ей шедевров удвоилось, они стали разлагаться в четыре раза быстрее. Когда в три раза больше торговцев разбогатели благодаря ей, их состояние стало таять в девять раз быстрее. Никому это, конечно, не нравилось, но художники по-прежнему жаждали шедевров, торговцы — денег, политики — власти, и так далее.

Тысячу лет спустя все ткачи на планете владели только одним типом магии, а все другие были забыты. Ещё через тысячу лет было забыто, что другие типы магии вообще когда-то существовали в ткачестве, и люди перестали считать, что в тканях вообще есть какая-то магия, — есть лишь технология, и, насколько они помнят, ничего другого в тканях никогда не было. Иными словами, они пережили своего рода

Великое Забвение. В конце концов они стали думать, что никстианская магия — это просто нечто присущее тканям, как люди нашей культуры в конце концов стали думать, что тоталитарное сельское хозяйство — это просто нечто присущее человеку.

Когда уже каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребёнок на планете носили одежду только из тканей с магией Никста, её эффект ослабевал уже с такой скоростью, что шедевры превращались в пыль за считанные недели, и больше никто не хотел их приобретать. Состояния накапливались и таяли за несколько дней, так что торговцы постоянно жили в депрессии на грани самоубийства. Правительства и целые политические системы менялись со скоростью времён года, и никто уже не утруждал себя запоминанием фамилий президентов и премьер-министров. Романы и любовные связи редко длились больше двух-трёх часов.

Случилось так, что в тот момент тотального системного кризиса каким-то особенно усердным палеоантропологам удалось обнаружить, что ткачество существовало задолго до Никста и что в течение сотен тысяч лет люди с удовольствием носили одежду из тканей, сотканных с помощью других типов магии. Как ни странно, даже без магии Никста художники иногда создавали шедевры, торговцы богатели, политики приходили к власти, а любовники имели успех у дам. И, что особенно удивительно, всё это, в сравнении с современностью, сохранялось и длилось чуть ли не вечность.

Воодушевлённые этим открытием, палеоантропологи поспешили доложить о нём своему начальнику и попросили освободить их от всех прочих обязанностей, чтобы они могли исследовать старинные ткани и, может быть, заново открыть магию, которую вкладывали в них древние ткачи. «Боюсь, что не вполне понимаю вас, — сказал начальник, терпеливо выслушав их предложение. — Почему нам так важно знать, как работали ткачи до эпохи Никста?»

Мораль сей басни такова

— Я полагаю, вы уловили параллель с тем, о чём мы говорили чуть раньше, — сказал Б. — Если не ошибаюсь, вы спросили: «Почему так важно знать, о чём думали люди до нашей сельскохозяйственной революции?» Вы по-прежнему ждёте ответа?

— Хотел бы сказать, что нет, — ответил я, — но, честно говоря, не могу. Моя проблема вот в чём. Я знаю, какие идеи мотивировали нас, потому что я вижу, чего мы *достигли*. Но я не понимаю, какие идеи мотивировали наших предков, потому что не вижу, чего достигли они. А не вижу потому, что они не достигли *ничего*. Покажите мне их достижения, и я, быть может, поверю, что какие-то идеи их всё-таки мотивировали.

— Чего достигли люди, жившие до эпохи Никста, в моей притче?

— То есть, за период с их появления как биологического вида и до эпохи Никста?

— Да.

— Думаю, они научились ткать.

— Именно. Немалое достижение, правда? Наши предки за первые три миллиона лет существования человека достигли не меньшего — они научились жить по-человечески, жить хорошо и получать от жизни удовольствие. Они выработали специфически человеческий образ жизни, полностью отличавшийся от образа жизни других приматов, образ жизни существ, способных к поэзии, философии, музыке, танцу, мифологии, изобразительному искусству и изобретательству в разных технологических областях.

— Но где здесь идеи?

— Думаю, вы их найдёте. В любом случае это вызов, который я сам себе бросил, Джаред, — раскрыть вам эти идеи. Я знаю, что вам всё ещё кажется, будто на всё это — на всё прекрасное и катастрофическое в нашей судьбе — мы

были *обречены*. Будто в самих человеческих клетках каким-то образом была заложена программа превращения нас в таких, какими мы стали, как в клетках гусеницы заложена программа её превращения в бабочку.

— Да, приблизительно так мне и кажется.

— В один прекрасный день, если мне это удастся, вы увидите, что ничто не обязывало «человека разумного» стать *нами* в большей степени, чем стать гебуси. Люди нашей культуры не представляют собой финальную стадию человеческого развития в большей степени, чем её представляют собой гебуси.

— Надеюсь, что вам удастся это сделать, — сказал я. — Правда.

Он встал и ухватился за багажную полку, чтобы удержать равновесие.

— Пора прогуляться, — сказал он, направляясь к двери.

Я сидел и некоторое время смотрел на Майкла и Ширин в надежде, что они заговорят. Не заметив у них такого намерения, я достал свой дневник и занялся обновлением записей.

ГЛАВА 14

Среда, 22 мая

Последняя остановка

Час спустя Ширин не согласилась с моим замечанием, что Б отсутствует подозрительно долго. По её мнению, он просто встретил кого-нибудь из знакомых. Майкл, как обычно, счёл неуместным высказывать своё мнение, и я отправился на поиски Б один.

Купе отделяли от коридора переборки со стеклянными вкладышами, и сидящих за ними было достаточно хорошо видно, но нигде в передних вагонах Б не оказалось. Некоторые купе пустовали, и в них было темно. Пока у меня впереди ещё оставались вагоны, я в такие купе не заглядывал. Я вспомнил, что предыдущей ночью Б спал не больше меня и после утомительного вечера в Штутгарте вполне мог устроиться в одном из пустых купе подремать. Найдя его, наконец, я было подумал, что оказался прав, но — ошибся. Он действительно вытянулся в одном из свободных кресел, но не спал, а был мёртв — с открытыми глазами и пулевым отверстием в левом виске.

Возможно, когда-нибудь позже я опишу, что пережил в ту минуту, но не сейчас. Думаю, я был близок к тому, что раньше понимали под выражением «лишиться рассудка», когда оно ещё не стало банальным синонимом сумасшествия. Я знал, что в такой ситуации нужно дёрнуть ручку стоп-крана и остановить поезд, как бы мало мне этого ни хотелось.

Казалось, другого выхода не было, хотя многие пассажиры наверняка думали по-другому. Это, конечно, был ужас, кошмар. Я даже подумал, что мне это снится и что я вот-вот как ни в чём не бывало проснусь у себя в гостиничном номере. Но затем из тумана возник кондуктор, за ним следом Майкл, тотчас взявший на себя роль переводчика. Позднее, — как мне показалось, часы спустя, — из того же тумана вышли несколько полицейских, потом толпа полицейских, каждый с одними и теми же вопросами. На меня дважды надевали наручники и чуть было не надели в третий раз.

Наконец, поезд тронулся в сторону Ганновера, до которого оставалось всего несколько километров. А ночь всё тянулась. В конце концов Майкл и Ширин убедили полицию, что я очень маловероятный убийца, и меня отпустили, забрав в качестве залога мой паспорт. К этому времени наступил рассвет. Майкл нашёл таксиста, согласившегося отвезти нас в Раденау, и мы покинули то проклятое место.

Я проспал до восьми часов вечера, спустился, немного поужинал и отправил отцу Лалфру факс с изложением происшедшего. Офицер полиции на хорошем английском просил меня позвонить, если я вспомню какие-нибудь детали в дополнение к занесённым в протокол. Я позвонил ему и сказал, что во Франкфурте на платформе видел герра Райхманна.

— Откуда вы знаете, что он не встречал кого-нибудь из ехавших тем же поездом?

— Я этого не знаю. Но встречающие не подходят так близко к поезду. Они обычно стоят поодаль, чтобы видеть выходящих из всех вагонов.

— Верно подмечено, — согласился полицейский. — Итак, допустим он сел в поезд. Вы думаете, у него были причины ненавидеть вашего друга?

— Нет, совсем нет.

— Тогда в чём проблема?

— Вы просили позвонить, если я вспомню какие-нибудь детали. Вот я и звоню.

— Хорошо. Вы правильно сделали. Кстати, экспертиза установила, что у вас на руках не было следов пороха.

— Это новость для вас, но не для меня, — сказал я. — Я знал, что на моих руках не может быть следов пороха. Значит, я могу получить обратно мой паспорт?

— Через день или два. Возможно, мы ещё раз побеседуем с вами, если потребуется.

Мы попрощались.

Теперь и я чувствовал себя полумёртвым. Я не знал, что думать, не хотел ничего вспоминать, не хотел ничего делать. Я вынул бутылку скотча и налил стакан, но пить не хотелось тоже.

Не раздеваясь, я плюхнулся на кровать и проспал десять часов подряд.

ГЛАВА 15

Четверг, 23 мая

Раденау, день шестой

Отец Лалфр позвонил в восемь утра и первым делом сказал, что у него сейчас полночь.

— Я не просил вас звонить, — резко ответил я.

В трубке повисла долгая тишина. Видимо, он решал, как на это реагировать, но ничего не придумал.

— Когда вы возвращаетесь? — спросил он.

— Не знаю. Полиция ещё не вернула мне паспорт.

— Почему?

— Очевидно, чтобы я не мог покинуть Германию.

— Они не поймали убийцу Эттерли?

— Насколько мне известно, у них нет даже подозреваемого. Но, поверьте, они не посвящают меня в свои дела.

— Что вы им сказали о целях своего нахождения там?

— Ни черта не сказал. Всё, что их интересовало, это были ли у меня с ним ссоры, был ли у меня пистолет и не я ли его застрелил. На мою биографию им было глубоко наплевать. Может быть, спросят ещё о чём-нибудь, но пока не спрашивали.

— Хотите, я найду для вас адвоката?

— Пока нет необходимости. Кроме того, что это я обнаружил тело, у них нет никаких причин полагать, что я имею какое-то отношение к его смерти.

Взвесив всё это, отец Лалфр сказал со спокойной уверен-

ностью человека, находящегося за шесть с половиной тысяч километров:

— Они не могут держать вас там бесконечно.

— Я им так и скажу. А в чём спешка?

— Спешки нет. Просто, раз вам там больше нечего делать, я подумал, что вам не терпится вернуться домой.

Слегка удивившись, что он счёл нужным объяснить это мне, я сказал:

— Буду держать вас в курсе, если узнаю больше.

— Вам что-нибудь нужно?

— В чём может нуждаться человек, когда у него в кармане «Америкен Экспресс» и «Виза Голд»?

— Джаред, вы начинаете меня беспокоить.

— Это не было увеселительной прогулкой.

— Скоро всё кончится, — сказал отец Лалфр, и на этом мы попрощались.

Я принял душ, оделся, позавтракал и отправился прогуляться, чего ещё ни разу не делал в этом городе средь бела дня. В Раденау невозможно заблудиться, для этого он спланирован со слишком тевтонской логикой. Совершенно случайно я забрёл на улицу, где находилась лавка Густла Майера с его «отвергнутыми или списанными» музейными экспонатами. Когда я вошёл, старик посмотрел на меня с удивлением. Я спросил его, знает ли он о случившемся с Б. Он сказал, что читал об этом в газете. Я объяснил, что недостаточно владею немецким, чтобы читать газеты, поэтому не знаю, арестовала ли полиция кого-нибудь.

— О, они никого не найдут, — заверил меня старик.

— Почему?

Он в задумчивости пожал плечами.

— Чарлз был из тех, кому суждено быть убитыми.

Похоже, он считал это достаточным объяснением.

ГЛАВА 15

Обратно в нору

После обеда я отправился в театр, надеясь встретить там Ширин и Майкла. И они были там. Как и фрау Хартманн, американская девочка Бонни и Тейтели. Я не ждал, что мне будут очень рады, и не ошибся в этом. За исключением Ширин, занявшей кресло Б, все остальные сидели на своих обычных местах. Возможно, они хотели хоть таким образом сохранить всё как было. Все молчали.

Я сел и спросил, какова преобладающая теория: кто убил Б и почему? Все посмотрели на меня безучастно, за исключением Ширин, которая сказала:

— Я не назвала бы это теорией. По мнению большинства, Б был бы по-прежнему жив, если бы не приехали вы.

— Я рад, что это не теория. *Post hoc ergo propter hoc*. После этого — значит вследствие этого. Надеюсь, вы тоже видите в этом логическую ошибку. Если так рассуждать, то браки — причина всех разводов.

— Не читайте нам мораль, Джаред.

— Не буду, если вы перестанете вешать на меня убийство Б.

— А *по-вашему,* почему Б убили?

Это спросил Майкл.

— Не знаю. Вариантов слишком много, и я не представляю, какой из них выбрать. Очень многим не нравилось то, что он говорил, и вы это знаете.

— Это было сделано не тем, кому просто не нравилось то, что говорил Б, — сказала Ширин. — Это было сделано кем-то, кто знал, что Б будет в данном конкретном поезде. Кем-то, кто сел в данный конкретный поезд с целью убить его.

— Или кем-то, кто сел в данный конкретный поезд, чтобы убить кого-нибудь вообще.

— Если кто-то сел в поезд, чтобы убить кого-нибудь вообще, то почему он убил только Б?

— Не знаю. Может быть, одного ему было достаточно. Или больше никто не ехал в купе один.

— Как фамилия вашего босса? — спросила Бонни. — Того, который прислал вас сюда?

— Отец Лалфр.

— Может быть, его убили по приказу отца Лалфра.

— Зачем ему это?

— Он ведь прислал вас выяснить, не Антихрист ли Б?

— Хорошо, допустим, что он прислал меня с этой целью. И что с того?

— Тогда он вполне мог решить, что Б был Антихристом.

Я покачал головой.

— Он определённо не мог прийти к такому выводу на основании того, что я ему передал. Но, даже если бы он и в самом деле пришёл к такому выводу, он не пошёл бы из-за этого на убийство. Вы слишком много смотрите телевизор, Бонни. Отец Лалфр археолог и психиатр, а не крёстный отец мафии.

Бонни хмыкнула в знак того, что я невероятно наивен или принимаю её за дурочку.

Больше никому сказать было нечего.

* * *

Сидя среди этих людей, погружённых в молчание, я начал подозревать, что, может быть, своим появлением прервал какой-то разговор — разговор, который мне не положено было слышать. Я решил, что надо бы это выяснить, и уже начал мысленно формулировать подходящий вопрос, когда сверху раздался гулкий стук шагов по чугунной винтовой лестнице. Я огляделся, пытаясь понять, ожидали ли здесь гостей, но по лицам понял, что нет.

Все сидели в очевидном напряжении, пока на последнем витке лестницы не показалась пёстрая группа из пяти человек, возрастом от школьного до средних лет, одетых почти в лохмотья, как ранние хиппи или поздние панки. Остановившись, они некоторое время разглядывали нас, как

музейные экспонаты, затем переглянулись, сошли, наконец, с лестницы и, лавируя между старым театральным хламом, приблизились к нам.

— Мы туда попали? — спросил их лидер, бородатый мужчина лет сорока. — Мы из Швеции. Нам сказали найти в Раденау театр, спуститься в подвал, и там они собираются.

Поскольку мы продолжали смотреть на них с нескрываемым удивлением, он вежливо улыбнулся и поочерёдно кивнул каждому из нас. Наконец, всё с той же улыбкой, правда, чуть менее уверенной, он спросил:

— Кого из вас зовут Б?

Видя, что никто не собирается отвечать, я взял на себя ответственность и сказал:

— Б здесь нет.

— Заткнитесь, глупец, — сказала Ширин.

Встав и повернувшись лицом к новоприбывшим, она произнесла три слова, которые, как я мгновенно понял, пустят мою жизнь под откос:

— Б — это я.


часть
вторая

ГЛАВА 16

Пятница, 24 мая (2 часа ночи)

Тяну время

В числе прочего вчера было решено, что Б выступит перед аудиторией завтра вечером. Это называется «снова вскочить на лошадь, которая тебя сбросила». Моё мнение никого не интересовало, а оно состояло в том, что отсрочка лекции на неделю ничему бы не повредила, зато позволила бы известить больше людей. Я обещал помочь развешивать объявления, но вряд ли сдержу обещание, если хочу хоть немного поспать (а я хочу, и будь что будет).

Моё время здесь истекает. Несколько часов назад мне вернули паспорт, и я должен иметь в виду, что отец Лалфр узнает об этом без промедления, поскольку у него здесь свои источники информации. Я могу задержаться на несколько дней (но едва ли больше), соврав, что полиция просила меня не спешить с отъездом на случай, если они найдут герра Райхманна, пожилого господина, который сначала вывел меня на Б, а позднее сел в наш поезд во Франкфурте в ночь убийства Б. Если это придёт им на ум, они вполне могут попросить меня на всякий случай оставаться в городе (ведь могут же).

Ширин и Джаред

Поставив меня на место, Б около часа беседовала со шведами. (Честно говоря, мне страшно хочется по-прежнему называть её Ширин, но делать так значило бы перейти в разряд

посторонних, как, скажем, её мать или её врачи. Кроме того, мне кажется, отрицать, что Ширин — это Б, равносильно отрицанию, что Чарлз был Б.) Она дала им общее представление об учении Б и пообещала встретиться с ними снова завтра. Затем она попросила всех оставить нас с ней одних.

Разговор у нас завязался не сразу. Я не знал, что она хочет обсудить, а она, похоже, не спешила начать. Через несколько минут мне стало казаться, что она вообще не хочет со мной разговаривать, и я спросил, зачем она себя принуждает. Мой вопрос что-то прояснил ей и — вывел её из себя.

— Я недавно назвала вас глупцом, — сказала она. — И это правда: никого глупее я в жизни не встречала. Вы понимаете почему?

Я сказал, что нет.

— Я знала многих значительно менее блестящих, чем вы, многих вообще без ментального потенциала, но я никогда не встречала людей с таким блестящим ментальным потенциалом, используемым так мало.

У меня невольно вырвался горький смешок, из тех, что были так характерны для Берти Вустера.

— Вы говорите как мой научный руководитель в аспирантуре, — сказал я. — Вы не представляете, насколько похоже.

Она вздохнула, и я заметил, что гнев у неё прошёл. Неожиданно она извинилась за свою несдержанность.

— Я должна подстроить под вас своё мышление, Джаред. Понимаете, меня возмутило в вас то же самое, что Чарлз находил достоинством. Вы способны невероятно долго хранить в голове информацию, *не делая никаких выводов*. Мне это кажется недостатком. А Чарлз видел в этом … что-то другое.

— Вы имеете в виду, что до меня слишком долго доходит?

— Мне кажется. Чарлз видел в этом вашу необычайную способность *не делать поспешных выводов*. Не поддаваться соблазну понимать слишком быстро. Не поддаваться соблазну *схватывать,* не успев понять.

— Ого, — сказал я. — Было бы здорово обладать такими способностями.

— Не ёрничайте, Джаред. Я тоже постараюсь не ёрничать. Но самое ужасное для вас — это иметь дело с таким человеком, как ваш отец Лалфр. Вы думаете, что ход ферзёвой пешкой — блестящий ход для начала партии, но пока вы двигаете ту пешку, он вводит в бой обоих коней, обоих слонов и делает рокировку. Он всё время опережает вас на восемь ходов.

— Как ему это удаётся?

— С вашей же помощью, конечно. Он внедрил вас сюда две недели назад и может выдернуть, когда ему заблагорассудится. — Она склонила голову набок. — Если вы не готовы изменить своей миссии.

— Не готов.

— Тогда вы прямо сейчас должны взглянуть в лицо вот чему. Отец Лалфр знает вас по меньшей мере не хуже, чем я. Это значит, что, осознанно или нет, он выбрал вас потому, что вы не будете спешить с выводами. Выводы он хочет оставить за собой.

— Теперь у меня есть некоторое представление о том, как чувствуют себя умственно отсталые, когда осознают, что они отсталые.

— Не говорите глупости.

— Я понимаю, что не имею права спрашивать вас об этом, поскольку это не моё дело, но всё же хочу спросить. В каких отношениях вы были с Чарлзом?

Её взгляд сделался ледяным. Я ответил таким же.

— Вы не посмели задать этот вопрос Чарлзу.

— Нет.

— Но посмели задать его мне. Почему?

— Потому что хочу услышать именно ваш ответ.

— Почему? — настаивала она, пронизывая меня взглядом.

— Если отец Лалфр опережает меня на восемь ходов, то

вы — как минимум на четыре. В этом случае вы уже знаете почему. Я всё ещё на первом ходу и только пытаюсь понять.

Взгляд Б стал задумчивым. Ей явно стоило немалых усилий разобраться в том, что я сказал. Трудно было определить, действительно ли ей это не удалось, или она предпочла сделать вид, что не удалось. Так или иначе, она сказала:

— Б и я не были любовниками.

— Понятно. И всё?

— Наши отношения были такими, какие вы видели. Какую их часть вы хотите, чтобы я объяснила?

— Никакую, — сказал я. — Просто я не верил своим глазам, что вижу настоящее чудо. Такая дружба, как ваша, встречается лишь однажды в жизни. Вам обоим фантастически повезло.

Целую минуту она сидела как каменная, всеми силами сдерживая навернувшиеся на глаза слёзы. Если бы я был настолько глуп, что произнёс хоть слово или протянул в её сторону руку, она, вероятно, влепила бы мне пощёчину. Наконец, она смахнула слезу, не обращая внимания, что я вижу, как она это делает, поскольку теперь уже всё прошло.

— Что характерно, — сказал я, — я совершенно не понимаю, что происходит. Что мы здесь делаем?

— Я принимаю эстафету вашего обучения. Там, где остановился Чарлз.

Я с удивлением посмотрел на неё, затем спросил, почему она это делает.

— Я понимаю, почему это делал Чарлз, но не понимаю, почему это собираетесь делать вы.

— Ответ вам вряд ли понравится, — после недолгого размышления сказала она. — Но другого у меня нет. Вы видите в этом любезность с нашей стороны, но не необходимость. А мы видим в этом необходимость, потому что опережаем вас на четыре хода. Вас это устраивает?

— Думаю, у меня нет выбора.

— Когда вы нас догоните, вы сами поймёте, что вам это

было необходимо. У вас не будет на этот счёт никаких сомнений.

— Вы были правы, — сказал я, — ответ мне не нравится.

Перед расщелиной

— Когда Чарлз начинал, мы думали, что у нас есть недели. Теперь, после его гибели, я думаю, что у нас остались лишь дни, а то и часы.

Я спросил, какое отношение имеет к этому гибель Чарлза, но она лишь покачала головой и продолжила.

— Подход Чарлза мог быть, конечно, только его собственным, но, честно говоря, он мне казался слишком скрупулёзным и слишком окольным. Мне придётся начать с более элементарного уровня.

— Ладно, — неуверенно сказал я, потом добавил: — Вы намерены начать прямо сейчас?

— У вас запланирована другая встреча?

— Нет. Конечно, нет.

— Если вы ожидали, что я буду в трауре целый месяц, то это попросту невозможно. Не теперь. Не при нынешних обстоятельствах.

— Прошу прощения, продолжайте.

— Чарлз не хотел перетаскивать вас через расщелины, Джаред. Он хотел, чтобы вы сами переступали через них, такой у него был метод. Вы понимаете, о чём я?

— Он хотел, чтобы я сам приходил к нужным выводам, а не ждал, пока он подведёт меня к ним за ручку?

— Именно. Каждая сказанная им фраза была одним из камешков, которые он бросал в расщелину, постепенно заполняя её в надежде, что рано или поздно вы сами шагнёте вперёд.

— А я так и не шагнул.

— А вы так и не шагнули. На такой метод у меня не хватит терпения, Джаред. Терпения или времени. Я перетащу вас через расщелины и начну с итога.

Она ждала моей реакции, и я, разумеется, мог ответить «Хорошо» или «Звучит отлично», но для меня это не звучало ни «хорошо», ни «отлично». Для меня это звучало как конец, что и неудивительно: итог и значит конец.

— Хорошо, — сказал я. — Звучит отлично.

Она взглянула на меня с недоверием, как будто поверила мне не больше, чем я себе, затем продолжила:

— Скажите мне одну вещь, Джаред. Вот вы священник. Вы понимаете, в чём состояла миссия Иисуса, не так ли?

— Полагаю, что да.

— Да или нет?

— Понимаю.

— Скажите мне в двух словах, зачем приходил Иисус?

— В двух словах?

— Говорите, или скажу я. В двух словах, зачем приходил Иисус?

— Спасать души.

— Это ведь мнение не только римско-католической церкви? Так может сказать представитель любой христианской конфессии, и все подпишутся под этим.

— Думаю, да. Это, вероятно, единственное, под чем подпишутся все.

— Он не приходил спасать китов?

— Нет.

— Он не приходил спасать ни леса, ни болота?

— Нет.

— Теперь скажите мне, Джаред, что здесь делаем *мы?* Для чего *всё это?*

— Что вы имеете в виду под «этим»?

— Спрошу по-другому. Мы знаем, для чего приходил Иисус. Для чего приходил Б?

— Не знаю, — встревоженно сказал я.

— Вы знаете, Джаред. О чём мы с вами сейчас говорим? О чём все наши лекции?

Я покачал головой.

— Сделайте шаг вперёд, Джаред. Расщелина шириной всего пять сантиметров. Два слова легко заполнят её.

Я замер, уставившись на неё.

— Да говорите же, чёрт возьми! Не вынуждайте меня говорить за вас. Что является предметом всех наших разговоров? Что является предметом всех наших лекций?

— Спасение мира, — хрипло выдавил я из себя.

— Спасение мира. Конечно. Это было прямо у вас перед носом всё время, не так ли? А теперь, Джаред, перейдём напрямую к Антихристу. Прямо сейчас. Хорошо?

— Хорошо.

— Вы ведь здесь за этим, не так ли?

— Да.

— Антихриста во все времена представляли как зеркальную противоположность Христу. Если Христос приходил спасать души, то Антихрист должен прийти…

— Губить души.

— Именно. Если Христос проповедовал добродетель и нравственность, то Антихрист должен проповедовать…

— Грех и порок.

— Так его представляли традиционно. Но, насколько я поняла из того, что вы нам рассказали, сегодняшние теологи уже вышли за рамки этого традиционного представления. Они понимают, что если пророчества об Антихристе принимать всерьёз, то сегодня их главным героем вряд ли окажется проповедник греха и порока — не те времена. Какие грехи и пороки может придумать Антихрист, чтобы они не вызывали скуку у публики, насмотревшейся современного телевидения?

— Никакие, — согласился я.

— А раз традиционный Антихрист как проповедник греха и порока не произведёт в современном мире ни малейшего впечатления, следовательно…

— Следовательно?

— Думайте, Джаред. Если проповедник греха и порока на роль Антихриста не годится, значит…

— Значит, Антихрист должен выбрать себе другую роль.

— Значит, Антихристу вовсе не нужно быть зеркальной противоположностью Христу — достаточно просто уводить от него людей в слегка другом направлении.

Она явно ожидала моей реакции на эту идею, поэтому я сказал:

— Понимаю. Антихрист должен уводить людей от Христа в слегка другом направлении.

— В каком?

— Не знаю.

Я правда не знал.

— Подумайте, Джаред. Расщелина шириной всего восемь сантиметров.

Я покачал головой.

— Начнём с начала, — сказала она. — Миссия Христа — это…

— Спасать души.

— Но это не миссия Б.

— Нет, — сказал я.

— Миссия Б — спасти мир.

— Нет, — повторил я, упрямо отказываясь видеть свет.

— Вы имели в виду «да», Джаред. Это направление и видит ваш отец Лалфр. Не *губить души* в противоположность *спасению душ,* а *спасать мир* в противоположность *спасению душ*. Вот почему вас прислали. Это и делает Б кандидатом в Антихристы.

— Нет!

— Почему вы говорите «нет»? Чарлз не раз повторял вам, что рано или поздно вы поймёте, почему люди называют его Антихристом. Он вот это имел в виду.

— Я говорю «нет» потому, что если стремление спасти мир

делает человека Антихристом, то «Гринпис» — это Антихрист, «Земля прежде всего!» — это Антихрист, «Фонд охраны дикой природы» — это Антихрист.

— Джаред, у этих организаций другие цели. Их цели даже отдалённо не имеют ничего общего с целями Б. И вы отлично знаете это.

— Я *не знаю* этого.

У неё вырвался нервный смешок.

— Вы чудо света, Джаред, правда. Для вас восьмисантиметровая расщелина шире Большого каньона.

Рискованная прогулка

— Я — Б, — сказала Ширин, — но я неопытный учитель. Объявив, что не собираюсь следовать методу Чарлза и заставлять вас самого перешагивать через расщелины, я тут же начала делать именно это.

Она замолчала и окинула недовольным взглядом нашу странную не то пещеру, не то дворцовую залу, некогда роскошную, но теперь запущенную и по-театральному нереальную.

— Я думаю, для начала мы должны выйти отсюда, избавиться от шаблона.

Я согласился, и мы вышли.

— Как насчёт прогулки? — спросила она.

— Положительно. При условии, что не в «Маленькую Богемию».

Она улыбнулась.

— Это было любимое место Чарлза, а не моё. Здесь есть маленький парк, километрах в трёх отсюда, он будет нам полезен.

Я удивился, каким образом парк может быть нам «полезен», но вслух назвал идею отличной. Мы неспешно шагали сквозь долгие весенние сумерки.

Дома я никогда не гуляю приятными весенними вечерами

с красивыми женщинами. Это плохо сказалось бы на моей репутации.

Порой мне приходит в голову мысль, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь написал правдивую книгу о жизни священников. Мне хочется этого не потому, что в такой книге рассказывалось бы о хорошо мне известном, а потому, что рассказывалось бы и о неизвестном. Я, например, убеждён, что для священников провальные любовные авантюры более характерны, чем для любой другой социальной группы, включая старшеклассников и звёзд кино. И это не истории о возвышенно-трагической запретной любви в духе «Поющих в терновнике». Это совершенно глупые и убийственные фиаско по причине незнания элементарных вещей, поскольку в этой сфере человеческих отношений у священников, в силу их образа жизни, практически нет возможности постепенно учиться, как все, на ошибках. (Книга непременно должна коснуться и в высшей степени смехотворной идеи, будто священники хорошо знают жизнь, поскольку слушают исповеди.)

Спешу уточнить, что, говоря о провальных любовных историях, я не имею в виду свой собственный опыт. Если я избежал романтических пут, то не потому, что я такой праведный и преданный своему делу, а по тем же причинам, по которым не занялся парашютным спортом, дельтапланеризмом или стритлагингом. Предложений более чем достаточно, от откровенных до едва уловимых, и не только у меня, а у всех священников. Это отчасти потому, что в представлении женщин мы для них не опасны (без особых претензий и ненавязчивы). Кроме того, они видят в нас сексуальный вызов, а некоторые путают нас с исполняемой нами ролью. Мы обучены быть внимательными, чуткими, понимающими, мудрыми и властными (этого от нас ожидают и даже платят за это), и это привлекает в нас многих женщин (чёрт возьми, мужчин тоже).

Книга также должна уделить внимание тому, что обет есть обет, и церковный обет — дело столь же серьёзное, что и супружеский. Супруги, которым случится нарушить обет, не сходят из-за этого с ума, и, если уж на то пошло, священники тоже, разве что в художественной литературе. В литературе не устоявшего перед искушением священника терзают страшные угрызения совести. В реальной жизни он в худшем случае испытывает временный внутренний дискомфорт.

Но, повторяю, я говорю это, исходя из опыта коллег, а не из своего собственного (пока).

Вот о чём я думал, прогуливаясь приятным весенним вечером бок о бок с красивой женщиной. Вдали от дома, где отважиться на такое мне бы и в голову не пришло.

Мне становилось ясно: я сделан не из железа.

— Откуда вы знаете язык жестов? — спросил я.

— Мои родители были глухими.

Не самая удачная тема для разговора в столь романтической обстановке, подумал я.

— Это один и тот же язык в Америке и Германии?

— Нет, совсем нет.

— Когда вы тогда на сцене переводили Чарлза на язык жестов, вы знали, есть ли в зале хоть кто-то, кто вас понимает?

— Нет. И если вы собираетесь также спросить, зачем я тогда это делала, то сразу отвечу: я делала это для себя. Это совсем другой язык.

— Я знаю, но зачем переводить для себя?

— Когда жестикулируешь, думаешь совсем по-другому. Совсем, совершенно иначе.

Она ненадолго замолчала.

— Трудно объяснить тому, кто не знает этот язык, — наконец сказала она. — Переводить в жесты — это не то же самое,

что переводить с одного разговорного языка на другой разговорный. Нужно всё в корне переосмысливать.

— Чарлз владел этим языком?

— Он многое понимал, но мало что мог сказать.

Уголком глаза я заметил, что она слегка улыбнулась.

— Но у него был чудесный стиль, его собственный.

Я почувствовал, как мой желудок сжался от ревности. Осторожно, Джаред!

Границы

«Маленький парк», о котором говорила Ширин, в сгущавшихся сумерках показался мне довольно большим. Не знаю, был ли он просто запущен, или это дизайнер задумал его таким — уголком дикой природы со спонтанно проложенными дорожками, без фонарей и с миниатюрной скамейкой. Впрочем, я не эксперт ни по паркам, ни по дикой природе. Побродив минут десять, мы устроились на скамейке. Деревья загораживали от нас тот последний неяркий свет, что ещё оставался в небе, и можно было подумать, что уже полночь.

— Границы всегда коварны и интригующи, — сказала, наконец, Б. — Феральные дети завораживают потому, что стоят на границе животного мира. Гориллы и дельфины завораживают потому, что стоят на границе человеческого мира. Границы между веками и тысячелетиями тоже завораживают, хотя они всего лишь произвольные следствия того факта, что мы пользуемся десятичной системой счисления. Шекспировские шуты завораживают потому, что живут на границе между мудростью и безумием. Герои трагедий завораживают потому, что балансируют на границе между триумфом и крахом. Границы между дочеловеческим и человеческим, между ребёнком и взрослым, между поколениями, между нациями и народами, между социальными и политическими парадигмами — все они бесконечно завораживают.

Граница, на которой Чарлз и я старались сконцентрировать

ваше внимание, это граница, которая была пересечена, когда группа людей, живших в Плодородном полумесяце десять тысяч лет назад, стала *нами*. Вы знаете, что пересечение той границы дало нам очень специфический метод ведения сельского хозяйства, позволявший производить огромные излишки продовольствия. Вы знаете, что пересечение той границы обернулось для нас самым изнурительным образом жизни в истории планеты. Но это поверхностное восприятие случившегося. Чарлз хотел, чтобы вы увидели, что мы тогда пересекли и чрезвычайно важную духовную и ментальную границу. Чарлз пытался привести вас к пониманию факта пересечения той границы, подводя вас к ней отсюда, из настоящего времени, и двигаясь назад, в прошлое. Я же предлагаю зайти с противоположной стороны. Я попытаюсь подвести вас к пониманию факта пересечения той границы, начав с нашего появления в сообществе жизни и продвигаясь вперёд, к сегодняшнему дню.

Я скорее почувствовал, чем увидел, что она поёжилась, как от внезапного озноба. Вероятно, она поняла, что я это заметил, и, опередив мой вопрос, сказала:

— Мне не холодно, мне… боязно.

— Почему?

— Чарлз мог это сделать, и сделал бы при вашей следующей встрече. Но он надеялся, что в этом не будет необходимости. Это намного… сложнее.

Я чуть было не сказал, что сожалею об этом, но успел сдержаться.

Несколько минут Б молча смотрела в пустоту, затем сказала:

— Фундаментальный обман Берущих состоит в том, что человечеству якобы изначально было предназначено — а значит, и суждено — стать *нами*. Это оборотная сторона идеи о том, что вся Вселенная была создана с единственной целью произвести на свет эту планету. Мы снисходительно

улыбнулись бы в ответ на заявление гебуси, что божественное предназначение человечества — это стать гебуси, но считаем совершенно нормальной идею о том, что божественное предназначение человечества — это стать *нами*.

— Кажется, я начинаю понимать, хотя определённо не понимал этого, когда Чарлз впервые сказал, что *мы — не человечество*.

Б отстранённо кивнула, словно стараясь не упустить важную мысль.

— Поскольку мы воображаем себя теми, кем человечество должно было стать по божественному замыслу, мы полагаем, что наши доисторические предки *пытались* стать нами, но им недоставало инструментов и технологий. Мы приписываем им наши оценки того, что нам кажется примитивным и несовершенным. Например, для нас наши религии — это вершины духовного развития человечества, следовательно, у наших предков можно найти лишь сырые, бесформенные заготовки тех же религий. Мы вовсе не ожидаем обнаружить у них полностью сложившиеся религии, выраженные в формах принципиально отличных от наших.

— Верно, — сказал я.

— Какие события считаются положившими начало человеческому религиозному мышлению?

— Я бы сказал, что религиозное мышление возникло из практики хоронить умерших, которая насчитывает приблизительно пять тысяч лет.

Б кивнула.

— Это то же самое, что датировать возникновение человеческой речи временем изобретения письменности. Тоже, кстати, около пяти тысяч лет назад.

— Понимаю, что вы имеете в виду. Надеюсь, что понимаю.

— Лингвисту ведь не придёт в голову искать истоки человеческой речи в глиняных табличках Месопотамии?

— Конечно, нет, — сказал я.

— Где лингвист будет искать истоки человеческой речи?

— Думаю, ему придётся вернуться ко времени появления самого человека.

— Потому что быть человеком — это уметь говорить.

— Я бы сказал, что да.

— Если бы *Homo habilis* не умел говорить, он назывался бы иначе, без слова *Homo.*

— Да.

— Каким методом будет пользоваться наш гипотетический лингвист?

— Думаю, это был бы метод скорее философского и умозрительного порядка, чем лингвистического. У него же нет представителя той эпохи в качестве собеседника, чью речь он мог бы анализировать.

— Он оказался бы на одной из тех самых таинственных границ. По одну её сторону — существа, похожие на людей, но без речи. Они пользуются инструментами (ими пользуются и современные шимпанзе), но у них нет того, что можно было бы назвать языком общения. По другую сторону границы — люди.

— Верно, — сказал я.

— Но он не станет разглядывать глиняные таблички.

— Даже не посмотрит в их сторону.

— Прекрасно, потому что мне жалко тратить даже минуту на обсуждение погребальных обрядов верхнего палеолита. К возникновению религий они имеют такое же отношение, как глиняные таблички к возникновению речи.

— Понимаю.

Бриколаж

— Нам с лингвистом придётся заняться «бриколажем» — работать с тем, что есть под рукой. (Слово происходит от французского глагола *bricoler* — собирать, строить что-то из подручных материалов, независимо от их основного пред-

назначения.) Мы отправимся с ним в окрестности той таинственной границы, где по одну сторону — «почти люди», а по другую — «уже люди».

— И вы считаете, что человек непременно религиозен, как лингвисты считают, что человек непременно обладает речью?

— Бриколаж подразумевает, что я не пользуюсь настолько чётко определёнными категориями, Джаред. Я действую наугад. Я хочу узнать, есть ли аспект мышления, который был бы религиозным в самой своей сути. Я говорю себе, что, быть может, мысль подобна музыкальному звуку, который в природе никогда не чист абсолютно, а всегда состоит из многих гармонических элементов — обертонов и унтертонов. И я говорю себе, что, быть может, когда ментальный процесс стал человеческим мышлением, он начал резонировать с гармонической составляющей, созвучной тому, что мы называем религией или, в более глубоком смысле, осознанием духовного. Иными словами, я хочу выяснить, является ли осознание духовного самостоятельной концепцией или лишь обертоном человеческой мысли. Предположение такого рода может привести к *scientia* — знанию, но, поскольку оно не поддаётся опровержению, оно не может привести к *science* — научному знанию в современном его понимании. Бриколаж, конечно же, не научный метод, Джаред, но и он способен дать изумительные результаты, полные смысла и стимулирующие мысль, поразительные в своей истинности, весомости, логичности и неоспоримости.

— Понимаю.

Мне казалось, что все эти отвлечённые рассуждениям нужны ей, чтобы настроиться на главную тему. Я не знал, что это за тема и как я могу помочь, поэтому продолжал лишь кивать и повторять: «Понимаю, понимаю».

Наконец, она подняла глаза к кронам деревьев над нашими головами и сказала:

— Луна взошла.

Как будто это был для неё сигнал, она встала и повела меня в гущу зарослей. В течение следующих нескольких минут она то и дело останавливалась, оглядывалась по сторонам, ища неизвестно что, затем шла дальше. Тот тут, то там она нагибалась и подбирала что-то в траве. В конце концов мы дошли до опушки, которая ей понравилась, и сели на землю.

Она показала мне то, что собрала по дороге, — гвоздь, трубчатый предохранитель, кассету из-под 35-миллиметровой фотоплёнки, скрепку, пластмассовую расчёску и жёлудь. По её просьбе я вынул всё из карманов, и она выбрала для своей коллекции ключ и шариковую ручку.

— Вот что Вселенная предоставила мне сегодня, Джаред. Посмотрим, что я смогу из этого сделать.

Я вдруг вспомнил про окаменелую раковину, лежавшую у меня в кармане куртки. Пока Б с явным удивлением вертела раковину в руках, я объяснил, что Чарлз просил меня сохранить её до тех пор, пока мы не доберёмся до темы, где она пригодится (но мы так и не добрались).

— Это будет центральным элементом нашего бриколажа, — сказала она, положив раковину на землю между нами. — У Чарлза были свои планы насчёт неё — я догадываюсь какие, и мы скоро доберёмся до этого, — а пока она послужит нам элементом, к которому мы прицепим всё остальное в нашей модели. Это будет модель сообщества жизни на этой планете.

— Хорошо.

— Несколько минут назад я сказала, что, быть может, когда ментальный процесс стал человеческим мышлением, он вступил в резонанс с гармонической составляющей, созвучной тому, что мы называем религией или осознанием духовного.

— Да.

— Эта раковина будет символизировать сообщество жизни. Если вы умеете правильно слушать, вы услышите, как эта раковина издаст тот звук. Вы можете это представить?

— Попробую.

Анимизм

— Когда-то на этой планете существовала всемирная религия, Джаред, — сказала Б. — Вы знали об этом?

Я ответил, что нет.

— Эта новость почти всегда поражает слушателей. Некоторые думают, что я имею в виду язычество или викканство, но я не имею в виду ничего подобного. Во-первых, язычество не так уж старо. Это целиком и полностью религия фермеров, а значит, ей не больше нескольких тысяч лет. И язычество, конечно же, никогда не было всемирной религией по той простой причине, что фермерство никогда не было всемирным занятием. Крайне редко — на самом деле почти никогда — кому-нибудь из аудитории оказывается знакомым название религии, о которой я говорю. А говорю я об *анимизме*. Почти никто о нём никогда не слышал.

— Могу поверить, — сказал я.

— Вам что-то известно об анимизме?

— Лучше, думаю, исходить из того, что нет. Для людей моего положения, с моей подготовкой, анимизм — это то же, что алхимия для современных химиков.

—Вы хотите сказать, что анимизм для вас — это примитивный и несерьёзный предшественник настоящей религии, как алхимия — примитивный и несерьёзный предшественник химии? Вообще не религия в истинном смысле слова, как алхимия — это неполноценная химия.

— Верно.

Она покопалась в своей коллекции и взяла оттуда кассету от фотоплёнки.

— Это анимизм, — сказала она, указывая мне на кассету. — Для вас там внутри пустота.

Покопавшись у себя в сумочке, она достала оттуда походный набор для починки одежды, а из него — нитку, достаточно длинную, чтобы связать вместе кассету и раковину.

— Возьмите и держите вот так, — сказала она, и я взял

у неё кассету с раковиной. — А теперь расскажите мне об этой раковине.

— В каком смысле?

— Что это такое?

— О, — сказал я, — это сообщество жизни на этой планете.

— А что я вам только что сказала о нём?

— Вы сказали, что, когда ментальный процесс стал человеческим мышлением, сообщество, возможно, стало резонировать с одной из гармонических составляющих, созвучной тому, что мы называем религией или осознанием духовного. Если я умею правильно слушать, то услышу тот звук.

— Очень хорошо. Но я, кажется, загадала здесь загадку. Я сказала, что, когда ментальный процесс — свойственный, кстати, всем представителям животного мира — стал человеческим мышлением, *оно* зазвучало в резонанс с гармонической составляющей, которую я назвала осознанием духовного. А теперь я говорю, что это *сообщество жизни* так зазвучало. Так что же зазвучало, человеческое мышление или сообщество жизни?

— Когда человеческое мышление зазвучало в резонанс с той гармонической составляющей, я думаю, так же зазвучало и сообщество жизни.

— Да, это я и имела в виду. Когда эта раковина начнёт резонировать с той гармонической составляющей, эта пустая кассета, которую я назвала анимизмом, начнёт резонировать тоже, потому что соприкасается с раковиной.

— Хорошо, — сказал я. — Вот это вы и называете бриколажем?

— Это я и называю бриколажем.

Сколько на самом деле богов

— На лекциях и в беседах кто-нибудь обязательно спрашивает меня, почему я говорю о богах, а не об одном Боге, как если бы я не знала, что Бог один. Тогда я прошу этого

человека сказать мне, откуда он знает, сколько на самом деле богов. В одних случаях мне отвечают, что это «все знают», как все знают, что в сутках двадцать четыре часа. В других случаях говорят, что Бог *должен* быть один, поскольку это число наиболее «логично» для Бога. С таким же успехом можно утверждать, что Земля является центром Вселенной, поскольку любое другое место было бы для неё менее «логичным». Чаще всего, конечно, мне отвечают, что Бог вне всяких сомнений может быть только один, поскольку так сказано в монотеистических священных писаниях. Само собой разумеется, что у меня на этот счёт другое мнение.

Во Вселенной нет ничего, что указывало бы на число богов, Джаред, поэтому нет никакой реальной возможности определить, равно ли их число нулю (как считают атеисты), или единице (как считают монотеисты), или их много (как считают политеисты). Для меня этот вопрос не имеет никакого значения. Мне всё равно, сколько на самом деле богов — ноль, один или девять миллиардов. Если бы оказалось, что богов вообще нет, это не изменило бы ни единого слова в том, что я говорю.

Мне показалось, что она ждёт от меня какой-нибудь реакции, поэтому я кивнул в знак согласия.

— В том, чтобы говорить о богах вместо Бога, есть одно важное преимущество: мне не приходится постоянно следить за тем, чтобы не угодить в гендерную ловушку. Контекст ведь может оказаться таким, где важно: Бог — это *он* или *она?* Я говорю «*они*» — и это решает все проблемы.

— Немаловажное преимущество, — заметил я.

Она взяла пластмассовую расчёску и провела ногтем по зубчикам.

— Это одно или много?

— Вы про расчёску? Не знаю. Смотря с какой стороны на неё смотреть.

— Эта расчёска показывает число богов, Джаред. Она не

нужна нам для нашего бриколажа. Мы на неё посмотрели и можем выбросить.

И она бросила расчёску через плечо в траву.

Где боги пишут то, что пишут

— Бог откровенческих религий — под ними я понимаю религии вроде вашей, то есть религии Берущих, — это совершенно невразумительный Бог. Сколько он ни старается, никто его не понимает однозначно и полностью. Который уже век он обращается к евреям — они никак его не поймут. Наконец, он присылает своего единственного сына — у сына тоже получается не лучше. Иисусу бы сесть рядом с писцом и надиктовать ему ответы на все возможные теологические вопросы самым что ни на есть ясным образом, но нет, он предпочёл оставить будущим поколениям разбираться в том, что имел в виду, — посредством погромов, чисток, гонений, войн, сжигания на кострах и вздёргивания на дыбу. Потерпев неудачу с Иисусом, Бог затем предпринял попытку объясниться с людьми через Мухаммеда, но тоже без большого успеха. После тысячи лет молчания он попробовал ещё раз, через Джозефа Смита, но опять потерпел фиаско. В итоге единственное, что он сказал нам *определённо,* это что мы должны поступать с другими так, как хотели бы, чтобы другие поступали с нами. Всего дюжина слов! Не очень-то много за пять тысяч лет работы. За столько лет мы бы и сами до этого додумались. Честно говоря, мне было бы стыдно ассоциировать себя с таким некомпетентным богом.

— У ваших богов получилось лучше?

— Силы небесные, Джаред, конечно! Несравненно лучше, неизмеримо лучше! Вы только посмотрите вокруг!

Она провела рукой в воздухе, показывая окружавший нас мир.

— Что вы видите?

— Я вижу Вселенную.

— Именно, Джаред. Вот где *истинные* боги Вселенной пишут то, что они пишут. Ваш Бог пишет словами. Боги, о которых я говорю, пишут галактиками, солнечными системами, планетами, океанами, лесами, китами, птицами, мошками.

— И что же они пишут?

— Они пишут физику, химию, биологию, астрономию, аэродинамику, метеорологию, геологию и много всего прочего. Но вас ведь не это интересует?

— Не это.

— А что?

— Меня интересует, что боги пишут *о нас.*

Б взяла мою авторучку и повернула её вертикально.

— Вот что вас интересует. Это — Закон Жизни.

Она взяла окаменелую раковину и просунула ручку под нитку, которой раковина была связана с кассетой из-под фотоплёнки.

— Что это? — спросила она, указывая пальцем на раковину.

— Сообщество жизни на этой планете.

— А это? — она указала на кассету.

— Анимизм.

— И вы видите, что Закон Жизни находится между ними, соприкасаясь и с сообществом жизни, и с анимизмом.

— Что такое Закон Жизни?

— Мы скоро дойдём до него. Это наш главный предмет сегодня.

Наука и религия

— Религии вроде вашей, откровенческие религии, все до единой противоречат научным знаниям — противоречат или во всяком случае не согласуются с ними. Мне интересно, понимаете ли вы почему.

— Я думаю, что религия и наука несовместимы по сути.

Б кивнула.

— Обычная схема Берущих: «Человечество — это мы,

поэтому, если наши религии несовместимы с наукой, то вообще никакие религии не совместимы с наукой».

— Верно.

— А вот анимизм, как вы увидите, прекрасно согласуется с наукой. Он намного лучше согласуется с вашей наукой, чем с вашими религиями.

— Как это?

— Что вы здесь видите? — спросила она, снова проведя рукой в воздухе.

— Это мир, Вселенная.

— И это то, где настоящие боги Вселенной пишут то, что они пишут, Джаред. А боги ваших откровенческих религий пишут в книгах.

— Какое отношение это имеет к анимизму?

— Анимизм ищет истину во Вселенной, а не в книгах, не в откровениях и не в наставлениях мудрецов. То же самое и с наукой. Хотя анимизм и наука читают Вселенную разными способами, они сходятся в полном доверии к истинности прочитанного.

Покопавшись в своих строительных блоках, она нашла трубчатый предохранитель и показала его мне.

— Это наука, — сказала она. — Религии вроде вашей, Джаред, скептически относятся к ней и боятся пользоваться ей. Они говорят: «Допустим, мы воспользуемся ей, а она возьмёт и всё нам испортит! Лучше не доверять ей совсем». А анимизму никакие научные новости о Вселенной ничуть не мешают, поэтому в нашем бриколаже мы можем спокойно поместить науку и анимизм вплотную друг к другу.

Она просунула предохранитель под нитку, связывающую кассету с раковиной, затем попросила меня описать, что получилось в результате.

— Анимизм, — сказал я, — одной стороной соприкасается с Законом Жизни, а другой — с наукой. Все три связаны с сообществом жизни.

Граница

— Теперь я хочу убедиться, что мы не потеряли след того, зачем мы сюда пришли, Джаред. Мы исследуем границу между «почти людьми» с одной стороны и «уже людьми» с другой. Мы делаем это потому, что в моём представлении человека делает человеком религия.

— Хорошо.

— Давайте дополним наш бриколаж воображаемой частичкой окружающей нас обстановки. Возьмите ветку и начертите круг вокруг нас радиусом в пару шагов.

Я сделал как она просила и вернулся на место.

— Круг представляет собой границу, которую мы исследуем. Это далёкое прошлое, около трёх миллионов лет назад, когда *Australopithecus* стал *Homo*. Это понятно?

Я сказал, что да.

— Как вы понимаете, это воображаемая черта. В нашем прошлом не было такого дня, когда можно было бы указать на конкретное поколение родителей и сказать: «Это — австралопитеки», затем указать на их детей и сказать: «А это — люди».

— Понимаю.

— Мы не знаем, какова толщина этой черты. Это могло быть двести лет, или тысяча лет, или десять тысяч лет. Мы знаем лишь, что по нашу сторону черты находятся существа, которых мы с уверенностью называем *Homo,* а с наружной стороны — существа, которых мы не можем с уверенностью назвать *Homo.*

— Понимаю.

— Я не знаю, насколько глубоки ваши знания обо всём этом, поэтому буду осторожна и скажу лишь, что эта черта не имеет отношения к использованию инструментов. То есть, она не означает, что с внутренней стороны у нас те, кто пользуется инструментами, а с наружной — кто не пользуется. Инструментами пользуются по обе стороны черты.

Мы можем быть практически уверены в этом, поскольку хорошо известно, что даже шимпанзе умеют пользоваться инструментами, а непосредственные предшественники *Homo* значительно превосходили шимпанзе.

Я сказал, что всё это мне известно, но что я не имею ничего против «осторожного» подхода.

Закон Жизни: голограмма

Б попросила меня описать, в каком состоянии сейчас наш бриколаж. Я взял его в руки и осмотрел ещё раз.

— Эта окаменелая раковина — сообщество жизни на нашей планете. Религия, которую вы называете анимизмом, тесно связана с этим сообществом. Нечто называемое Законом Жизни вписано в сообщество жизни и тоже связано с анимизмом. Возможно, задача анимизма — считывать Закон Жизни, вписанный в сообщество жизни.

— Блестящая догадка, Джаред. Продолжайте.

— Анимизм представляется действующим в союзе с наукой, поскольку оба ищут истину в самой Вселенной.

— Очень хорошо. Теперь мы готовы уделить некоторое время Закону Жизни. Закон Жизни подобен голограмме. Вы что-нибудь знаете о голографии?

— Немного. В школе я был заядлым фотографом, а голография — это практически фотография, только без объектива. В обычной фотографии свет, отражаемый объектом, падает на светочувствительную пластину, и там, благодаря вмешательству объектива, появляется изображение. В голографии свет, отражаемый объектом, падает на светочувствительную пластину, но изображение не появляется, поскольку нет объектива. Пластина фиксирует лишь следы световых волн, исходящих от каждой частички фотографируемого объекта. Это и есть голограмма. Когда на неё направляют луч света, в пространстве, где стоял оригинальный объект, появляется его трёхмерное изображение. И, поскольку каждая частичка

объекта отображена на пластине световыми волнами, исходившими от объекта в целом, любой фрагмент голограммы содержит изображение всего объекта.

— Вот в этом Закон Жизни и подобен голограмме, Джаред: в каждом его фрагменте запечатлён закон целиком.

— Закон Жизни — это то, что управляет жизнью?

— Нет, Закон Жизни не *управляет* жизнью, он *поддерживает* жизнь. А всё, что поддерживает жизнь, автоматически является законным.

Я сказал, что пример был бы здесь очень кстати.

— Вот Закон Жизни для только что вылупившихся утят: «Увязывайся за первым же движущимся объектом, какой увидишь, и следуй за ним несмотря ни на что». Поскольку первым движущимся объектом, который видят утята, обычно бывает их мать, за ней они и увязываются, хотя могут увязаться и за любым другим движущимся объектом. Поскольку следование за матерью даёт утятам наибольшие шансы на выживание, вы понимаете, почему для них это закон жизни.

— Понимаю.

— Вкратце действие Закона Жизни можно обобщить следующим образом: те, кто ему следует, с большей вероятностью внесут свой вклад в генетический фонд их вида, чем те, кто ему не следует.

— Значит, закону следуют не все?

— Утёнок, который по той или иной причине не подчинится генетическому зову следовать за матерью, будет отсеян самой природой. Он не проживёт достаточно долго, чтобы оставить потомство.

— Ясно.

— Закон, разумеется, формулируется для разных видов по-разному. У уток закон сформулирован для утят: «Во что бы то ни стало следуй за матерью». У коз закон сформулирован для матери: «Выкармливай только своих».

Я ненадолго задумался над тем, каким образом выкармли-

вание только своих детёнышей может поддерживать жизнь коз. Не дожидаясь вопроса, Б объяснила:

— Вот есть, например, белая коза и чёрная коза, и у каждой по одному козлёнку. Чёрная коза умирает, и её козлёнок приходит к белой козе и говорит: «Эй, я хочу есть, накорми меня». Наилучшие шансы на выживание у белого козлёнка будут в том случае, если его мать скажет чёрному козлёнку: «Исчезни, малыш, ты мне чужой». Если она скажет: «Валяй, присоединяйся к моему», она тем самым уменьшит шансы своего собственного козлёнка на выживание, а это значит, что и у её генов уменьшатся шансы на выживание.

— Да, понимаю.

— В законе для коз есть и более общее положение: «Если ты не уверена, что твоих ресурсов хватит на двух козлят, то лучше отдай их все одному, чем обоим по половине».

— Это не закон доброты.

— Я бы сказала, что это не закон *мнимой* доброты. Я думаю, любая мать предпочтёт одного живого ребёнка нескольким мёртвым. Как бы то ни было, если приходится делать выбор такого рода, закон ставит жизнь выше доброты. Кто вопреки закону поставит доброту выше жизни, тот рискует исключить свои гены из генетического фонда своего биологического вида. Их отпрыски будут слабее, и, если и дадут в свою очередь потомство, то и оно будет слабее и менее жизнеспособно, чем у тех, кто по закону ставит жизнь превыше всего.

— Понимаю.

— К вопросу о доброте. Не знаю, слышали ли вы о Дэвиде Брауэре. Это один из самых выдающихся экологов нашего века, основатель института Джона Мюира, организации «Друзья Земли», института «Остров Земля». Он рассказывает такую историю об одном из своих ранних опытов в качестве натуралиста. В возрасте одиннадцати лет он собрал несколько яиц бабочки, относящейся к виду парусников, и наблюдал за тем, как из яиц вылупились гусеницы и как

они затем превратились в куколок. В конце концов первая куколка начала открываться, и Брауэр увидел, как оттуда, прилагая отчаянные усилия, начала выбираться бабочка. Из её вздутого живота выделялась какая-то жидкость, стекавшая по её крыльям в то время как она висела вниз головой на ветке. Через полчаса бабочка обсохла и улетела. Когда начали трескаться и другие коконы, Брауэр решил помочь бабочкам. Он бережно раздвинул трещины в коконах, чтобы бабочкам было легче выбраться. Бабочки выскользнули из коконов, поползали некоторое время, а затем одна за другой упали и умерли. Он не понимал тогда, что усилия, от которых он их избавил, были необходимы им для выживания, потому что в результате этих усилий жидкость вытекала на крылья. Этот эксперимент был для него таким уроком, что он и семьдесят лет спустя рассказывает о нём. Что выглядит добротой и делается из добрых намерений, может обернуться противоположностью доброте.

— Понимаю.

— У коз соблюдение закона обеспечивает коза: «Если ты не уверена, что твоих ресурсов хватит на двух козлят, то лучше отдай их все одному, чем обоим по половине». У орлов (и многих других видов птиц) соблюдение закона обеспечивает старший из отпрысков. Самка орла обычно производит на свет два яйца с перерывом в несколько дней, что, естественно, надёжнее с точки зрения продолжения рода, чем только одно яйцо. Но если первый цыплёнок выживает, он практически неизменно заклёвывает второго насмерть.

— Я однажды высказал предположение, что детоубийство можно рассматривать как реакцию на перенаселение.

— Да, одно время это было распространённым объяснением, отражающим взгляд на эволюцию, который при тщательном рассмотрении оказывается совершенно несостоятельным, — что якобы эволюция поддерживает то, что «хорошо для вида». Теперь представляется ясным, что эво-

люция поддерживает то, что хорошо для индивидуума, то есть, что обеспечивает индивидуальный репродуктивный успех. Выше я назвала это «вкладом в генетический фонд».

— Понимаю.

— У львов и медведей самки зачастую бросают единственного выжившего детёныша, даже если он совершенно здоров. Это ни в коей мене не «хорошо для вида», но это хорошо с точки зрения индивидуального репродуктивного успеха. Вклад самки в генетический фонд несомненно будет значительнее, если она приложит все силы к тому, чтобы выкормить и вырастить больше, чем одного детёныша.

— Должен признаться, что ничего об этом не знал.

— Никто не знает всё, — пожав плечами, сказала Б.

— К чему нас это ведёт? Я немного запутался.

— Я не могу объяснить вам весь Закон Жизни за одну ночь, Джаред. Я не смогла бы объяснить его весь, даже если бы мы приходили сюда каждую ночь в течение десяти лет. За одну ночь я могу объяснить вам лишь несколько его фрагментов, методом бриколажа. Давайте теперь посмотрим в другом направлении.

Закон Жизни: мышиные похороны

Она поднялась, и я хотел было последовать её примеру, но она попросила меня остаться сидеть.

— Посмотрим, повезёт ли мне сегодня, — сказала она и нырнула в подлесок напротив нас, как охотница, идущая по следу.

Я закрыл глаза, довольный возникшей паузой. Вернувшись минут через десять-пятнадцать откуда-то справа, она поманила меня, и я последовал за ней, опасливо глядя под ноги. Не знаю, это чисто мужское или у всех людей так, но я не люблю, когда меня ставят в положение школьника, не знающего урок, а в тот момент я почувствовал себя именно так. Шагов через десять Б остановилась и, наклонившись,

указала на клочок оголённой земли размером с шахматную доску, который я описал бы одним словом: грязь.

Нетерпеливо тряхнув головой, она подняла с земли ветку и стала указывать ей то в одну, то в другую, то в третью точку. При всём старании я не сумел разглядеть ничего, кроме пучков сухой травы, сломанных веток, кусков коры, прошлогодних листьев и всё той же грязи.

— Зря стараетесь, — сказал я. — Я же не Натти Бампо и никогда им не стану.

Она не спорила. Вместо этого она своей веткой приподняла нижнюю ветку росшего рядом куста и предложила мне заглянуть под него. Я увидел что-то похожее на дохлую мышь, частично присыпанную землёй. Так загорающие на пляже порой присыпают себя песком. Виднелась только голова мыши, покоившаяся на холмике грязи. Едва различая её в почти полной темноте, я заметил, что комочки грязи вокруг её головы зашевелились и мышь со всей очевидностью на миллиметр углубилась под землю, словно что-то затягивало её туда.

— Через час или около того, — сказала Б, — мышь окажется целиком под землёй и исчезнет из виду. Это работа жуков-могильщиков, которые сейчас выгребают из-под неё землю.

Она опустила ветку, и я спросил, в чём смысл того, что она только что показала мне. Снова пользуясь веткой как указкой, она показала мне едва различимые следы.

— Жуки — а я почти уверена, что их всего двое, — нашли мышиный труп здесь, но не сочли это место достаточно подходящим для захоронения и перетащили его в более укромное место под кустом.

— Два жука *перетащили* мышь?

— Они забираются под труп, переворачиваются там на спину и, перебирая лапками, толкают его в нужном им направлении. Это очень трудоёмкий процесс. Закопав труп,

они уплотняют землю вокруг него, и в образовавшемся пространстве самка откладывает яйца. Когда из яиц появятся личинки, они получат свободный доступ к источнику питания в виде достаточно разложившегося к тому времени трупа.

— Ням-ням, — сказал я.

— О, эта мышь идёт нарасхват, Джаред. За неё борются другие насекомые, микробы, разные позвоночные, питающиеся падалью. Особенно докучают мухи, потому что они умудряются отложить свои яйца в мышиной шерсти ещё до прихода жуков. К счастью — но ничего удивительного, — жуки приносят на себе чистильщиков — клещей, которые живут у жуков на спине и питаются яйцами мух. Мышь, жуки, клещи и мухи — это в данном случае красноречивое коллективное воплощение Закона Жизни в действии.

Я обдумывал эту последнюю фразу, пока мы шли обратно к опушке.

— Боюсь, что мне не вполне ясно, каким образом эти существа воплощают закон, — сказал я.

— Закон Жизни можно выразить одним словом: *изобилие.*

Поскольку к этому она ничего не добавила, я попросил её объяснить поподробнее.

— Полезным упражнением для вас было бы вернуться к трупу мыши и принести одного из жуков. Тогда я предложила бы вам снять с него пару дюжин клещей и изучить их под микроскопом.

— И что полезного я узнал бы тогда?

— Вы узнали бы, что каждый клещ, каким бы малозначительным существом он ни был, это образец такой изысканности, такого совершенства и такой сложности, что компьютер рядом с ним показался бы вам плоскогубцами. Вы узнали бы и нечто гораздо более поразительное — что при всём их совершенстве они не изготовлены по единой матрице. Вы не найдёте среди них ни одной пары одинаковых — ни одной пары во всей бескрайней Вселенной, Джаред!

— И это было бы демонстрацией *изобилия?*

— Конечно. В этом фантастическом генетическом изобилии и кроется весь секрет успеха жизни на этой планете.

Мы продолжали шагать. Через несколько минут я заметил, что наша опушка осталась далеко позади, и вскоре мы вышли к публичным дорожкам, посыпанным гравием.

— Сегодня я успела намного меньше, чем собиралась, Джаред, — сказала Б. — Я не показала вам и десятой части того, что надеялась показать. Завтра получится лучше.

ГЛАВА 17

Пятница, 24 мая (десять вечера)

Плохой день

Гостиничная столовая открылась, как раз когда я закончил предыдущую запись, поэтому я спустился позавтракать, затем вернулся в номер и проспал часов до четырёх. В театре все пребывали в унынии, поскольку не удалось опубликовать объявление о лекции Б в сегодняшней газете. Оно появится завтра, и все понимают, что в этом случае народу придёт даже меньше, чем обычно.

На Б было страшно смотреть. Она была бледной, как вафля, взвинченной, на лице проступили морщины, словно она за одну ночь постарела на десять лет. Жизнь как будто покинула её волосы и глаза, и мне показалось, что её левая рука слегка вздрагивает.

До сих пор я не очень верил в серьёзность её болезни. Теперь я подумал, что ей бы место в больничной койке, или в любой другой постели, но чтобы с сиделкой, которая приносила бы ей чай с мёдом, поддерживала в печке уютный огонь и читала вслух «Ветер в ивах».

Около пяти часов она предложила мне прогуляться, и я спросил куда. Когда она сказала, что в парк, я спросил, не слишком ли это утомительно для неё. Она испепелила меня взглядом и начала было отвечать что-то резкое, но замолчала на полуслове, поняв, что я этого не заслуживаю.

— У меня бывают хорошие дни, а бывают плохие, — ска-

зала она, как будто оправдываясь. — До сих пор вы видели только хорошие.

В качестве компромиссного решения мы доехали до парка на «Мерседесе». По дороге Б спросила, теолог ли я.

— Я? Ни в коей мере.

— Жаль, — сказала она, не объяснив почему. — Я знаю, что Чарлз уже говорил об этом, но хочу сказать это снова. Когда св. Павел принёс христианство в римский мир, фундамент для понимания его идей был уже там заложен. Идея богов как «высших существ». Идея индивидуального спасения. Идея загробной жизни. Идея, что боги присутствуют в нашей жизни, что к ним можно обратиться за помощью, что они довольны или недовольны нашими поступками, что они могут вознаграждать и наказывать. Понятия жертвы и искупления. Все эти вещи Павлу не пришлось объяснять с нуля.

Я начал догадываться, к чему она это говорит.

— Тогда как работая с кем-то вроде меня, — сказал я, — вам приходится отметать в сторону заложенные во мне фундаментальные идеи и заменять их новыми, о которых я никогда не слышал.

— Да. Когда христиане начали посылать миссионеров к «диким» народам, они столкнулись с такой же трудностью, как я в случае с вами. Аборигены никак не могли понять, о чём миссионеры им говорят.

— Верно.

— Чарлз и я — первые миссионеры анимизма, прибывшие в *ваш* мир, мир душеспасительных и откровенческих религий — христианства, ислама, иудаизма, буддизма, индуизма. У нас нет программы действий. Нет прецедента, нет катехизиса, нет учебного плана. Вот почему у нас… сплошная импровизация. Мы пытаемся *выработать* программу. Мы пытаемся нащупать методику, которая будет работать.

— Это, вероятно, довольно глупый вопрос, но — *зачем?* Зачем вы это делаете?

Около минуты Б ехала молча, затем сказала:

— Вы помните, что сказал Б: представления — это текущая река?

— Да.

— Религии, которые я только что назвала, — откровенческие религии — фундаментально обручены с нашими культурными представлениями, и я не случайно использую это слово — *обручены*. Эти религии — как гарем самодовольных жён при алчном, неотёсанном и сластолюбивом муже. Они вечно пытаются воспитывать его, вечно надеются пробудить в нём тягу к «возвышенному», вечно отчитывают его и грозят ему пальцем. Но муж и гарем на самом деле неразлучимы. Откровенческие религии выполняют функцию нашей «дражайшей половины». Они — высшее выражение наших культурных представлений.

— Могу только согласиться с вами.

— Но вот что Чарлз сказал дальше: «В настоящее время в нашей культуре *река течёт по направлению к катастрофе*». С этим вы тоже согласны?

— Да.

— Тогда сложите эти утверждения вместе, Джаред. Представления — это текущая река. Откровенческие религии в нашей культуре — это высшее выражение наших представлений, а река течёт по направлению к катастрофе.

Мой мозг отказывался осмыслить это. Не дождавшись ответа, Ширин искоса взглянула на меня и сказала:

— Вы спросили, зачем мы это делаем. Чарлз объяснил это позапрошлой ночью: *наша цель — изменить направление течения, чтобы оно не несло нас к катастрофе*. Ничто другое не поможет, Джаред. Абсолютно ничто.

Я поёжился.

— Теперь я, кажется, понимаю, почему толпа называет Б Антихристом.

Она улыбнулась и тряхнула головой.

— Вы знаете, кто такой Баал-Шем-Тов?

— В общих чертах. Это был хасидский святой, в некотором роде еврейский Франциск Ассизский, но жил веков на пять позже.

— Примерно так. Знаете, как переводится его имя?

— Нет.

— «Баал-Шем» переводится как «хозяин имён», иными словами — маг. «Баал-Шем-Тов» переводится как «хозяин доброго имени» и означает «великий маг, знающий тайное имя Бога».

— Понимаю.

— В те времена жил один купец, который боялся ездить в соседний город, поскольку дорога туда проходила через лес, где, как было известно, хозяйничали разбойники. Жена посоветовала купцу обратиться за помощью к Баал-Шем-Тову, но купец обругал её, поскольку не верил рассказам об этом самозваном кудеснике. Жена продолжала настаивать: «Поверь мне. Пойди к дому Баал-Шем-Това и дай привратнику немного денег, чтобы он предупредил тебя, когда его хозяин в следующий раз соберётся ехать через лес, и ты сможешь поехать с ним. Если ты поедешь с Баал-Шем-Товом, никакой беды с тобой не случится». Купец неохотно, но всё же последовал её совету, и вскоре ему представился случай поехать в город вместе с Баал-Шем-Товом.

Когда они достигли самой дремучей и самой опасной части леса, Баал-Шем-Тов решил сделать привал и дать лошадям отдохнуть. Купец пришёл в ужас, а Баал-Шем-Тов спокойно сидел и читал Зоар. Вскоре ветви деревьев по краям дороги раздвинулись и из леса вышли разбойники с кинжалами наготове. Но когда до повозок им оставалось шага два-три, их вдруг охватила сильная дрожь. Они не знали, что с этим делать, и, будучи не в состоянии ни на кого нападать, вернулись обратно в лес. Несколько минут спустя они пришли в себя и предприняли вторую попытку, столь же неудачную:

за несколько шагов до повозок они забились в судорогах и вынуждены были отступить. Купец, забившись в угол повозки, с изумлением наблюдал за всем этим.

Когда Баал-Шем-Тов наконец оторвался от своей книги и приказал ехать дальше, купец бросился к его ногам и поцеловал ему руку. «Теперь я понимаю, — сказал он. — Теперь я понимаю, почему люди зовут тебя Баал-Шем-Тов!»

Баал-Шем-Тов сурово взглянул на него и сказал: «Ты и вправду думаешь, что понимаешь? Поверь мне, друг мой, ты только *начинаешь* понимать!»

Две системы представлений

Стоило нам войти в парк, и усталость с Б как рукой сняло. Она шла впереди, а я следовал за ней, как супруг за супругой в торговом центре. У меня не было ни малейшей идеи, что она ищет, но она определённо что-то искала. Когда, наконец, мы остановились, оказалось, что это та самая прогалина, где мы сидели прошлой ночью, размером не больше обеденного стола. Мы сели на траву лицом к прогалине.

— У нас здесь много дел, Джаред, — сказала она. — Нам предстоит большое путешествие, и я сама не уверена, достаточно ли хорошо я знаю дорогу. Но я приложу все усилия.

Мне хотелось как-то подбодрить её, но я решил промолчать. Покопавшись в сумочке, она достала наш вчерашний бриколаж. Пришлось немного привести его в порядок, поскольку ручка и предохранитель сползли и перестали соприкасаться с кассетой. Закончив, она передала бриколаж мне и спросила, помню ли я, что в нём что.

— Раковина символизирует сообщество жизни, — сказал я. — Анимизм связан с этим сообществом и резонирует с ним. Закон Жизни, представленный авторучкой, вписан в сообщество жизни. Анимизм руководствуется этим законом, как и наука, но на свой лад.

— Отлично. Я назвала анимизм религией, но есть все

основания полагать, что анимизм как религия — это выдумка Берущих, интеллектуальная концепция.

— Почему?

— Я говорила вам, что анимизм был когда-то всеобщей религией на этой планете. Он остаётся всеобщей религией Оставляющих — народов, которые вы называете «примитивными», живущими в «каменном веке», и так далее. Но если вы придёте к этим людям и спросите, являются ли они анимистами, они не поймут, о чём вы говорите. Более того, если вы выскажете предположение, что у них и у их соседей одна и та же религия, они скорее всего решат, что вы сошли с ума. Потому что, как все соседи в мире, они обращают больше внимания на различия, чем на сходства. То же самое и с вашими откровенческими религиями. Для вас христианство, иудаизм, ислам, буддизм и индуизм — это разные религии, а для меня они одинаковые. Многие из вас скажут даже, что буддизма вообще не должно быть в этом списке, поскольку он не связывает спасение с поклонением божеству, но для меня это демагогия. Христианство, иудаизм, ислам, буддизм и индуизм представляют людей одинаково порочными, дефективными и нуждающимися в спасении и безоговорочно полагаются на «божественные откровения», указывающие, как именно можно достичь спасения — путём ухода из этой жизни или вознесения над ней.

— Да.

— Различия между религиями доводят их приверженцев до исступления — до поножовщины, войн, джихада и геноцида, но для меня, как я уже сказала, все они выглядят одинаково. То же самое и у Оставляющих. Они видят различия, а я — сходства, и то, что мне представляется их общей религией, это не столько религия (в том смысле, в каком понимают религию христиане, евреи, мусульмане, буддисты и индуисты), сколько религиозное представление о мире. Анимизма как религии на самом деле не существует.

Анимизм как религия — это выдуманная концепция. Всё, что есть, это универсальное видение мира. И вот это я и пытаюсь вам показать.

— Понимаю. Кажется, понимаю.

— Всё время держите в уме нашу главную тему, Джаред. Наша с вами главная тема — это представления. Представления толкают нас к катастрофе. Представления, присущие одной-единственной культуре, нашей культуре, сформированные и поддерживаемые откровенческими религиями нашей культуры в течение последних трёх тысяч лет. Я пытаюсь показать вам другие представления, благотворные для нас и благотворные для мира, которые были присущи сотням тысяч культур на протяжении сотен тысяч лет.

— Хорошо, — сказал я. — Но вы ведь не можете сказать, как долго существовали эти представления.

— Думаю, что могу, Джаред. Подумайте вот о чём: с каких пор люди живут по закону всемирного тяготения?

— По закону всемирного тяготения? С самого начала, конечно.

— Откуда вы это знаете?

— Я знаю это потому, что, если бы люди с самого начала не жили согласно закону всемирного тяготения, сегодня нас не было бы на свете.

— Но люди в далёком прошлом не обязательно *понимали* этот закон, не правда ли? То есть, они наверняка не могли сформулировать его так, как сформулировал бы физик.

— Нет.

— Но они всё равно знали, что такой закон есть. Сделай шаг со скалы — и ты упадёшь, обязательно. Урони камень — и он упадёт, обязательно.

— Да.

— А вот другой вопрос: с каких пор люди живут по Закону Жизни?

— Не знаю.

— Закон Жизни — это…

— Закон Жизни — это… всё, что поддерживает жизнь.

— Тогда попробуйте ещё раз: с каких пор люди живут по Закону Жизни?

— С самого начала.

— Почему? Откуда вы это знаете?

— Потому что, если бы они с самого начала не жили по закону, который поддерживает жизнь, их давно не было бы в живых.

— Очень хорошо. Но они не обязательно *понимали* этот закон, не правда ли? Они наверняка не могли сформулировать его так, как сформулировал бы биолог.

— Нет.

— При этом они знали о нём то же, что о законе тяготения, — что он *есть,* что он *действует*. Они знали, например, что о детях нужно заботиться до тех пор, пока они не смогут заботиться о себе сами. Они знали, что брошенный младенец умрёт, обязательно. Они знали, что лев защищает свою добычу, всегда. Они знали, что, чтобы поймать оленя, не обязательно бегать со скоростью оленя. Они знали, что к зверю, бегающему быстрее тебя, нужно подкрадываться с подветренной стороны. Примеры можно приводить всю ночь. Никакого времени не хватит, чтобы перечислить всё, что они могли знать, просто живя в сообществе жизни на протяжении тысяч поколений.

— Вы несомненно правы. Но пока я не вижу, как это связано с анимизмом.

— Что *есть* анимизм, Джаред?

— Я всё меньше и меньше понимаю, что он такое. Сейчас мне кажется, что это система представлений — мировоззрение, *Weltanschauung*.

— Да, но я, пожалуй, выберу *представления*. Итак, перед нами две системы представлений. Одна позволяла нам жить хорошо и в гармонии с планетой на протяжении миллионов

лет. Другая всего за десять тысяч лет привела нас на грань вымирания и сделала врагами всего живого на планете.

— Да.

— Так анимизм — это какая система представлений?

— Не знаю. Ума не приложу.

— Тогда скажите мне вот что: какая система представлений у нас с вами, Джаред? Система представлений Берущих, которая сделала нас властелинами мира и врагами жизни. Вы можете её сформулировать?

— Могу попытаться.

— Давайте.

— Мы — существа, ради которых был сотворён мир, поэтому мы можем делать с ним всё, что нам заблагорассудится. Это для начала.

— Хорошее начало. Согласно этому представлению, Бога мало интересует остальной мир.

— Да. Бог заботится о *человеке*. Человек для него главное. Он сотворил Вселенную ради человека.

— Итак, мир был сотворён для Человека. А Человек — что он должен был делать с миром?

— Править им. Мир был дан Человеку, чтобы он правил им.

— Но, как ни странно, мир оказался *не готов* к правлению человека, не правда ли? Человек был сотворён готовым к тому, чтобы править миром, а мир был сотворён не готовым к тому, чтобы человек правил им.

— Выходит, так. Я никогда не задумывался над этим противоречием.

— Что должен был сделать человек, чтобы подготовить мир к своему правлению?

— Он должен был подчинить его, покорить его.

— Да. И он всё ещё продолжает его покорять, не правда ли? Таким образом, представления Берущих сводятся к следующему: *Мир сотворён для Человека, а Человек — для того, чтобы покорить его и править им.*

— Да.

— Теперь, Джаред, давайте поищем, как представляют то же самое Оставляющие, или анимисты. Обещаю, что вам это станет ясно раньше, чем мы на сегодня закончим.

Стабильные и нестабильные стратегии

— Я хочу, чтобы вы поняли, что Закон Жизни никоим образом не был спущен сообществу жизни в виде божественного откровения. Бог или боги не устанавливали для своих творений «правила хорошего поведения», которые я обобщённо называю Законом Жизни. Всё происходило иначе. Формулировать этот закон было бы совершенно излишне, было бы нарушением принципа «бритвы Оккама». Вы понимаете, о чём я?

— Да. Вы говорите, что Закон Жизни нуждался в божественном вмешательстве не больше, чем в нём нуждались законы термодинамики.

— Верно. Биолог, вероятно, сказал бы, что Закон Жизни — это комплекс эволюционно стабильных стратегий. Можно даже сказать, универсальный комплекс таких стратегий. Вы знаете, что такое эволюционно стабильные стратегии?

— Мадам, — сказал я, — я классицист, а не биолог. В школе я читал Гомера по-гречески и Цицерона на латыни. Я могу прочитать вам целую лекцию о платоновых доказательствах бессмертия души, и сделаю это очень даже неплохо. Но я не имею ни малейшего представления о том, что такое эволюционно стабильные стратегии.

— Хорошо. Давайте разобьём это на части. Стратегия в данном контексте — это просто линия поведения. Например, вчера я рассказала о линии поведения кормящих коз: «Выкармливай только своих». Такая линия поведения эволюционно стабильна для коз потому, что любая альтернативная стратегия была бы хуже. Например, может случиться, что какие-то козы вообще откажутся кормить козлят, включая

своих собственных. Однако тем самым они неизбежно уменьшат свой вклад в генетический фонд вида, поэтому такая стратегия обречена на исчезновение. А какие-то козы могут, наоборот, начать кормить всех козлят без разбору. В этом случае их собственные козлята окажутся обделёнными, что опять-таки неизбежно уменьшит вклад этих коз в генетический фонд вида, поэтому такая стратегия тоже обречена на исчезновение. Единственная стратегия, которая останется, это «Выкармливай только своих». Вот почему эта стратегия эволюционно стабильна — нормальный эволюционный процесс, естественный отбор, не устраняет её.

— Понятно. Это Закон Жизни для коз не потому, что Бог решил, чтобы козы вели себя так, а потому, что из всех возможных стратегий лишь стратегия выкармливания только своих козлят обеспечивает наилучший вклад в генетический фонд. Очень элегантная концепция, надо сказать.

— Бывает, что и наука создаёт элегантные концепции, — сказала она с ироничной улыбкой. — Как вы понимаете, то, что стабильно для одного вида, не обязательно стабильно для другого. И что нестабильно для одного вида, не обязательно нестабильно для другого. Например, многие птицы неразборчивые кормилицы. Они кормят любых птенцов, какие окажутся в из гнезде, включая птенцов других видов.

— Тем самым они помогают и облегчают жизнь кукушкам, — сказал я, в свою очередь отвечая ироничной улыбкой на удивлённый взгляд Б. — Мы, классицисты, не полные невежды. Шут предостерегал короля Лира: «Кукушка воробью пробила темя за то, что он кормил её всё время».

— Я рада, что классицисты не полные невежды, Джаред, — сказала Б с такой доброжелательной улыбкой, что я едва удержался, чтобы не обнять её. Мне тотчас стало стыдно за столь бестактный, пусть даже мысленный, порыв.

Ничего не заметив, она продолжала:

— Как вы, должно быть, помните, Чарлз несколько раз

упоминал коллегу по имени Измаил. Хотя он не пользовался этой терминологией, Измаил выделил группу стратегий, которые можно считать эволюционно стабильными для всех биологических видов. Он назвал эту группу стратегий Законом ограниченного соперничества и сформулировал его так: «Ты вправе соперничать в полную силу своих способностей, но не вправе охотиться на соперников, уничтожать их пищу и лишать их доступа к пище».

В так называемом «природном» сообществе (то есть в биологическом сообществе за исключением человека) бывают случаи, когда соперники убивают друг друга, но не бывает, чтобы они *искали* такого случая. Они не охотятся друг на друга, как охотятся на тех, кто служит им пищей, — это не было бы эволюционно стабильным. Гиенам недостаёт энергии, чтобы охотиться на львов (на ликвидацию этих соперников они истратили бы больше калорий, чем получили бы, ликвидировав их). Кроме того, охота на львов дело далеко не безопасное. Точно так же в «природном» сообществе не бывает случаев, чтобы соперники уничтожали пищу друг друга, — выигрыш от этого просто не оправдал бы затраченных усилий.

— Каким может быть мотив для уничтожения пищи соперников?

— Уничтожать пищу соперников — это уничтожать соперников, Джаред. Предположим, к примеру, что вы птица какого-то вида, и ваша любимая пища — А, Б, В, Г, Д и Е. У птиц другого вида любимая пища — Г, Д, Е, Ж, З и И. Это значит, что Г, Д и Е являются объектами вашего соперничества. Уничтожив пищу Ж, З и И, которая вас самих не интересует, вы нанесёте своим соперникам очень серьёзный удар.

— Но они тогда ещё ожесточённее будут соперничать из-за Г, Д и Е?

— Конечно. Поэтому вам понадобится третья стратегия. Вы захотите лишить их *доступа* к Г, Д и Е. Тогда вашим сопер-

никам будет совсем плохо: вы уничтожили одну половину их пищи и лишили доступа к другой половине.

— Но, как вы говорите, такого не бывает.

— Такого не бывает в нечеловеческом сообществе, но это не значит, что такое вообще невозможно. Говоря, что такого не бывает, я подразумеваю, что такое *не встречается,* а не встречается потому, что это стратегия самоуничтожения. Вы понимаете, что я имею в виду? Не бывает, чтобы козы отказывались кормить своих козлят, но это не потому, что такое поведение невозможно. Наверняка были козы, которые отказывались, но они не встречаются или встречаются очень редко, потому что их потомство умирает и они больше не представлены в генетическом фонде.

— Понятно, — сказал я.

— Известен лишь *один* случай, когда биологический вид попытался жить в нарушение Закона ограниченного соперничества. И это случилось только в одной культуре — нашей. В этом весь смысл нашей сельскохозяйственной революции. В этом весь смысл тоталитарного сельского хозяйства. Мы охотимся на своих соперников, уничтожаем их пищу и лишаем их доступа к пище. Вот что делает нас тоталитаристами.

Я повертел в голове эту мысль, поначалу не зная, как к ней подступиться, затем сказал:

— Мы говорим об эволюционно стабильных стратегиях.

— Да.

— Вы назвали три эволюционно *не*стабильных стратегии: охотиться на своих соперников, уничтожать их пищу и лишать их доступа к пище. Верно?

— Верно.

— А теперь вы говорите, что вся наша культура базируется на этих эволюционно *не*стабильных стратегиях.

— Тоже верно.

— Если эти стратегии эволюционно нестабильны, то как же нам удаётся следовать им?

— Следование эволюционно нестабильным стратегиям не уничтожает *сразу*, Джаред, оно уничтожает *рано или поздно*.

— Но как это уничтожает *нас?*

Б склонила голову набок, словно спрашивая, почему я вдруг так непонятлив.

— Джаред, где вы были позапрошлым вечером в Штутгарте, когда Чарлз объяснял связь между тоталитарным сельским хозяйством и перенаселением? Когда шесть миллиардов человек следуют эволюционно нестабильной стратегии, они тем самым создают фундаментальную угрозу самим основам экологических систем, которые поддерживают их (нас!) в живых. Как та коза, которая отказывается кормить своих детёнышей, мы находимся в процессе *самоуничтожения*. Вспомните аллегорию Чарлза о лягушке в закипающей воде, её хронологию. Первые шесть тысяч лет воздействие нашей эволюционно нестабильной стратегии на мир было минимальным и ограничивалось Ближним Востоком. За следующие две тысячи лет стратегия распространилась на Восточную Европу и Дальний Восток. За следующие полторы тысячи лет она охватила весь Старый Свет. Ещё через три тысячи лет она стала глобальной. А ещё через двести лет — то есть *сейчас* — уже столько людей стали следовать этой стратегии, что её воздействие достигло катастрофических масштабов. Всего пара поколений отделяет нас от неизбежного конечного результата всех эволюционно нестабильных стратегий — исчезновения.

Это нужно было осмыслить наедине. Я тяжело поднялся и пошёл не очень соображая в каком направлении.

Начало прозрения

Вернувшись минут через пятнадцать, я сказал Б, что мне нужно было подумать. Я помнил лекцию Чарлза в Штутгарте и думал, что всё в ней понял, но я ошибался. Вопреки тому, что он говорил, я продолжал считать, что демографический

взрыв — это *социальная* проблема, сродни преступности и расизму. До моего сознания не дошло, что он говорил о демографическом росте как о *биологической* проблеме, что наша линия поведения, фатальная для *любого* биологического вида, точно так же фатальна и для нас. И не в нашей *воле* изменить это. Мы не можем сказать: «Хорошо, наша цивилизация основана на эволюционно нестабильной стратегии, но в наших силах как-нибудь улучшить её, потому что мы — *люди*». Мир не сделает для нас исключения. Хотя церковь, конечно же, уверяет нас, что *Бог* сделает для нас исключение. Бог позволит нам делать то, что было бы фатальным для любого другого биологического вида. Бог как-нибудь всё «уладит», и мы сможем и дальше двигаться по пути *самоуничтожения* в буквальном смысле слова. Это как ожидать, что Бог заставит летать самолёты, которые аэродинамически летать не способны.

— Прошу прощения за, быть может, наивный вопрос, — сказал я, — но почему всё это держится в тайне? Почему я не слышал об этом раньше? Почему этому не учат в школах?

— Это не держится в тайне. Просто фрагменты мозаики разбросаны по множеству дисциплин, которые очень редко пересекаются, — археология, история, антропология, биология, социология. И кто конкретно мог бы говорить об этом в школах?

— Да кто угодно! — сказал я. — Этому нужно учить в первую очередь. Чтение, письмо и арифметика подождут.

— Конечно, я с вами согласна, Джаред. Вот слова Б: если мир и будет спасён, то не людьми со старыми представлениями и новыми программами. Если мир и будет спасён, то лишь людьми с новыми представлениями и без программ. Потому что представления продвигаются сами и не нуждаются в программах. Последние полчаса ваши глаза начали обретать новое зрение. Но пока вы видите только тёмную сторону новых представлений, мрачную сторону.

Мне пришлось согласиться с этим.

— Итак, мы снова возвращаемся (как мы и должны, снова и снова) к двум системам представлений — представлениям Берущих и представлениям Оставляющих, или анимистов. Несколько минут назад вы проделали прекрасную работу, сформулировав представления Берущих, представления, которые в течение десяти тысяч лет толкали нашу культуру через триумф к катастрофе. В представлении Берущих мир был сотворён для человека, а человек — чтобы покорить его и править им. Но откуда взялось это представление?

— Трудно однозначно ответить, — сказал я.

— Это нормально. Чарлз настоял бы, чтобы вы сами в этом разобрались, но я обещала не следовать его методу. Я скажу вам, откуда взялось это представление, а вы мне скажете, насколько моё объяснение состоятельно и убедительно. Представления Берущих произошли из их опыта жизни в этом мире, из образа жизни людей нашей культуры, который в конечном счёте сводился к завоеванию мира и повелеванию им. Практика тоталитарного сельского хозяйства за тысячи лет укрепила их в вере, что мир был сотворён для человека, а человек — чтобы покорить его и править им. Это логично?

— Да, совершенно логично. Я полагаю, что это можно назвать своего рода приближённым эмпирическим уравнением: «Мы всегда жили так, *будто* мир сотворён для нас, значит, он и *был* сотворён для нас».

— Здесь важно заметить, что это представление возникло из образа жизни, а не образ жизни из представления. Это понятно?

— Приблизительно.

— Я не думаю, чтобы однажды, одиннадцать тысяч лет назад, мезолитические охотники в Ираке собрались вместе и сказали: «Вот мы пожили в этом мире и пришли к выводу, что он сотворён для того, чтобы люди покорили его и правили им. Стало быть, хватит бездельничать, давайте начнём

покорять его и править им». Я думаю, что всё было иначе. В результате тысяч лет *жизни* в качестве покорителей и правителей у людей нашей культуры постепенно создалось впечатление, будто мир и *был* сотворён для того, чтобы люди покорили его и правили им. Они стали воображать, что осуществляют божественное предназначение человека.

— Понятно. Представления Берущих возникли из их образа жизни, а не наоборот.

— А откуда, по-вашему, возникли представления Оставляющих?

— Я полагаю, они возникли из образа жизни Оставляющих.

— И вы правы, конечно. А что вы знаете об их образе жизни?

— Честно говоря, ничего.

Б кивнула.

— В этом наша сегодняшняя задача, Джаред. Я должна рассказать вам о представлениях людей, чей образ жизни вам неизвестен.

— Нелёгкая задача, — сказал я.

— Да, но мне не придётся рассказывать вам об их образе жизни во всех деталях. Чтобы сформулировать представления Берущих, вам достаточно было общего понимания того, как они живут. А живут они так, будто мир принадлежит им. И представления Берущих поддерживают такую стратегию поведения. У образа жизни Берущих много и других характерных черт, но этой вам было достаточно, чтобы сформулировать их представления.

— Да, понимаю.

— Об образе жизни Оставляющих я буду рассказывать столь же избирательно.

Молчание инквизитора

Сказав это, Б замолчала. Через несколько минут я подумал, что, может быть, она ждёт от меня какой-то реакции на свою последнюю фразу, но нет, во фразе не было ничего похожего

на вопрос. Она не впала в транс или что-нибудь в этом роде, а просто смотрела прямо перед собой, в пустоту. Я чуть заметно пошевелился, и она перевела свой взгляд на меня.

— Я никогда не делала этого раньше, Джаред, — сказала она, — и теперь не знаю, с чего начать. Я знаю, что хочу сказать, но не знаю как. Знаю, чем хочу закончить, но не знаю, как к этому прийти.

Поскольку я не знал, о чём речь, я не представлял и как ей помочь. Похлопать её по плечу? От этого не стало бы лучше ни ей, ни мне.

— Есть идея, — наконец сказала она. — Но я не знаю, как вы к ней отнесётесь. Возможно, вся трудность в том, что мы с вами по сути противники. Не в том смысле, что совсем противники, но аспект противостояния между нами есть, и от этого никуда не денешься. Это не ваша вина и не моя, просто это так. Вы присланы сюда, чтобы удовлетворить любопытство, ваше и других, задавать ваши собственные вопросы и вопросы других. То есть, нравится вам это или нет, но ваша роль здесь — это роль инквизитора. Думаю, «нравится или нет» в данном случае правильная постановка вопроса, потому что вам большей частью *не нравится* то, что вы делаете, но вы всё равно это делаете. Вы должны спрашивать от своего лица, и вы должны спрашивать от лица тех, кто вас сюда прислал.

— Верно.

— Что я делала до сих пор, у инквизитора претензий не вызывало. — Она положила палец на наш бриколаж. — Инквизитору это даже понравилось, не так ли?

Я кивнул.

— Но вот теперь я никак не придумаю способ заставить инквизитора взглянуть на анимизм беспристрастно. Не уверена, что это вообще возможно. Это значит, что мы должны взять на себя другие роли.

Я кивнул опять.

— У меня был сын, Джаред. Жизнь ему не улыбнулась, он прожил всего несколько часов — слишком мало, чтобы даже получить имя, но про себя я назвала его Луисом. Звучит както очень по-взрослому, я знаю. Больше детей у меня не будет, по очевидным причинам. Если они вам не очевидны, можете поразмыслить о них в свободное время. Если бы Луис был жив, ему сейчас было бы восемь лет, и я несомненно учила бы его тому, чему сейчас мне нужно научить вас.

— И что вы предлагаете?

— Я предлагаю вам на час отключить инквизитора и слушать меня так, как слушал бы Луис.

Я сказал, что, пожалуй, смогу это сделать.

— Я не знаю, насколько это легко или трудно для вас. Вероятно, для многих мужчин это оказалось бы невозможно.

— Я тоже не знаю, — сказал я. — Но, честно говоря, мне это не кажется слишком трудным. Впрочем, прошу уточнить: значит ли это, что я не должен задавать никаких вопросов? Это было бы несправедливо, потому что Луис в восемь лет наверняка задавал бы вопросы.

Вопрос привёл её в замешательство, она даже поморщилась. Но я не мог не спросить об этом, поэтому ждал ответа.

— В восемь лет не обязательно быть инквизитором, — сказала она.

— Я понимаю. Но будьте снисходительны.

Ещё немного подумав, она сказала:

— Да, Луис *задавал* бы вопросы.

Я не стал говорить, что именно это и имел в виду.

— Вы думаете, что сможете задавать *его* вопросы, а не отца Лалфра?

— Думаю, смогу, Ширин. Дайте мне право на сомнение.

Без особого энтузиазма она пожала плечами, затем, всё ещё размышляя и глядя в сторону, сказала:

— Не удивляйтесь, если я буду говорить не очень приятные для вас вещи. Я не могу избежать их.

— Понимаю.

— Жаль, что вы не владеете языком жестов, — почти тоскливо добавила она. — Это устранило бы барьеры.

Я и сам был бы рад понимать язык жестов.

Сеть

Что она делала в течение следующих нескольких минут, я не знаю, потому что не смотрел. В таких ситуациях лучше оставить человека в покое, отвлечься на что-нибудь и дать человеку спокойно собраться с мыслями. Решив, что готова начать, она заговорила низким и твёрдым голосом, и я бесшумно включил диктофон.

— Я уже говорила тебе, что умираю, — сказала она. — Я понимаю, что тебе горько слышать об этом, Луис, но чем ближе ты будешь подходить к пониманию этого, тем меньше будешь грустить. Когда мы закончим сегодня, печаль ещё не оставит тебя совсем, но станет уже терпимой. Как бы то ни было, я должна начать с этого. Ты хочешь понять меня, и ты хочешь понять, что происходит, и мы теперь сразу перейдём к этому. Будь я другой, я бы утешила тебя сказкой вроде тех, что на рождество рассказывают о Санта-Клаусе. Я рассказала бы, что мама отправится на небеса, будет жить там рядом с Богом в окружении ангелов и смотреть оттуда вниз, непрестанно думая о тебе. Правда лучше, чем эта сказка, уже потому, что она — *правда*.

Позволь мне начать с великой тайны жизни анимистов, Луис. Когда люди думают о Боге, они, как ты мог заметить, непроизвольно поднимают глаза к небу. Они уверены, что, если Бог есть, то лишь где-то далеко-далеко — недостижимый и неприкасаемый. Не знаю, как они могут жить с таким Богом, Луис, правда не знаю. Но это не наша проблема. Я уже говорила тебе, что ни один анимист в мире не сможет сказать тебе, сколько всего богов. Они этого не знают, как не знаю и я. Никого из анимистов это не интересует. Нам

важно не *сколько* их, а *где* они. Если ты спросишь у алав в Австралии, у бушменов в Африке, у навахо в Северной Америке, у крин-акроров в Южной Америке, у онабасулу в Новой Гвинее, или у любого другого народа из числа Оставляющих, где находятся боги, они скажут тебе: боги — *здесь.*

Впервые с начала своего монолога Б посмотрела мне прямо в глаза.

— Я не имею в виду «там», я не имею в виду ещё «где-то», я имею в виду — *здесь*. У алав — *здесь*. У бушменов — *здесь*. У навахо — *здесь*. У крин-акроров — *здесь*. У онабасулу — *здесь*. Ты понимаешь?

— Не уверен, — честно признался я.

— Они говорят так не в теологическом смысле. Алавы не скажут бушменам: «Ваши боги фальшивые, а настоящие — это *наши*». Крин-акроры не скажут онабасулу: «У вас нет богов, а у *нас* есть». Ничего подобного. Они скажут: «Наше место — священное место, и другого такого нет нигде в мире». Им и в голову не придёт искать богов *где-то ещё*. Боги живут среди *них*. Где живут *они*, там живут и боги. Бог поддерживает *их* жизнь. Вот что такое бог. Бог — это та волшебная сила, которая делает всякое место *местом жизни,* и подобного этому месту нет нигде в мире. Бог — это огонь, горящий *здесь* и нигде больше. И нет такого места, где огонь горел бы без бога. Надеюсь, это объясняет, почему я не отвергаю название «анимисты», данное нам посторонними. Хотя оно происходит из неверного понимания наших представлений, слово «*анимизм*» (от латинского *anima* — «дыхание, одушевление, жизнь»), тем не менее, отражает их суть.

В отличие от Бога с большой буквы, наши боги не всемогущи, Луис. Представляешь? Им нечем защититься от огнемёта, бульдозера или бомбы. Их легко подавить, прогнать, лишить сил. Сидя в полночь где-нибудь посреди торгового центра, где бетонные стены и галереи тянутся на километры, ты и там ощутишь присутствие бога, некогда могучего, как

буйвол или носорог, а теперь беспомощного, как мотылёк, в которого брызнули пиретрином. Беспомощного — но не мёртвого, не без шансов ожить. Снесите этот торговый центр, уберите бетон, и в считанные дни на этом месте вновь запульсирует жизнь. Ничего не надо делать — лишь очистить место от яда. Бог знает, как привести это место в порядок. Оно никогда не будет таким, как прежде, но — ничто не бывает таким, как прежде. И *не нужно,* чтобы что-то было таким, как прежде. Некоторые призывают вернуть равнинам Северной Америки тот вид, какой они имели до прибытия Берущих. Это нонсенс. Пятьсот лет назад те равнины ещё не оформились полностью, а были лишь в процессе обретения формы, к которой стремились с начала времён. Окончательных форм вообще не бывает и быть не может. Всё здесь — *в пути*. Всё — *в процессе*.

В связи с этим расскажу тебе одну историю. Когда боги решили сотворить Вселенную, они сказали себе: «Давайте сделаем её воплощением неисчерпаемого изобилия и закона, понятного всякому, у кого есть глаза, чтобы читать его. Давайте окружим одинаково безмерной заботой каждое творение — самую хрупкую травинку не меньше, чем самую яркую звезду; комара, который поёт один час, не меньше, чем гору, стоящую тысячу лет; чешуйку слюды не меньше, чем золотую жилу. Давайте сделаем так, чтобы ни на одной ветке не было двух одинаковых листьев, ни на одном дереве — двух одинаковых веток, ни в одном мире — двух одинаковых звёзд, ни одной звезды с двумя одинаковыми планетами на орбитах вокруг неё. Тогда Закон Жизни будет ясен всем, у кого есть глаза, чтобы прочитать его — зайцу, грызущему молодую кору; лисе, поджидающей добычу; орлу, парящему кругами в вышине; человеку, целящемуся из лука в небо». Так они и сделали от начала и до конца: ничего одинакового во всей огромной Вселенной, ничего сотворённого с меньшей заботой, чем остальное, в каждом из множества поколений

всех видов, своим числом не уступающих звёздам. И все, у кого были глаза, чтобы читать Закон Жизни, читали его и следовали ему. Ты понимаешь эту историю?

— Нет. Не думаю.

— Ничего одинакового во всей огромной Вселенной, Джаред. Это ключ ко всему. Вот почему всё здесь *в процессе*, а не в окончательной форме. Я подразумевала это вчера, когда говорила о клещах, которые путешествуют на спине у жуков-могильщиков. Если вы положите этих клещей под микроскоп, чтобы изучить их конечную форму, вы потерпите неудачу, потому что, чем пристальнее вы будете их разглядывать, тем яснее увидите, что среди них нет и двух одинаковых, а если нет и двух одинаковых, то разве можно взять одного из них и сказать: «Вот она, окончательная форма этих клещей»?

Вот это я и имею в виду под изобилием, Джаред. Даже среди таких, казалось бы, незначительных созданий, как клещи, нет и двух одинаковых во всей бескрайней Вселенной, и любой из них создан столь же заботливо, как нейтронная звезда или скопление галактик. Мозг в вашей бесценной человеческой голове ничуть не чудеснее любого из тех клещей.

— Это я знаю, — неожиданно для себя сказал я.

— Послал бы иудео-христианско-исламский Бог своего единственного сына спасать тех жуков и их домочадцев клещей, Джаред?

— Нет.

— А бог этого места заботится о них так же, как о любом другом существе в мире. Вот почему вы вчера имели удовольствие видеть тех жуков. Те жуки воплощают неисчерпаемое изобилие, которым боги наделили Вселенную, и закон, который они вписали в неё для каждого, имеющего глаза, чтобы читать его. Я хотела, чтобы вы увидели, какой безграничной заботой окружают боги каждое из своих творений, будь то жук, чьё высшее достижение — похоронить мышь, или мозг

Эйнштейна, будь то клещ, чьё любимое блюдо — мушиные яйца, или глаза Микеланджело.

— Я *понимаю*. Во всяком случае начинаю понимать.

— Где же нам искать этого бога, Луис?

Поскольку ещё минуту назад она обратилась ко мне по моему имени, я был слегка озадачен таким внезапным переходом на «Луиса». Со временем я заметил, что, как бы она меня ни называла, это нисколько не нарушало ход её мыслей. В одних случаях она подчёркнуто обращалась к Луису (а ко мне во вторую очередь), в других — главным образом ко мне (но отчасти и к Луису), в третьих, я полагаю, — к нам обоим одновременно. Так или иначе, на данный конкретный вопрос я ответил взглядом недоумения.

— Я не прошу вас перешагивать через расщелину, Джаред. Я уже говорила вам, где следует искать бога… Но я вернусь к этому позже. Нам нужно поговорить ещё о массе других вещей. Мы с вами, Джаред, всё время возвращаемся к теме представлений. Мы с Луисом всё время возвращаемся к тому, что такое смерть.

Каждое существо, рождённое в сообществе, *принадлежит* тому сообществу. В том смысле, в каком ваша кожа и нервная система принадлежат вам. Мышь, которую мы видели, не просто «проживала» в сообществе парка, как вы проживали бы в Чикаго или Фресно. Каждая молекула её тела была родом из этого сообщества и в конечном итоге должна была вернуться в это сообщество. Можно с полным основанием утверждать, что мышь была таким же выражением сообщества этого парка, как Леонардо да Винчи был выражением Италии эпохи Возрождения.

Индивидуум живёт в состоянии динамического противоречия с сообществом, укрываясь от опасности в норе, улье, гнезде, дупле или берлоге, но никогда не довольствуясь жизнью там. Его всегда тянет вернуться и принести сообществу пользу, как в случае с той мышью. Это динамическое

противоречие — одна из статей закона. Оно побуждает паука-каменщика замуровывать свою нору как банковский сейф, а дорожную осу — взламывать его.

Никто в сообществе не живёт изолированно от остальных, даже матки у социальных насекомых. Никто не живёт исключительно сам по себе, не нуждаясь ни в чём *от* сообщества. Никто не живёт исключительно для себя, без долга *перед* сообществом. Нет ни неприкасаемых, ни нетронутых. Каждая жизнь даётся сообществом в долг при рождении и со смертью сполна возвращается сообществу. Сообщество — это сеть жизни, где каждая нить ведёт ко всем другим нитям. Нет ни исключённых, ни отпросившихся. Нет привилегированных. Никто не живёт на отдельной нити, не связанной с остальными. Как вы вчера видели, ничто не пропадает зря, будь то капля воды, или молекула протеина, или мушиное яйцо.

В этом вся красота и всё чудо, Джаред. Всё, что живёт, питает других. Всё поедающее в конечном счёте становится поедаемым или, умирая, возвращает свою субстанцию сообществу.

Замолчав, она взглянула на меня в ожидании возражений. Я, тоже взглядом, ответил, что возражений нет.

— Каждая нить ведёт ко всем другим нитям. Вам это понятно?

— Думаю, да.

— Где нам искать бога этого места?

Я заморгал и неуверенно переспросил:

— Этого места?

— Того места, где мы сейчас, Джаред.

Это уточнение запутало меня ещё больше. Представляю, как глупо я выглядел.

— Десять тысяч лет назад в этих местах жили мезолитические люди. Как они назывались, мы никогда не узнаем. Если хорошо покопаться в земле, то можно найти их топоры и

наконечники стрел. Это были Оставляющие, конечно. Они были анимистами и знали, где искать бога этого места. Бог этого места — *здесь,* Джаред. Они не искали его в небе или на горе Олимп. Они искали его *здесь,* где мы сидим.

Я кивнул. Это было самое большее, на что я был способен в данный момент.

— *Здесь,* — повторила она, на этот раз хлопнув ладонью по земле.

— Хорошо.

— Теперь я хочу, чтобы вы *взглянули* сюда.

Она легла на землю животом вниз и взглядом предложила мне сделать то же самое. Я слегка покачал головой, давая понять, что мне не хотелось бы.

— Давайте-давайте, — настойчиво сказала она.

Я нехотя последовал её примеру.

В центре сети

— Вот где вы всё поймёте, — сказала она. — Вот где всё сходится. Это центр сети, где встречаются прошлое, настоящее и будущее и где родился человеческий мозг. Смотрите. И не говорите мне больше, что вы не Натти Бампо. Это я уже знаю. Вы не обязаны сразу *понять,* что вы видите, но вы должны хотя бы приложить усилия и *разглядеть* то, что вы видите.

Несколько десятилетий назад, когда концепцию Ламарка ещё время от времени выдавали за научную, была популярна теория, согласно которой мозг приматов начал расти и вырос до размеров человеческого потому, что наши предки усиленно размышляли над тем, как изобрести *инструменты*. Эта теория естественна для культуры вроде вашей, где прогресс отождествляется с использованием инструментов.

Я кашлянул, чтобы показать, что внимательно слушаю.

— Факт, однако, состоит в том, что человеческий прорыв не был обусловлен каким бы то ни было прорывом в

изготовлении инструментов. Он был обусловлен прорывом другого рода, прорывом таким же важным для человеческого развития, каким было возникновение речи. Догадываетесь, о чём я говорю?

— Нет.

— Что и неудивительно. Этот прорыв не упоминается в человеческой истории, написанной Берущими, поскольку ничего не добавляет к их славе. Этот прорыв ознаменовал собой рождение исключительно человеческого образа жизни — образа жизни, где решающую роль стал играть *интеллект*. Этот прорыв окончательно отделил нас от обезьян. По-прежнему никаких догадок?

— Боюсь, что нет.

— Вы, видимо, забыли, что говорили об этом с Чарлзом в поезде по дороге из Штутгарта. Вы не могли представить, чего наши древние предки достигли за первые три миллиона лет существования человека, и Чарлз пытался объяснить вам, что их достижением был полностью человеческий образ жизни.

— Да, теперь вспомнил. Последовавшие за тем разговором события оттеснили память о разговоре на задний план.

— Поживите среди горилл, или шимпанзе, или орангутангов, и вас поразит (во всяком случае должно бы), насколько их образ жизни далёк от образа жизни даже самых ранних из известных нам человеческих сообществ. Самые ранние люди, в отличие от тех, от кого они произошли, были *охотниками-собирателями*. Все остальные приматы были лишь *собирателями*. Они тоже при случае убивали и поедали добычу, но они не *жили* охотой. Среди приматов *только люди* были охотниками, поскольку из всех приматов только они обладали биологическим аппаратом, необходимым для жизни охотой, и таким аппаратом являлся их *интеллект*. Они не могли охотиться так, как орлы, как гепарды или как пауки. Это было им недоступно. Они нашли свой собственный путь к успеху, недоступный никаким другим видам на

земле. Вы понимаете, о чём я говорю, Джаред? Мы стали людьми не потому, что стучали камнем о камень. Мы стали людьми потому, что научились читать хронику событий, записанную вот *здесь* — на ладони у бога.

Она раскрыла свою ладонь, чтобы продемонстрировать, что она имела в виду.

— Я не следопыт, Джаред, ни в коей мере. Коренные жители этих мест — любые их тех мезолитических охотников, о которых я говорила раньше, — могли бы рассказать вам, что произошло здесь за последние дни. Буквально каждый едва заметный след в пыли — это хроника какого-то события, даже если это след от сорванного ветром листа. Они смогли бы распознать каждое существо, недавно побывавшее здесь, и они сказали бы, когда оно здесь побывало, что делало, спешило куда-то или просто бродило в поисках пищи, или возвращалось домой.

Я выбрала для нас эту прогалину потому, что заметила здесь следы, по которым, мне кажется, смогу определить, *что* здесь произошло. Я не имею в виду, что здесь разыгралась какая-то мелодрама, но *что-то* здесь явно произошло. Видите вот эту кривую цепочку следов в пыли? Как будто оттиск огромной застёжки-молнии.

— Да, теперь вижу, поскольку вы показали.

— Это следы жука, хотя понятия не имею, какого вида. Довольно крепкий парень. След совсем свежий, ему не больше двух-трёх часов. Вот здесь он пересекает более давний след, оставленный белкой.

— Как ни странно, это я тоже вижу.

— Прекрасно. Теперь начинается самое интересное. Жук спешит куда-то по своим делам, и вдруг вот отсюда, слева, путь ему преграждает мышь. Вот здесь видно, что мышь не просто семенит себе, как обычно, а скачет. Если бы мы были в Соединённых Штатах, я бы сказала, что это бурундук, а здесь я не знаю, кто это, но будем условно считать, что мышь.

Итак, мышь хватает жука, и здесь мы видим, что жук не сдаётся без боя.

— Да, я вижу.

— Дальше мышь убегает направо, а следов жука больше не видно. Таким образом, здесь рассказано, как мышь по дороге полакомилась жуком.

Мы поднялись с земли и уселись как прежде.

Первое: чтение следов

— Очень впечатляюще, — сказал я.

— Очень посредственно, поверьте мне, по сравнению с тем, что рассказал бы настоящий следопыт, но для нашей темы вполне достаточно. Этим примером я хотела объяснить следующее.

Первое: шимпанзе умеют изготовлять инструменты и пользоваться ими, так что изготовление и использование инструментов не является чем-то присущим лишь человеку, а вот читать следы так, как я только что прочитала, способен действительно лишь человек. Конечно, одного этого для успешной охоты мало. Это как кадр из фильма. Кадр может передать настроение, идею, но не действие — действие разворачивается *в движении*. В каждый момент охоты охотник размышляет над целой серией вопросов. Что конкретно зверь делал, когда оставил этот след? Как давно он побывал здесь? Куда он направлялся? Насколько быстро он двигался? Как далеко он теперь отсюда? Всё это с учётом времени года, времени суток, температуры воздуха, состояния почвы, характера местности и, конечно, повадок, типичных для данного вида животных, как и для других, обитающих в этих местах.

Вот маленький пример. Один антрополог однажды ходил на охоту вместе с охотником из племени кунг в пустыне Калахари. Около полудня, отчаявшись выследить одного зверя, они стали искать следы другого и вскоре напали на

след орикса, оставленный, по оценке охотника, пару-тройку часов назад. После получаса преследования охотник, однако, сказал, что дальше идти не имеет смысла. Он объяснил, что, видимо, ошибся в оценке свежести следа, который никак не мог быть оставлен утром. В качестве подтверждения он указал на след мыши, оставленный поверх следа орикса. Поскольку мыши — ночные животные, орикс мог оставить свой след не позднее рассвета — слишком давно, чтобы пытаться его догнать.

— Логично.

— Это, конечно, не тот случай наблюдательности и рассудительности, за который охотнику кунг дали бы Нобелевскую премию, но он в данном случае продемонстрировал способности, начисто отсутствующие даже у самых близких к нам приматов. Любую человекообразную обезьяну можно с помощью дрессировки научить имитировать наши жесты и мимику, но никакая дрессировка не научит её делать то, что проделал охотник кунг, выслеживая орикса.

— Вы несомненно правы.

— Этим я хочу сказать, Джаред, что мы переступили черту не когда начали пользоваться инструментами, а когда стали охотниками. Наши человекообразные предки умели изготовлять инструменты и пользоваться ими, но они не были охотниками, потому что не обладали нужным для этого ментальным аппаратом. Иными словами, охота сделала нас людьми, и, конечно, лишь став людьми, мы смогли стать охотниками. Кстати сказать, у современных аборигенов охота вовсе не исключительно мужское занятие, поэтому нет никаких причин полагать, что она была исключительно мужским занятием и у наших далёких предков.

— Прошу прощения — и надеюсь, что этот вопрос не покажется вам инквизиторским, — но по-вашему получается, что мы начали охотиться раньше, чем стали охотниками. Может ли охотиться тот, кто ещё не охотник?

— Может ли бегать тот, кто ещё не бегун, Джаред?

— Не очень вас понимаю.

— Вопросы такого рода возникают на каждом шагу эволюции. Вот классическая головоломка: если глаз развивался постепенно, то он был бесполезен до тех пор, пока не сформировался полностью и не начал функционировать как орган зрения. Но если он был бесполезен и не давал его хозяину никаких преимуществ, то почему он вообще начал развиваться? Ответ заключается в том, что недоразвитый глаз вовсе *не* бесполезен для его хозяина. Любой сенсорный орган, пусть даже самый примитивный, лучше, чем никакого. Каким бы ни был глаз в самом начале своего развития, он давал, пусть едва заметное, но преимущество. То же самое верно и для охоты. Даже самая примитивная способность выслеживать добычу даёт вам преимущество перед теми, у кого этой способности нет совсем, а даже самое незначительное преимущество увеличивает ваши шансы быть представленным в генетическом фонде. Чем больше охотники представлены в генетическом фонде, тем шире распространяются их способности, и в каждом поколении лучшие охотники, даже если они значительно уступают современным стандартам, имеют преимущество, которое ещё больше увеличивает их шансы быть представленными в генетическом фонде. Иными словами, охотничьи способности (которые у людей обусловлены не столько физической силой и ловкостью, сколько разумом) были вектором естественного отбора в процессе эволюции человека. Человеческий разум не был результатом счастливого случая, он развился не просто так, не просто ради того, чтобы нам в голову могли приходить красивые мысли.

— Думаю, во всём этом немалую роль сыграла речь.

— Конечно. Как я уже говорила, мы стали людьми, когда выработали новый образ жизни. Человекообразные приматы жили собирательством, но собирательство не требует

активного общения. Группа приматов может обосноваться в каких-то местах и начать собирать еду без какого-либо планирования, без взаимодействия и распределения задач. Они просто приходят и начинают есть. Но такое поведение не годится для приматов-охотников. Эффективна лишь коллективная охота, приматы не приспособлены к ней генетически, как, например, волки или гиены. У приматов эти способности появляются только в результате общения.

— То есть, вы говорите, что речь развилась как атрибут охоты.

— Речь развилась потому, что она давала преимущества. Не какое-то одно, а много преимуществ. Умеющий говорить — это предпочтительный партнёр на охоте, а вследствие этого и предпочтительный партнёр для продолжения рода. У умеющего говорить больше шансов на выживание и воспроизводство.

— Тогда выходит, что речь и охота содействовали развитию друг друга. И, если это так, то мы стали людьми не просто охотясь, а охотясь и разговаривая.

Б кивнула.

— Вам кажется, что вы противоречите мне, но на самом деле нет. Вы просто опережаете меня. Я не могу сказать всё сразу.

Этот комментарий почему-то показался мне очень смешным, особенно если представить, что я ответил бы: «А почему бы мне вас не опережать?» Первые несколько секунд мне казалось, что я сумею сдержаться и подавить смех, но моя центральная нервная система решила иначе, и я сначала хмыкнул, затем хихикнул, затем по-лошадиному всхрапнул и, наконец, рассмеялся. Б присоединилась ко мне, и минуты две мы оба безудержно хохотали.

Хватая ртом воздух и глупо улыбаясь сквозь лившиеся по лицу слёзы, мы наконец успокоились, и мне показалось, что на мгновение выражение её глаз стало таким, будто она

ошибочно приняла меня чуть ли не за приятеля. В конце концов, глубоко вздохнув и взяв свои эмоции в руки, мы вернулись к работе.

«Охотничий ген»

Она опять похлопала ладонью по земле перед собой.

— Как я сказала, мне хотелось бы, чтобы вы извлекли из этой демонстрации несколько уроков. Первый — что мы стали людьми, читая следы и, конечно, разговаривая между собой. Мы не стали людьми, стуча камнем о камень или сочиняя сонеты. Разум побуждал нас к выработке нового образа жизни, основанного на охоте и собирательстве, а не на одном собирательстве. Этот новый образ жизни требовал новых форм общения и взаимодействия и поощрял их развитие.

Второй урок заключается в следующем. Непременно найдутся люди, которые вообразят, будто я пытаюсь логически обосновать склонность человека к насилию. Это предположение не имеет ничего общего с моими намерениями. Во-первых, люди не нуждаются в подобном обосновании, поскольку от природы ничуть не более склоны к насилию, чем другие биологические виды. Я имею в виду людей, не принадлежащих к нашей культуре, которые представляют лишь крохотную часть человечества. За пределами нашей культуры люди прибегают к насилию в тех же обстоятельствах, что и другие виды, — когда нужно обозначить и защитить свою территорию. Это не имеет ничего общего — совершенно ничего — с политическими границами. Германия не является территорией в биологическом смысле слова. Политическая и биологическая территории связаны между собой чисто метафорически. Вы понимаете, о чём я говорю?

— Очень смутно.

— Мы вернёмся к этому позже. А сейчас мне важно, чтобы вы поняли, что за пределами нашей душевнобольной культуры мы, люди, не более склонны к насилию, чем дру-

гие биологические виды. И это не охота сделала нас такими жестокими, какие мы есть. Наши предки-собиратели не были добрее. Ничуть не добрее и травоядные виды. И мы не единственный биологический вид, представители которого жестоко конфликтуют друг с другом. Ничего подобного. Если не считать хищников, практически всё насилие в биологическом сообществе — это насилие внутри видов. Я не могу сейчас углубляться в подробности, так что вам придётся самому покопаться в них, если вас это интересует.

Найдутся и люди, которые увидят в моих словах пропаганду охоты как спорта. Опять-таки, это не имеет ничего общего с моими намерениями. Тот факт, что охота сделала человека человеком, не значит, что она вложила в него неодолимую тягу к уничтожению всего живого. Быть хорошим охотником не значит быть кровожадным. Кровожадность здесь не требуется и вообще ни при чём. Понаблюдайте за поведением охотников на охоте, и вы убедитесь в этом. Они не отправляются на охоту с пеной у рта, и они не убивают просто так, ради удовольствия.

— Прошу прощения, — сказал я, — и снова надеюсь, что вы не воспримете это как возражение инквизитора. Помнится, я читал об обнаруженных археологами следах массового убийства бизонов людьми без какой-либо видимой пользы — их трупы были просто брошены гнить. Охотники убивали их, вырезали нужные им части туши, а остальное бросали.

— Едва ли там всё произошло так, как вы описали. Уверена, что это не было бесцельным и бесполезным массовым убийством. Охотники на американском Западе — я говорю об охотниках уже нашей культуры — объяснили бы это иначе. Они по опыту знали, что можно буквально умереть с голоду среди множества бизонов, если это вконец отощавшие бизоны, какими они бывают в конце зимы. В отсутствие другой пищи единственный способ выжить среди отощавших бизонов — это убить их в большом количестве и вырезать

те немногие остатки жира, которые в них ещё сохранились. Я не хочу сейчас углубляться в биохимический аспект всего этого, но могу одолжить вам книгу об этом.

Я сказал, что ловлю её на слове.

— Так на чём я остановилась? Я говорила, что охота не является насилием. Но лучше сказать по-другому. По мере нашего развития как охотников наши гены сохраняли не память о кровавых результатах охоты, а нужные для охоты качества — наблюдательность, рассудительность, умение прогнозировать, хитрость, скрытность и осторожность. Эти качества необходимы для успешной охоты, но их применение отнюдь не ограничивается охотой. Иначе мы по сей день испытывали бы неодолимую тягу к охоте. А нас тянет к другому — ко всему тому, что вы видите *здесь*.

Она похлопала ладонью по земле.

«Ген рассказчика»

— Расскажите мне, что случилось на этой прогалине несколько часов назад, Джаред?

— Ну, здесь полз жук, потом из травы слева выскочила мышь и схватила его. Вы сказали, что, судя по вот этим следам, между ними произошла драка, хотя я не представляю, почему мыши пришлось драться с жуком.

— Может быть, жук защищался.

— Может быть. Как бы то ни было, после драки мышь утащила жука направо.

— Как вы понимаете, то, что вы только что сделали, совершенно не под силу никакому другому животному на этой планете.

— Да.

— А что вы такое сделали?

— Ну… Я вроде бы ничего не сделал. Это вы сделали.

— Странно. Бьюсь об заклад, что я видела, как ваши губы шевелились.

— Да, но… Тогда я не понял, о чём вы спросили.

— Я спросила, что вы сделали.

— Вы сказали: «Расскажите мне, что здесь случилось». Я рассказал, что случилось. Верно?

— Да, верно. Я пытаюсь привлечь ваше внимание к тому, что вы и я сделали две разных вещи. Я сделала одно, а вы — другое. Я хочу, чтобы вы назвали то, что сделали *вы*.

Единственное, что мне пришло в голову, это что я говорил, но я решил, что лучше будет совсем промолчать.

— Вы не можете назвать это потому, Джаред, что вы недооцениваете это. Знаете, кто такая Коко?

— Коко? Это горилла, которую научили языку жестов. Верно?

— Верно. Если бы здесь сидела Коко, и там в пыли бежал бы жук, затем из травы выскочила бы мышь и утащила его, то Коко жестами сказала бы что-нибудь вроде: «Жук, жук, мышь, жук, бежать, драться, мышь, бежать, жук». Если бы десять минут спустя вы сумели объяснить ей, что вы хотите услышать описание того, что она видела (не уверена, что вам это удалось бы), вы услышали бы в лучшем случае следующее: «Коко, мышь, видеть, мышь, жук, Коко, видеть». Даже это было бы замечательно. Но Коко никогда не смогла бы сделать то, что сделали вы, то есть…

— Связать всё это в историю.

— Именно.

Б похлопала ладонью по земле.

— Вот откуда пошли все истории, Джаред. Вот где люди начали читать мир как сборник историй. Нигде в мире, ни в одной культуре мира нет ребёнка, который не хотел бы послушать историю. И повсюду в мире, в каждой культуре мира, каждая история имеет начало, середину и конец. Начало: «Однажды ночью мышь пробиралась сквозь высокую траву, возвращаясь домой, как вдруг прямо перед собой увидела ковылявшего по прогалине жука. „Ладно“, — подумала

мышь, — „жуки не самое моё любимое блюдо, но протеин есть протеин!“» Середина: «Поэтому мышь затаилась в траве, выждала, когда до жука оставалось не больше пары прыжков, потом рванулась вперёд и набросилась на него. Однако, к удивлению мыши, у жука оказались мощные челюсти, и он в мгновение ока вцепился ими ей в нос. С переменным успехом они кусали друг друга до тех пор, пока, наконец, мышь не одолела жука». Конец: «„Что, добегался?“ — сказала мышь, раненным носом переворачивая жука на спину. Тщательно избегая его барахтающихся ног и щёлкающих челюстей, мышь проглотила жука и, довольная, засеменила домой».

— Увлекательная история, но… Вы всерьёз думаете, что существует такая штука, как «ген рассказчика»?

— Генетик от этого термина, конечно, поморщился бы. Нет такого гена, который можно было бы назвать «геном рассказчика». Моя теория о таланте рассказчика, передающемся генетически, подразумевает, что ранние охотники, которые умели излагать события в форме рассказа, имели у женщин больший успех, чем те, кто этого не умел, и, следовательно, у них было больше шансов внести свой вклад в генетический фонд. Возможно, этим объясняется, что талантливые рассказчики встречаются в разных культурах не просто часто, а повсеместно.

Чтение будущего

— Люди Великого Забвения с большим удовольствием воображают, будто человеческая история началась всего несколько тысяч лет назад, когда люди начали строить города, однако людьми мы стали прежде всего *здесь*. Я говорю не о том, как мы стали ходить на двух ногах или как мы потеряли свою шерсть. Мы ходили на двух ногах и не имели шерсти за сотни тысяч лет до пересечения *этой* границы.

Она снова хлопнула ладонью по земле перед собой.

— Это здесь временна́я структура Вселенной начала отпе-

чатываться в человеческом мозге. Конечно, следы, которые мы видим перед собой, существуют сейчас, в настоящем, но они не будут иметь для нас никакого смысла, пока мы не осознаем их как следы *минувших* событий. Для всех других биологических видов они так и останутся бессмысленными, поскольку никакой другой вид не способен читать их как следы прошлого.

— Разве собака не так же воспринимает запахи?

— Совсем нет. Вот мы сидим здесь, вы и я, и вокруг нас в воздухе физически присутствует источаемый нами запах. Этот запах, эта физическая эманация, простирается в воздухе до машины, на которой мы приехали, и собака, почувствовав там наш запах, легко проследует за ним сюда, но она не будет читать прошлое, она будет читать настоящее. Она побежит на наш запах, как вы пошли бы на звуки уличного оркестра в нескольких кварталах от вас.

— Да, я вижу разницу.

— Вернёмся к следам на этой прогалине. Чтобы они обрели для вас смысл, вы должны осознать, что это не только следы минувших событий, но и что у них есть определённое направление во времени: начало, середина и конец. История жука начинается здесь, продолжается там и заканчивается в месте её пересечения с историей мыши. Мы видим, что история мыши на этом не кончается, а уходит в будущее, которое мы можем в известной степени *предсказать*. В какой-то момент прошлой ночью мышь была здесь, а затем ушла — ушла *в том направлении*. Если мы пойдём по её следам, мы знаем, что рано или поздно найдём *кого-то* в конце следов. Кто это будет, Джаред?

— Мышь.

— Мышь, которую мы до того момента никогда в глаза не видели! Вы понимаете, что это значит? Сидя вот *здесь*, мы обрели способность *предсказывать будущее*. Мы стали *провидцами!* Несколько минут назад я попыталась объяс-

нить, что мы унаследовали от своих предков-охотников не непреодолимую тягу к уничтожению всего живого, а тягу совсем к другому, и она представляется столь же непреодолимой. Например, нас непреодолимо привлекают истории, и мы готовы слушать и слушать их.

— Да.

— И ещё одна тяга, доставшаяся нам от охотников: идя по следу, мы всегда хотим знать, что нас ждёт впереди. Мы — все и каждый из нас — *хотим знать будущее*. Неважно, какими методами — рациональными или нет, физическими или фантастическими. Эта тяга так глубоко сидит в нас, что мы даже не замечаем её, даже не задумываемся над тем, насколько она замечательна. Для многих из нас каждое действие — это предвосхищение будущего. Собираясь на встречу с определённым человеком, мы одеваемся определённым образом. Читая газету, мы рассчитываем узнать не столько о том, что *произошло*, сколько о том, что *произойдёт* дальше — в экономике, политике, бизнесе, спорте, и так далее. Мы читаем прогноз погоды и на его основе решаем, брать с собой зонт или нет. Идя на работу, мы обдумываем свои планы на день, а они несомненно связаны с планами на завтра, на следующую неделю, а то и на следующий год. Хороший день в нашем понимании это день, прошедший *как ожидалось*, без неприятных сюрпризов. Мы строим планы на вечер. Мы заранее готовимся к каким-то событиям скорого или далёкого будущего. Мы бронируем билеты на самолёт, номер в отеле, заблаговременно посылаем по почте подарок с таким расчётом, чтобы адресат получил его в день своего рождения.

Нам трудно представить себе существо, наделённое разумом, но не одержимое будущим. Такое существо мы вряд ли сочли бы вполне разумным. Кроме приведённых выше примеров более или менее рационального планирования, каждый из нас принимает во внимание приметы и суеверия, даже относясь к ним пренебрежительно. Если дождливым

утром мы подбираем с газона газету промокшей, а молоко, которым мы залили кукурузные хлопья, оказывается прокисшим, а рубашка, которую мы собирались надеть, валяется в куче белья для стирки, плюс машина не заводится, — нет человека, который бы в такой ситуации не подумал: «День обещает быть мерзопакостным». Нет человека, который, глядя на результаты скачек, не подумал бы: «Я знал, что эта лошадь придёт первой!» Или, только вы о ком-то подумали, как этот человек звонит вам по телефону. Нет человека, который в этом случае, пусть на минуту, но не поверил бы в ясновидение. Вера в астрологию представляется мне совершенно иррациональной, но когда кто-то читает мне мой гороскоп, какая-то часть меня слушает и говорит: «А ведь верно, всё так и есть».

Мы с вами можем сколько угодно не верить в чью-то способность предсказывать будущее, но другие, не такие снобы, как мы, с полным доверием слушают медиума, гадалку по картам таро, хироманта, читателя ауры, гадателя по «Ицзину», толкователя снов. И это свойственно людям практически всех культур. В гадания верили во все времена и верят сегодня. Это не значит, что всякий смотрящий в будущее занимается магией. Астрономия родилась как средство предсказания движения небесных тел. Все лекарства производят тот или иной эффект в будущем, поэтому врач говорит: «Принимайте эти таблетки три раза в день, и вам станет лучше». Медицина во всех культурах, включая нашу, ассоциируется с предсказанием будущего, и мы ожидаем от врачей умения по симптомам определять будущее состояние человека. Будь то пещера каменного века или суперсовременная клиника нашего времени, врач говорит: «Сегодня мы проделаем эту процедуру, и завтра вам станет лучше». Научный метод как таковой основан на предсказаниях. «Теория предсказывает, что, сделав А и Б, мы получим В. Я проверю эту теорию на практике и увижу, сбудется предсказание или нет».

Поскольку мы по происхождению охотники, в нас генетически заложена тяга к выяснению, куда ведёт след и кто окажется там, где он кончится. Знание будущего для нас такая же естественная потребность, как пища и секс. Утверждая, что это потребность генетического характера, я, конечно, выдвигаю теорию, но, повторяю, я не вижу в ней ничего невозможного. Охотник, которым движет стремление не только утолить голод, но и узнать будущее, несомненно обладает преимуществом перед охотником, которым движет только стремление утолить голод.

— Да, должен признать, что вы правы.

Когда с тобой Бог

— Скажите, Джаред, вы игрок?

— Нет, не особенно.

— Что значит «не особенно»?

— Это значит, что я не азартный игрок, играю лишь от случая к случаю. Могу провести с друзьями вечер за игрой в покер с ничтожными ставками. Если кто-то предложит сходить на скачки, могу поставить несколько долларов, чтобы не было скучно. Но я не из тех, кому жизнь не в жизнь без ставки *на что-нибудь*.

— Но среди ваших знакомых наверняка есть и заядлые игроки.

— Да. Мой старший брат.

— Расскажите о нём. Как его зовут?

— Харлан. Он для меня загадка. Он странный, будто с другой планеты.

— Продолжайте.

Я вздохнул и мысленно дал себе подзатыльник за то, что не ответил как-нибудь поуклончивее, чтобы избежать дальнейших расспросов.

— Харлан в точности такой, как я сказал, — ему жизнь не в жизнь, если он на что-нибудь не поставит. Утром он

первым делом спешит проверить результаты матчей или чего-то другого, на что он ставил вечером. Ставки он делает на что угодно и где угодно. Он знает *всё* об этих вещах. Если это футбольный матч где-нибудь в Мельбурне — он знает там всех игроков, всех тренеров, все их победы и поражения за последние пять лет. При этом он равнодушен к спорту и не болеет ни за какую команду. Его интересуют только шансы той или иной команды на победу или поражение и, естественно, его собственные шансы на выигрыш.

— Он много проигрывает?

— Нет, как ни странно, не очень. Я знаю многих игроков, которые хвастаются своими выигрышами и умалчивают о проигрышах, но Харлан ничего не скрывает. Если бы он не выигрывал практически постоянно, даже если выигрыш не превышает поставленной суммы, он при его мании давно был бы нищим. Он способен не моргнув глазом поставить на кон десять тысяч долларов. Рисковать меньшими суммами ему скучно.

— Он, должно быть, очень страдает, когда проигрывает.

— Ещё как. Он рождается и умирает по пятьдесят раз в день.

Ширин улыбнулась.

— И вы правда не понимаете, что он в этом находит?

— Как сказать… Одно дело слышать об этом, другое — видеть собственными глазами. Он был женат; кажется, это длилось недели три. У него нет друзей, только букмекеры.

— Чем он зарабатывает на жизнь? Или он профессиональный игрок?

— Нет, он агент по недвижимости, специалист по коммерческой собственности. Целыми днями он на мобильной связи с клиентами и букмекерами, а ночью сидит перед телевизором, переключаясь с одного канала на другой и следя за матчами, на результаты которых он поставил. Если бы все матчи отменили на месяц, думаю, он слёг бы в больницу.

— В казино он тоже играет?

— Ах да, забыл. Казино — это в отпуске. Отпуск он проводит или в Лас-Вегасе, или в Атлантик-Сити. Казино тоже закрыть бы на месяц.

— Это ничего не изменит. Он найдёт, чем их заменить. Будет играть в орлянку в баре или в кости на улице. Будет ставить на прогноз погоды, на выборы, на марку машины, которая первой повернёт за угол, на число людей в лифте.

— Вы правы, конечно.

— Вы правда не замечаете, что вы с ним братья не только в биологическом смысле?

— Нет. А в каком ещё смысле, по-вашему?

— В чём корни одержимости вашего брата? Вы говорите, что он рождается и умирает по пятьдесят раз в день. Что он хочет *выяснить* таким образом?

— Он хочет так выяснить, *прав* ли он.

— Нет, дело совсем не в этом. Если вы спорите о том, какая река длиннее, Нил или Амазонка, тогда вопрос действительно в том, кто прав. Но если вы спорите, какой стороной упадёт монета, то вопрос здесь не в том, кто «прав». Вопрос здесь — на вашей ли стороне Вселенная. Если вы хотите, чтобы выпал орёл, и выпадает орёл, это не значит, что вы «правы», — это значит, что с вами Бог. Вы с тем же успехом могли поставить на решку, и, если Бог хочет, чтобы вы выиграли, то выпадет решка. Вот это и стремится выяснить всякий заядлый игрок: с ним ли Бог, или против него? Когда Харлан выигрывает, он чувствует себя божьим избранником, только что не святым, а когда день за днём проигрывает — для него это ночь души человеческой, знак того, что Бог покинул его.

— Хорошо, — сказал я. — Я понимаю, что вы имеете в виду. Помню, однажды мы играли в пятикарточный дро-покер, и мне при обмене досталась именно та карта, которой недоставало для внутреннего стрит-флеша. Получив ту карту, я испытал настоящий религиозный экстаз. Это можно было

сравнить с преображением. Мне казалось, что все сидевшие за столом ослепнут от божественного сияния, исходившего от меня.

— Вы в шутку назвали это религиозным экстазом?

— Совсем нет. Такого рода экстаз, кажется, называют океаническим. Я находился в состоянии космической трансцендентности. Я почувствовал в тот момент, что Вселенная *заметила меня*. Я ощутил соприкосновение с первоисточником смысла и бытия.

— Я полагаю, что это не был религиозный экстаз в христианском смысле слова?

— Нет, не в христианском.

— Океанический экстаз, который вы описали, часто называют источником религиозного рвения, но только Б связывает его вот с этой прогалиной и со следами жука и мыши на ней. Вот где мы сделали первые шаги за пределы возможного для любого другого существа на земле и определённо вторглись в чужие владения. Если представить, что эти владения вообще *кому-то* принадлежат, то кому?

— Должно быть, это владения богов.

— Подбросить монету и сделать ставку на орла — это вторгнуться во владения богов. Вытянуть карту, недостающую для стрит-флеша, — это вторгнуться во владения богов. Прочитать следы на этом клочке земли и отправиться по ним на охоту — это вторгнуться во владения богов. И когда монета падает орлом вверх, когда пятая карта образует ваш стрит-флеш, когда охота завершается успехом, тогда неважно, верите ли вы в одного бога, в тысячу богов, или не верите ни в одного, — вы знаете, что Вселенная заметила вас и что вы прикоснулись к первоисточнику смысла и бытия.

Священная гармоника

— Теперь вы понимаете — во всяком случае я надеюсь, что понимаете, — что я имела в виду, когда говорила вчера о

гармонике. Я сказала, что, когда ментальный процесс пересёк границу и стал человеческим мышлением, возможно, само мышление начало резонировать с гармоникой, соответствующей тому, что мы называем религией или осознанием духовного.

— Да. Вчера я не понимал, к чему вы об этом говорили. Я думал, что вам вряд ли удастся убедить меня в такой вещи.

— А теперь?

— Теперь это звучит логично. Человеческая мысль направлена в будущее, а будущее — это неизбежно владения богов. Пересекая границу, невозможно не встретить их.

— И вы теперь в состоянии понять универсальность опыта анимистов — понять, почему когда-то на этой планете существовала всемирная религия. Неважно, в каком месте вы пересечёте границу и встретите богов — опыт один и тот же. Африканский опыт не отличается от азиатского, европейского, австралийского или американского. Всякая охота начинается *здесь,* — она похлопала ладонью по земле, — и продолжается во владениях богов.

«Ближе к Природе»

Б попросила меня ещё раз описать наш бриколаж. Я взял его и задумчиво повертел в руках.

— Окаменелая раковина — это сообщество жизни, — сказал я. — Анимизм связан с сообществом жизни и резонирует с ним. Закон Жизни, представленный авторучкой, вписан в сообщество жизни, и анимизм читает этот закон, как своими методами делает и наука.

— Очень хорошо. Мы говорили о резонансе в двух случаях, не правда ли, Джаред? Человеческое мышление резонирует с гармоникой, соответствующей осознанию духовного, а анимизм резонирует с сообществом жизни. Какая здесь связь? Это два случая резонанса или только один резонанс?

— Я бы сказал, что это один и тот же резонанс.

— Один и тот же. И раз вы понимаете это, вы готовы сформулировать мировоззрение анимистов так же коротко и ясно, как вы сформулировали мировоззрение Берущих.

Сказав это, Б задумалась и через пару минут продолжила.

— Бывает, что приходится засыпать гравием выбоину на дороге, чтобы люди могли следовать в правильном направлении, а бывает, что приходится взрывать ответвление от дороги, чтобы они не пошли в ошибочном направлении. И, конечно, бывает, что приходится делать то и другое, как я сейчас с вами. Думаю, я начну со взрыва, хотя знаю, что у меня слишком мало динамита и времени, чтобы разрушить ответвление настолько, насколько хотелось бы.

Люди часто сворачивают на это ответвление, когда разговор заходит о Природе, которая воспринимается как комплекс процессов и явлений нечеловеческого мира или как сила, стоящая за этими процессами и явлениями. В представлении большинства людей, мы, Берущие, пытаемся «управлять» Природой, «отгораживаться» от Природы и жить «вопреки» Природе. Пока они остаются в плену у этих бессмысленных и обманчивых представлений, им не понять и малой доли того, что говорит Б.

Природа — это призрак, порождённый Великим Забвением, которое в конечном счёте сводится к забвению того факта, что мы такая же часть мировых процессов и явлений, как любые другие существа, и если бы вообще была такая вещь, как Природа, мы были бы такими же её частями, как белка, кальмар, комар или нарцисс.

Мы *не можем* отгородиться от Природы и жить вопреки ей. Отгородиться от Природы так же невозможно, как отгородиться от энтропии. Жить вопреки Природе так же невозможно, как жить вопреки гравитации. Наоборот, нам становится всё более и более очевидно, что мировые процессы и явления действуют на нас точно так же, как на все остальные существа. Наш образ жизни эволюционно неста-

билен, а следовательно, находится в совершенно естественном процессе самоуничтожения.

— Думаю, я это понимаю.

— Уверяю вас, даже понимая всё это, люди говорят: «И всё-таки, не кажется ли вам, что мы должны жить ближе к Природе?» Для меня это такой же нонсенс, как говорить, что мы должны жить ближе к углеродному циклу.

— Понимаю. С другой стороны, многим нравится проводить время на свежем воздухе.

— И прекрасно. Но они должны отдавать себе отчёт в том, что на лесной опушке они ничуть не «ближе к Природе», чем в зале кинотеатра.

Глазами оленя

— Никому не придёт в голову сказать, что утка или червяк живут «близко к Природе». Точно так же и наши предки-анимисты не жили «близко к Природе». Они были *частью* Природы — частью единого сообщества жизни. Они принадлежали к сообществу жизни так же всецело, как мотыльки, скунсы и ящерицы. Всецело и, можно даже сказать, бездумно. В том смысле, что они не придавали этому факту никакого значения, он был для них сам собой разумеющимся. То же самое можно сказать о сегодняшних Оставляющих. Они принадлежат к сообществу жизни не из принципа, не потому, что это «правильно» или «благородно», не потому, что это «хорошо для детей» или «хорошо для планеты». Я подчёркиваю это, поскольку не одобряю нынешнюю тенденцию идеализировать их. Это ничуть не лучше, чем демонизировать их, как делали наши прадеды. Они не нуждаются в идеализации. Да, их образ жизни лучше как для людей, так и для планеты, но они придерживаются его не потому, что он благороднее, а по самой веской причине в мире — потому что он им больше по душе, чем наш, и они предпочтут умереть, чем жить так, как мы.

Я кивнул в знак того, что внимательно слушаю.

— Жизнь в сообществе жизни даёт им то, что мы потеряли, — полное понимание нашего происхождения. В нашей культуре дети думают, что жизнь нам дают родители, а еда — это такая же производимая нами продукция, как краска, пластмасса или стекло. В культурах охотников-собирателей дети знают, что жизнь им дали не только родители. В точно такой же степени жизнь нам даёт всё живое, чем мы питаемся. Растения и животных можно считать «продукцией» не больше, чем нас, и, если мы живём на ладонях у бога, то и они тоже.

Она тряхнула головой, недовольная собственными словами.

— Некоторые вещи невозможно сформулировать прямо, Джаред. Я лучше скажу это Луису.

Она закрыла глаза.

— Люди, которые рассказали мне о Законе Жизни и которые дали ему это название, были из эскимосского племени ихалмиутов, жившего за полярным кругом в арктической Канаде. Их образ жизни был странным по нашим стандартам, но именно эта странность и облегчает его понимание. Ихалмиуты были Людьми Оленей. Они назывались так потому, что жили благодаря оленям. От оленей их жизнь зависела полностью, поскольку другие животные были редкостью, а растений, годящихся человеку в пищу, за полярным кругом практически нет. Нам трудно представить, как можно жить, питаясь одним только мясом — ни куска хлеба, ни плитки шоколада, ни бананов, ни персиков, ни зёрнышка кукурузы, — но они жили и были совершенно здоровы и счастливы.

Им никогда не приходилось объяснять своим детям, кто они и откуда, но если бы им пришлось, они сказали бы что-нибудь вроде следующего. «Мы понимаем, что вот вы смотрите на нас и называете нас мужчинами и женщинами, но мы такие только снаружи, на самом же деле мы не мужчины

и не женщины, а олени. Плоть, покрывающая наши кости, это плоть оленей, поскольку сделана из мяса оленей, которое мы едим. Глаза у нас на лице — это тоже глаза оленей, так что мы смотрим на мир их глазами и видим то, что могли бы видеть они. Огонь жизни, пылавший раньше в оленях, теперь пылает в нас, и мы живём их жизнью и ходим по их следам на ладони бога. Вот почему мы называемся Людьми Оленей. Олени нам не добыча и не собственность, они — это мы. Они — это мы на одном отрезке цикла жизни, а мы — это они на другом. Олени вам дважды родители, потому что ваши отец и мать — олени, и олени, которые сегодня отдали вам свою жизнь, они вам тоже отцы и матери, поскольку без них вас не было бы здесь».

Она открыла глаза и взглянула на меня, видимо, давая понять, что снова обращается ко мне, а не к Луису.

— Это осознание нашего родства со всеми остальными членами сообщества жизни лежит в основе мировоззрения анимистов, Джаред, хотя людям нашей культуры оно, естественно, кажется таинственным и невероятным. Желательно, чтобы каждый провёл некоторое время перед наскальными рисунками в пещерах позднего палеолита, и я не имею в виду их достоинства как произведений искусства. Они изумительны и великолепны, но у их авторов были не те же стремления, какие мы приписываем таким художникам, как Джотто, Эль Греко, Рембрандт, Гойя, Пикассо или де Кунинг. Нет также никаких причин полагать, что они должны были оказывать какую-то магическую помощь в охоте. При их изучении становится очевидным, что они служили *наглядными пособиями* для обучения охоте. Например, снова и снова, вместо того, чтобы изображать зверя целиком в профиль, художник поворачивает его лапы или копыта так, чтобы показать форму оставляемого им следа. В других случаях мы видим всего зверя целиком в одном ракурсе, а рядом или под ним — его отдельно нарисованные следы. И это повторяется снова, и

снова, и снова. Особое внимание уделяется звериным фекалиям и позам, которые зверь принимает, когда испражняется (вероятно, это выгодный момент для охотника). Звери часто изображаются валяющимися в траве или грязи, роющими копытами землю — всё это важные для охотника моменты. Рядом с рисунками зверей нередко изображены растения, которыми они питаются («нашёл растение — найдёшь и зверя»), хищники, которые на них охотятся («следуй за хищником — найдёшь и его добычу»), представители симбиотических видов («следуй за ласточкой — выйдешь к бизонам»). Разные звери порой объединены в группы по характерному для них мычанию или рёву. На многих рисунках показано, как распознать зверя, если он почти полностью заслонён скалой или высокой травой, — по рогам, по характерному загривку. Внимание уделяется сезонным изменениям поведения — «если лосось плещется вот так, где-то рядом мигрирует стадо оленей». Эти пещеры — не картинные галереи и не храмы шаманов, это учебные классы охотников, аналоги наших музеев науки и промышленности.

Попытавшись переварить всё это, я признался, что совершенно запутался.

— Вы представили эти пещеры так, будто их посещение убедит кого-то, что наши предки-охотники ощущали своё родство со всем остальным биологическим сообществом.

— И я развеиваю миф о каких бы то ни было магических аспектах наскальных рисунков.

— Это верно.

— И я настаиваю на своей рекомендации. Увидеть эти рисунки важно не из эстетических соображений, а чтобы почувствовать их «настроение». Охотники со всей очевидностью преклонялись перед животными, которых изображали, — испытывали благоговейный трепет перед ними, боготворили их, как люди нашей культуры боготворят кинозвёзд и выдающихся спортсменов. Чтобы изображать зверей так,

как они это делали, охотники должны были чувствовать родство с ними, идентифицировать себя с теми величественными созданиями, на которых они охотились. Но я вижу, что всё ещё не убедила вас. Трудно быть убедительной в отсутствие самих рисунков. Вы когда-нибудь видели репродукцию одного из них, известного под названием «Колдун»?

— Кажется, да, хотя я не помню его в деталях.

— Принято считать, что там изображён шаман в ритуальной маске, но нужно мыслить очень прямолинейно (и совсем не знать анатомию), чтобы воспринимать его так. У него оленьи рога и туловище оленя, львиные уши, лицо совы, конский хвост и конские же гениталии. И ничего похожего на маску. Я считаю, что его уникальность в палеолитическом искусстве заключается в том, что он не просто изображён на фоне окружающей его равнины. Он делает нечто такое, чего на тех рисунках не делает ни один человек и ни один зверь: с равнины, где он находится, он своими странными совиными глазами смотрит нам прямо в глаза. Обычно в кинематографе действует правило: актёр никогда не должен смотреть прямо в объектив камеры, потому что, если он это сделает, иллюзия его взаимодействия с другими персонажами на экране тут же разрушится. Посмотрев в камеру, он немедленно вступит во взаимодействие с *нами*. Человек-зверь на стене пещеры Труа-Фрер вне всяких сомнений взаимодействует с нами, за неимением текста графически говоря нам: «Вот, вы видите, кто я такой. Я не просто человек. Я никогда не был бы столь же прекрасен, будь я всего лишь человеком. Приглядитесь внимательнее, и вы увидите человека, коня, сову, льва и оленя. Я сочетаю в себе их всех, и приходилось ли вам видеть что-либо прекраснее?»

Я улыбнулся, пожал плечами и покачал головой.

— То, как вы это сказали, мне нравится больше самого рисунка.

Она в свою очередь пожала плечами.

— Лилиан Хеллман однажды сказала фразу, которая меня удивила: «Ничто из того, что я пишу, не получается так, как бы мне хотелось». Не уверена в точности цитаты, но она сказала примерно так. Меня это удивило, и я подумала: «Эй, вы же полностью контролируете то, что пишете. Тогда почему должно получаться не так, как вам хочется?» Я полагаю, всё дело в том, что мы ставим перед собой задачи, которые не под силу простому смертному. Нам хочется, чтобы земля задрожала, камни заплакали и небеса разверзлись. Только что я хотела сказать так для вас, но вижу, что не сумела.

На мгновение я подумал, что это типичное разочарование амбициозного человека. Потом вспомнил самого себя в юности. Мои собственные амбиции вряд ли были скромнее, но с годами иссохли и пригнулись к земле, а дожди и ветры времени и вовсе обратили их в прах.

Бескрайняя паутина

— Я обещала лишь в общих чертах рассказать вам об образе жизни Оставляющих, чтобы вы смогли сформулировать анимистическое мировоззрение так же просто, как вам удалось сформулировать наше собственное мировоззрение.

— Я помню.

— Я сказала, что вот эта маленькая прогалина перед нами является местом, откуда началось всё — человеческое мышление, осознание человеком духовного и вообще человеческая история. Я возвращалась к этой теме много раз, но не думаю, что хоть раз была с вами полностью откровенна. Мне не хватало смелости. Я не говорила вам всё, поскольку, мне кажется, несмотря ни на что, я опасаюсь высокомерных насмешек со стороны людей вашего типа.

Мне не хотелось спрашивать, к какому «типу» она относит меня (в этом, вероятно, и не было необходимости). Вместо этого я опрометчиво спросил её, видела ли она хоть раз, чтобы я над кем-либо насмехался.

— Боюсь, что не раз. Я знаю, что вы порой сами этого не замечаете, и знаю, что вы стараетесь сдерживать себя, но я также знаю, как это трудно для людей с вашей интеллектуальной и культурной индоктринированностью.

— Искренне сожалею, — неуверенно сказал я. — Правда.

— Я знаю. Чарлз это тоже знал. В противном случае вас не было бы здесь.

Поразмыслив над этим, я сказал:

— Мне кажется, если вы хотите, чтобы я сделал то, что вы хотите, чтобы я сделал, вам придётся сказать мне то, что вы не осмеливаетесь сказать.

— Вы правы, конечно, — сказала она. — И я знаю это.

— Скажите это Луису, если вам так легче. В некотором смысле так будет легче и мне.

— Хорошо, я так и сделаю, когда до этого дойдёт очередь, — сказала она. — А пока… Час назад, если вы помните, я сказала, что мы стали людьми, читая рассказы о событиях, написанные *здесь,* на ладони у бога. И я показала вам свою ладонь, вот так. Вы поняли, что я хотела этим сказать?

— Не уверен.

— Вы видите линии на моей ладони?

— Конечно.

— Я сравниваю их вон с *теми* следами. — Она указала на следы жука и мыши. — В обоих случаях это следы того, что здесь прошла жизнь. В моём представлении — и это не более чем моё личное представление — эти следы, вот здесь на ладони и вон там на земле, говорят нам о том, что мы живём на ладони у бога этого места.

Она протянула руку и указательным пальцем провела черту поперёк следа жука.

— Это след Ширин, — сказала она. — Как жук и мышь, однажды жила-была здесь и я. И если кто-то придёт сюда и увидит эти следы, он или она скажет: «Все трое в разное время побывали здесь, на ладони у бога. Их больше здесь нет,

но они по-прежнему на ладони у бога». Всякий след начинается и кончается на ладони у бога, и всякий след длится целую жизнь. Охотник и добыча при встрече стоят каждый на своих следах, и нет таких следов, которые, как бы долго они ни тянулись, выходили бы за пределы ладони бога. Все тропы пересекаются, образуя бескрайнюю паутину, и наши с вами тропы не шире и не уже, чем тропы жука или мыши. И все они связаны между собой.

Это вещи, которые я хотела бы сказать Луису. Мы путешествуем в компании других. Олень, заяц, бизон и перепёлка — впереди нас; лев, орёл, волк, гриф и гиена — позади нас. Все наши тропы вместе пролегают по ладони бога, и ни одна из них не шире и не уже другой, и ни одна не важнее любой другой. Червяк, ползущий у вас под ногой, точно так же следует своим путём по ладони бога, как вы — своим.

Помните, что ваши следы — это лишь одна нить в бескрайней паутине на ладони у бога. Они связаны со следами мыши в поле, орла на вершине горы, краба в расщелине скалы, ящерицы под камнем. Лист, упавший на землю за тысячу километров от вас, коснулся и вашей жизни. Каждый ваш шаг по земле отзывается в тысяче поколений.

В море травы

— Мои силы кончаются на сегодня, Джаред, но, прежде чем мы закончим, я хочу совершить с вами ещё одну прогулку в поле. Это будет воображаемая прогулка, так что вам не понадобится шляпа Натти Бампо. Где вы росли?

Я сказал, что в Огайо.

— Никогда не бывала, но вряд ли там всё отличается от Великих Равнин, где выросла я. Там не всё засеяно кукурузой даже сегодня. Приглашаю вас в места, где прошло моё детство, в нетронутые человеком равнины. Помню, подростком я смотрела по телевизору старый вестерн, который назывался «Море травы». Не помню, о чём он был. Помню

лишь сцену, где Спенсер Трейси смотрит на бескрайнее море травы, раскинувшееся от горизонта до горизонта, и ветер колышет траву и вздымает волны, как в настоящем море. Места, о которых я говорю, не были такими огромными, как в кино, но это были места такого же *рода*. Закройте глаза и постарайтесь представить такое место.

Важно, чтобы вы представляли его заросшим не травой, Джаред. Вместо травы представьте оленей, бизонов, овец, цикад, кротов, зайцев. Протяните руку и возьмите горсть. Давайте-давайте, это же мысленно. Взяли? Это мышь. У всех мышей, буйволов, газелей, гусей и жуков внутри пылает огонь травы, Джаред. Трава им мать и отец, как и их детям.

Трава и кузнечик — это одно целое. Кузнечик и воробей — одно целое. Воробей и лиса — одно целое. Лиса и гриф — одно целое. Одно, Джаред. И имя ему — огонь. Сегодня он пылает стебельком в поле, завтра — зайцем в его норе, послезавтра — одиннадцатилетней девочкой по имени Ширин.

Гриф — это лиса, лиса — кузнечик, кузнечик — заяц, заяц — девочка, девочка — трава. Все вместе мы жизнь этого места, неотличимые друг от друга, передающие друг другу эстафету огня, и огонь этот — бог. Не Бог с большой буквы, а один из богов с маленькой. Не творец Вселенной, а тот, кто наполняет жизнью данное конкретное место. Каждому даётся его миг в этом пламени, Джаред, после чего нужно передать свою искру другому, чтобы пламя не угасало никогда. Никто не вправе жить вечно, никто не вправе отказаться вернуться искрой в общее пламя — никто, кем бы он ни был. Я точно не вправе, несмотря на весь мой гигантский интеллект. Каждая — каждая! — искра однажды передаётся другому. Вы переданы как искры, Джаред и Луис. Вы оба в пути. Я тоже передана — волку, ягуару, грифу, жукам, травам. Я передана им всем. Я передана, и я благодарю вас всех, травы во всех ваших формах, — огонь во всех твоих формах, — воробьи, зайцы, комары, бабочки, лососи и гремучие змеи, за то, что

делитесь собой со мной на это время, и я возвращаю всё это, до последнего атома, сполна, и признательна за этот долг.

Моя смерть станет жизнью другого, Джаред, клянусь вам. Вы сможете убедиться в этом, когда придёте сюда и встретите меня снова, потому что я буду стоять вот здесь, в виде этой травы. Вы узнаете меня, когда я взгляну на вас глазами лисы, когда орлом взлечу в небеса и когда поскачу, оставляя за собой оленьи следы.

Тайны

— Это наше тайное учение, Джаред. Я знаю, Чарлз говорил вам, что тайное учение — это то, которое учителю очень трудно передать другим. Теперь вы понимаете, почему?

— Да.

— Оставляющие в разных концах света пытались передать вам это знание на протяжении веков, но оно так и осталось для вас тайным. Конечно, *мы* не скрываем его, ни в коей мере. У нас нет ничего общего с масонами высших степеней, тамплиерами или ку-клукс-клановцами, которые при закрытых дверях шёпотом делятся тайнами с теми, кто дал клятву хранить молчание. Где люди ведут себя так, можете быть уверены, их секреты либо не стоят выеденного яйца, либо это простые факты вроде того, где Союзники собирались высадиться в конце Второй мировой войны. Настоящие тайны можно хранить, напечатав их крупными буквами на рекламных щитах.

К этому времени мы уже шагали обратно к машине.

Б сказала:

— В начале сегодняшнего разговора вы предложили такую формулировку мировоззрения Берущих: «*Мир был сотворён для человека, а человек — чтобы покорить его и править им*». Достаточно ли я объяснила вам, чтобы вы могли сформулировать мировоззрение Оставляющих, или анимистов?

— Думаю, да.

Мы продолжали идти, и, к счастью, она не торопила меня. Наконец, когда вдали показалась улица, я остановился и сказал:

— Это лучшее, что я могу сказать. Пока мне это не кажется достаточно элегантным.

— Земля не задрожит?

— Нет. И камни не зарыдают, и небеса не разверзнутся.

— Я понимаю вас, Джаред, правда.

— Мир — это священное место и священный процесс, — сказал я, — и мы его часть.

— Блестяще, Джаред. Просто и по существу. Это то, что понимали и продолжают понимать в среде Оставляющих. Повсюду в мире жили люди, для которых само собой разумелось, что мир — это священное место и что мы неотделимы от этого священного места так же, как все прочие существа на планете.

Улыбнувшись, она окинула взглядом парк, словно прощаясь с ним, затем, всё с той же улыбкой, взглянула на меня.

— Быть может, *однажды* кто-то сумеет сказать это так, чтобы задрожала земля.

Раковина

На полдороге к отелю я сказал:

— Вы обещали объяснить, что Чарлз имел в виду, когда дал мне эту окаменелую раковину.

— Ах да.

Проехав ещё пару кварталов, она остановила машину у тротуара.

— Чарлз лучше меня разбирался в этом аспекте вещей. Он усадил бы вас рядом на том клочке земли и *показал,* как прошлое, настоящее и будущее связаны воедино. Он показал бы вам, как можно действительно читать будущее по следам, которые вы там видели. Никакой магии. Как я сказала, мы постоянно читаем будущее. Он любил повторять, что тяга

к охоте сохранилась в нас по настоящее время, она лишь нашла другой объект — загадочную историю, где в игру вступают все классические таланты: наблюдательность, рассудительность, умение прогнозировать, хитрость, скрытность и осторожность.

— Какое отношение это имеет к раковине?

— Где она?

Я достал из кармана раковину и передал ей.

— Я полагаю, он собирался спросить вас о будущем этой раковины, которая по меньше мере на шестьдесят миллионов лет старше человечества. О её прошлом вы знаете массу всего. А что вы знаете о её будущем?

— Ничего. Совершенно.

Она засмеялась и тряхнула головой.

— Уверена, что такого ответа он и ожидал.

— Я тоже, — сказал я слегка обиженным тоном.

— Пойдёмте, — сказала она, выходя из машины.

Достав из багажника монтировку, она дала её мне.

— Что я должен ей сделать?

Она отошла в сторону и села на бордюр. Когда я сел рядом, она положила раковину между нами и сказала, чтобы я разбил её вдребезги.

— Я не сделаю этого, — сказал я.

— Давайте-давайте.

— Нет, — упрямо ответил я. — Зачем её разбивать?

— Я хочу показать вам, как читать будущее, — сказала она, как мне показалось, с иронией в голосе.

Я взял раковину, положил монтировку на место в багажник и сел обратно в машину.

— У Чарлза получилось бы лучше, — сказала она, когда мы снова тронулись в путь. — Я должна была доходчивей объяснить вам смысл этого упражнения.

Я недовольно хмыкнул.

— У Чарлза вы бы разбили эту штуковину.

— Ещё чего! — не придумав ничего лучшего, сказал я.

Б рассмеялась. Для меня, влюблённого в неё по уши, её смех звучал как соловьиная трель.

В отеле

Я сказал Б не ждать меня сегодня вечером в театре, что и хорошо, потому что вышеизложенное я закончил писать лишь к одиннадцати часам.

Сейчас спущусь в бар, закажу двойную порцию виски и целый час не буду ни о чём думать. Потом лягу в постель и в кои веки просплю всю ночь, как все нормальные люди. Завтра вечером Ширин впервые выступит перед публикой в качестве Б. Очень волнуюсь за неё.


часть
третья

ГЛАВА 18

Без даты

Мне говорят, что я в больнице.

Мне говорят, что я здесь уже трое суток.

Мне говорят, что я контужен.

Мне говорят, что боль от ушиба рёбер сильнее, чем от перелома.

Мне говорят, что я выжил при взрыве.

Мне говорят, что взорвался театр.

Мне говорят, что причина взрыва не установлена.

Мне говорят, что театр погребён под горой обломков.

Мне говорят, что причиной взрыва была, вероятно, утечка газа.

Мне говорят, что это случилось около шести часов вечера.

Мне говорят, что театр в то время был пуст.

Мне говорят, что никто никогда не жил там.

Мне говорят, что это нелепая идея.

Мне говорят, что никто не будет копаться в этой горе обломков.

Мне говорят, что никаких трупов не обнаружено.

Мне говорят, что никто не заявлял о пропавших людях.

Мне говорят, что никто ко мне не приходил.

Мне говорят, что никто не звонил, за исключением отца Лалфра.

Мне говорят, что я разговаривал с ним на следующий день после взрыва.

Мне говорят, что я забыл об этом из-за контузии.
Мне говорят, что я разговаривал с ним вчера.
Мне говорят, что я забыл об этом из-за контузии.
Мне говорят, что это состояние «скорее всего» пройдёт.
Мне говорят, что, возможно, позднее я вспомню взрыв.
Мне говорят, что, возможно, я никогда не вспомню взрыв.
Мне говорят, что я полечу домой, как только достаточно окрепну.
Мне говорят, что я достаточно окрепну послезавтра.
Мне говорят, что все мои вещи лежат в камере хранения.
Мне говорят, что их привезли из моего номера в отеле.
Мне говорят, что все мои записные книжки сохранились.
Мне говорят, что я не должен открывать их сейчас.
Мне говорят, что я не должен сейчас делать записей.
Мне говорят, что я должен сейчас избегать волнений.
Мне говорят, что сейчас я не должен ни о чём беспокоиться.
Мне говорят, что сейчас я не должен ни о чём думать.
Мне говорят, что сейчас я должен отдыхать.
Мне говорят, что я должен смотреть на вещи проще.
Мне говорят, что пора делать укол.
Я говорю, что мне нужно вести дневник.
Мне говорят, что дневник никуда не денется.
Я говорю, что мне нужно вспомнить, что я туда записал.
Мне говорят, что к моему пробуждению дневник будет здесь.
Мне делают укол.
Я начинаю смотреть на вещи проще.

Без даты

Похоже, это действительно писал я.

Без даты

Я, Джаред Осборн, пишу это для Джареда Осборна потому, что, когда я просыпаюсь среди ночи (а у меня, кажется, есть такая привычка), я не понимаю, где, чёрт возьми, нахожусь.

Предыдущие страницы, начиная со слов «Мне говорят, что я в больнице», тоже написаны мной на случай, если я проснусь среди ночи и не смогу вспомнить, что я что-то писал, как не вспомню и что писал *это,* когда в следующий раз проснусь среди ночи и увижу этот дневник на столике у кровати.

Без даты

Это контузия. Вот что ты должен зарубить себе на носу. У тебя контузия, и на некоторое время у твоей долговременной памяти обеденный перерыв. Мы, все Джареды, которые пишут и читают этот дневник, надеемся, что это лишь «на некоторое время». Врачи, которые каждый день терпеливо повторяют нам свои имена, а мы каждый день их опять забываем, уверяют нас, что это, по всей вероятности, временное явление.

31 мая

Похоже, я сплю страшно много. Понятия не имею по сколько часов или даже дней. Теперь, просыпаясь, я автоматически тянусь за этим дневником. Я не помню, что в нём записано, но помню, что в нём есть ответы.

Как бы то ни было, тешу себя надеждой на то, что, даже если моя долговременная память не восстановится никогда, этот дневник выполнит функцию своего рода кумулятивной записи. За последний час у меня накопилась масса информации, и я должен изложить её здесь.

Начну с того, что я снова в Соединённых Штатах. (Мне всё ещё хочется говорить «мы», подразумевая Джареда, который пишет сейчас вот это, и всех остальных Джаредов, которые позднее будут это читать.) Я нахожусь в учреждении, которое на жаргоне семинаристов называют «подсобным хозяйством». Это куда тебя отправляют «отдохнуть», если тебе нужно прийти в себя после долговременного запоя или отсидеться, пока стихнут слишком уже громкие слухи

о тебе и алтарных мальчиках. Такие «хозяйства» есть у всех больших орденов, у некоторых даже по несколько, строго специализированных. В прошлом их называли пенитенциариями, но это в прошлом; теперь они называются «центрами уединения». Этот расположен в деревенской глуши, в ста пятидесяти километрах от Сент-Джеромса.

Я узнал это, подняв трубку телефона, стоящего на моём прикроватном столике. Похоже, я без конца это делаю. Ответивший мне молодой человек по имени Тим (не знаю, насколько он молод, но голос у него молодой) посоветовал, чтобы я перечитал записи в моём дневнике. Я сказал, что уже сделал это. Тогда он сказал, где я нахожусь, что я здесь уже двое суток и что сейчас два часа ночи (видимо, я всегда звоню в это время), 31 мая.

То, что он называет «несчастным случаем», произошло «примерно неделю назад». Если он говорит правду, то взрыв должен был произойти в субботу — день, на который планировалось выступление Ширин в театре. Но это не могло случиться в субботу в свете того, что «мне сказали» и что я записал в самом начале, видимо, ещё в Раденау. Если бы это случилось в пятницу, то меня бы там не было, поскольку я собирался всю ночь спать в отеле после того, как провёл день с Б в парке. Следовательно, я делаю вывод, что это, вероятно, случилось в воскресенье.

Тим ничего не знает о взрыве, кроме того, что меня вытащили из-под обломков и что мне крупно повезло остаться в живых.

Я спросил его, как выйти на внешнюю линию, но он ответил, что на это нужно разрешение доктора Эмерсона. Я сказал, что хочу позвонить матери и сообщить, что со мной всё в порядке, но он ответил, что на это нужно разрешение доктора Эмерсона. Я спросил, какого рода пациентов содержат в этом отделении, но он сказал, что на такие вопросы может ответить только доктор Эмерсон. Я спросил, может ли он

прислать кого-то, с кем я мог бы поговорить, и он ответил, что сейчас середина ночи и что он сам пришёл бы, но он на дежурстве и не может оставить свой пост. Я спросил, не могу ли я прийти к нему, но он сказал, что вряд ли это хорошая идея в ночное время, зато он будет рад говорить со мной сколько угодно по телефону.

Я спросил его, является ли это учреждение больницей в обычном смысле слова, и он ответил, что нет, не совсем, потому что здесь никто не страдает от болезней, вы знаете, таких как рак, пневмония или аппендицит. Это скорее как дом престарелых, сказал он.

Я спросил, может ли он позвонить от моего имени, и он ответил, что только с разрешения доктора Эмерсона. Я спросил, приходил ли кто-нибудь ко мне за то время, что я здесь, и он уверенно сказал, что нет. Я спросил, ожидаются ли какие-то посетители, и он ответил, что это возможно, но он непременно будет поставлен об этом в известность заранее. Я спросил, спрашивал ли кто-нибудь обо мне, и он ответил, что да, люди звонят каждый день и интересуются моим самочувствием. Я спросил, что это за люди, но он сказал, что не знает. Я выразил своё удивление тем, что меня вывезли из Германии.

Он сказал:

— Вы знаете, вы были вполне транспортабельны. Вы только всё время всё забываете. Как сейчас. Вы задаёте вполне осмысленные вопросы, но, проснувшись на следующее утро, не помните, что задавали их. Вы не сошли с ума, ничего в этом роде, вы просто всё забываете. Как, например, вы забыли, что мы ведём этот разговор уже третий раз.

— Мы уже три раза говорили обо всём этом?

— Два раза прошлой ночью, и вот теперь третий.

— Надеюсь, я не забуду на этот раз.

— Отлично, будем надеяться. Правда, вы так сказали и в прошлый раз.

Я сказал, что возьму нитку и завяжу узелок на пальце. Он засмеялся. Но он не знал самое смешное: у меня уже есть узелок на пальце.

ГЛАВА 19

Суббота, 1 июня

Утро

Как бы то ни было раньше, на этот раз, проснувшись утром, я помнил свой разговор с Тимом. Из моей памяти выпала ровно неделя, с точностью почти до одного часа.

Мне пришлось дожидаться полудня, чтобы увидеться с доктором Эмерсоном, который оказался в точности таким, каким я его представлял и каким, полагаю, и должен быть руководитель такого рода учреждения — в достаточном возрасте, чтобы внушать доверие, но не пожилым, не апатичным, не флегматичным, не твердолобым, не бесчувственным, а вполне дружелюбным и готовым помочь.

Я сказал, что хотел бы поговорить с отцом Лалфром, и с удивлением узнал, что отца Лалфра ожидают в центре сегодня к ужину.

Как и Тим, доктор Эмерсон ничего не знал о «происшествии». Я попросил разрешения позвонить в Германию. Он поинтересовался, с кем я хочу там связаться. К этому вопросу я был готов, и вручил ему лист бумаги с тремя именами. К моему собственному удивлению, оказалось, что я не знаю фамилию Ширин. Официально нас друг другу не представляли, а спросить мне не пришло в голову. Я знаю фамилию Майкла, но только на слух, Дершински, хотя письменно это с равной вероятностью может быть и Дзержински или Дюржински. Фрау Хартманн без имени разыскать было

практически невозможно. Поэтому в список я внёс только трёх человек: Монику и Хайнца Тейтелей и Густла Майера, хозяина лавки всякой «списанной» всячины (*Überbleibselen*).

Доктор Эмерсон бросил взгляд на список и заметил, что в Германии сейчас, должно быть, глубокая ночь.

— Нет, там сейчас только вечер, лучшее время для звонка.

— Вы достаточно владеете немецким, чтобы объясниться с телефонисткой?

Когда я ответил, что нет, он сделал совершенно потрясшую меня вещь: без малейших колебаний снял телефонную трубку и начал нажимать кнопки. В течение минуты у него были код Германии и код Раденау, после чего он не терпящим возражений тоном попросил найти ему англоговорящую телефонистку. Записав номера, телефонистка предложила соединить его с ними немедленно. Доктор Эмерсон предложил начать с Густла Майера. Когда там никто не ответил, телефонистка соединила нас с Тейтелями. Ответила женщина, и доктор Эмерсон спросил, зовут ли её Моника Тейтель. Ответ, очевидно, был утвердительным, потому что доктор Эмерсон передал трубку мне.

— Моника, это вы? — спросил я. — Это отец Джаред Осборн. Мы встречались в подвале театра…

— А, да, — сказала она. — Что вы хотите?

Это звучало не очень-то дружелюбно.

— Я звоню из Соединённых Штатов, — сказал я. — Вы знаете, я выжил при взрыве…

— Да?

— Моника, я пытаюсь узнать, что произошло.

— Театр взорвался.

— Я знаю, я был там, но меня ударило по голове и я ничего не помню. Я хочу выяснить, находился ли кто-то в подвале…

На другом конце линии бросили трубку.

Я прождал целую минуту, пока трубку не сняли снова.

— Все погибли, — сказала Моника.

— Что? Нет!

— Я спрашивала у Хайнца, и он сказал, что погибли все.

— Но мне сказали, что театр был пуст!

Она сказала что-то неразборчивое, и в трубке раздался мужской голос. Это был Хайнц.

— Что вы хотите? — спросил он. — Все погибли.

— Нет! Хайнц, мне сказали, что театр был пуст.

— Кто вам это сказал?

— Мне это сказали в больнице. Они сказали, что никто не искал погибших, поскольку театр был пуст.

— *Ja, so.* Вам сказали.

— Вы *уверены,* что Ширин была там?

Я услышал, как Хайнц и Моника переговариваются между собой.

— Я кладу трубку, — сказал Хайнц.

— Нет, подождите! Вы можете сказать мне фамилию Ширин? Вы знаете её фамилию?

Немного подумав, Хайнц сказал:

— Вам полагалось бы тоже быть там.

И положил трубку.

После обеда

Следующие три часа я провёл в постели. Нет необходимости излагать здесь мысли, которые меня мучили.

Около четырёх часов кто-то постучал в мою дверь, вошёл и развязным тоном представился отцом Джо. Он спросил, не возражаю ли я против того, чтобы завтра отслужить мессу в капелле.

— Что? — переспросил я.

— Завтра воскресенье, отец мой, — сказал он. — Я полагаю, вы можете отслужить мессу.

— Я *не буду* служить мессу, — ответил я.

Отец Джо мгновенно исчез, как кукла на ниточках, которую резко убрали со сцены.

Хотя бы это было урегулировано. Я достиг пятидесятой ступени потери веры и даже перешагнул её.

Вечер

Тим, мой полуночный наперсник, оказался коренным американцем с комплекцией борца сумо. Это его летняя подработка. В остальное время он учится в двухгодичном колледже неподалёку. Я был страшно голоден, поскольку не ел целый день, и Тим проводил меня в столовую. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что я не выдержу там и минуты в моём нынешнем состоянии — слишком яркое освещение и слишком много оживлённо болтавших людей, уже жадно впившихся в меня взглядами как в потенциального собеседника.

Я вернулся к Тиму и спросил, не могут ли мне принести ужин в палату. Конечно, ответил он, нет ничего проще.

Я сказал, что ожидаю посетителя из Сент-Джеромса по имени отец Лалфр. Тим спросил, каким транспортом он приедет. Я сказал, что, вероятно, на автомобиле.

Тим покопался в бумагах и спросил, останется ли он на ночь.

— Думаю, да.

Он покачал головой и сказал:

— Вряд ли. Нас обычно предупреждают об этих вещах, а у меня здесь ни слова об отце Лалфре.

— Его ожидают к ужину.

Тим пожал плечами и повторил, что вряд ли.

Я вернулся в палату и, не зная, чем заняться в ожидании подноса с ужином, решил провести инвентаризацию своих вещей с целью выяснить, какие из них улетели на юг, пока я летел на запад. К моему удивлению, всё до последней мелочи было на месте, даже паспорт. Отсутствовал, правда, бумажник со всеми моими наличными и кредитными карточками. Я позвонил Тиму, и он подтвердил мою догадку, что

бумажник сдан на хранение в дирекцию, «по соображениям безопасности».

Особый интерес представлял для меня диктофон, в котором кассета была прокручена примерно на час вперёд. Поужинав и вернув поднос, я перемотал плёнку и, мысленно скрестив пальцы и затаив дыхание, нажал кнопку воспроизведения. Первые же секунды оправдали мои надежды — это была запись лекции Ширин в театре 25 мая. Я остановил плёнку и подумал, что, если Хайнц Тейтель был прав, то это были последние слова, которые я слышал от неё. От этой мысли мне стало не по себе. Я снова нажал кнопку и начал слушать.*

Следуя своей обычной практике не записывать вступительные обзоры предыдущих лекций, я, естественно, включил диктофон в середине выступления. Трудно передать, что я чувствовал, когда услышал, о чём она говорит. Она наконец-то свела всё воедино. Я понятия не имел, как эта лекция называлась «официально», но понимал, что вариант у названия мог быть только один: «Великое Вспоминание». Она сдержала своё обещание, и мне теперь оставалось найти ответы всего примерно на миллион вопросов.

Но одна вещь мне, наконец, стала ясной без тени сомнения: почему как Чарлз, так и Ширин отказывались сформулировать аргументы в свою защиту от обвинения в том, что Б — Антихрист. Мне стало стыдно, что я оказался таким тугодумом и вовремя не прислушался ни к их словам, ни к словам отца Лалфра. Как бы то ни было, я в конце концов понял, почему, когда я сказал, что Б кажется мне безобидным, отец Лалфр ответил: «Этого не может быть».

Отец Лалфр был прав.

Я сделал письменную копию выступления. В обстановке такой неопределённости не может быть лишних предосторожностей.

---

* Текст этой лекции приведён в главе 29 — «Великое Вспоминание».

Отец Лалфр, очевидно, сегодня вечером так и не приехал или приехал поздно и сразу лёг спать.

Три часа ночи

Наконец, я понял, почему не могу уснуть. Мне нужно научиться мыслить, как мыслит преступник в бегах. Я слишком пассивен и доверчив. Два часа я ворочался, пытаясь понять в чём дело, а всё объяснялось просто: моё положение близко к катастрофическому.

Не знаю, почему отец Лалфр не приехал сегодня, но я чертовски рад, что он не приехал, потому что не может быть места хуже, чем это, для объяснения с ним. При желании он может запереть меня здесь и выбросить ключ. Я должен *сейчас же* бежать отсюда и попытаться перехватить его в более подходящем месте. Возможно, в этом здании где-то есть крыло со строгим режимом охраны, но, к счастью, это не моё крыло. Думаю, я могу улизнуть отсюда с минимумом необходимого (диктофон, записные книжки, плёнки и паспорт), но шансов преодолеть полторы сотни километров с пустыми карманами, прямо скажем, не очень много. Нужно попробовать уговорить Тима извлечь из моего бумажника в сейфе хотя бы одну кредитную карточку.

ГЛАВА 20

Понедельник, 3 июня

Беглец на высоте 10 000 метров

Сказано — сделано. Полёт до Гамбурга достаточно долог, чтобы выспаться и занести в дневник последние события. Сижу в уютном и просторном кресле первого класса, поскольку других свободных мест на этот рейс не было. Лаврентианцы разницу не заметят, да и почему бы им не выдать отступнику выходное пособие в виде карточки «Виза»?

Тим оказался уступчивым, хотя уговаривать его пришлось без малого два часа. Я, может быть, не всегда быстро соображаю, но никто ещё не упрекал меня в неумении убеждать. Я даже попытался выклянчить у него ключи от его машины, но на это он уже не пошёл.

Ещё два часа ушло на ловлю попутки, но и это в конце концов удалось. Священник должен уметь выглядеть невинным и безобидным. Такое умение оказывается очень кстати, когда стоишь на дороге с поднятой рукой (серийные убийцы это хорошо знают). А добравшись до банкомата, я и вовсе ощутил себя свободным как птица.

В одиннадцать часов утра я уже входил в кабинет отца Лалфра. Слава Богу, он был на месте и даже в той же позе, в какой я оставил его почти месяц назад. Надо сказать, что я опасался не застать его на работе в воскресный день.

Оторвав глаза от бумаг на письменном столе, он взглянул на меня с нескрываемым удивлением.

— Вам не стоило приезжать, Джаред. Я планировал навестить вас сегодня.

Но он ошибочно оценил ситуацию, если подумал, что через забор я полез от нетерпения увидеться с ним.

— Я пришёл внести ясность, отец Лалфр.

Он надел колпачок на ручку и отложил её в сторону — неторопливый, хорошо отработанный жест.

— Внести ясность? Вы выражаетесь, как герой мелодрамы прошлого века.

— Прошлой эпохи, — сказал я, садясь. — Но от мелодрамы действительно что-то есть.

— Во что вы хотите внести ясность?

— Я скажу вам то, что я помню, а вы мне расскажете остальное.

— Хорошо.

— Мне сказали, что я, может быть, вспомню, а может быть, и не вспомню взрыв, но пока я помню только слабую вспышку. Некоторое время я думал, что это фрагмент какого-то из моих снов. Возможно, что так и есть, но всё-таки вряд ли. Вам известно расположение помещений в театре?

— Да.

— Это ваш человек в Раденау нарисовал его вам?

Отец Лалфр кивнул, затем добавил:

— Наш человек в Европе, если быть точным.

— Тот пожилой мужчина, который представился мне герром Райхманном?

— Он.

— Почему вы мне не сказали, что у вас на месте уже кто-то есть?

Он пожал плечами.

— Всегда лучше, чтобы человек думал, что вся надежда на него одного.

— Тогда зачем он звонил мне со своими дурацкими инструкциями?

— От нетерпения. Профессионалов всегда раздражает медлительность дилетантов. Вы это знаете.

Я тряхнул головой.

— Зачем вы вообще отправили меня?

— Мы вас отправили по тем причинам, которые я вам изложил.

Он принуждённо улыбнулся.

— Хорошо, *не только* по тем. Под своим настоящим именем Райхманн управляет вполне респектабельными конторами в Берлине, Праге и Париже, где представляет интересы дюжины разных компаний и лиц, главным образом американских. Он очень полезный и опытный человек, и девяносто девять процентов заданий, которые мы ему поручаем, это рутина, никому не причиняющая вреда. Но когда мы попросили его присмотреться к Чарлзу Эттерли, он отреагировал на него неожиданным для нас образом. Он сказал: «Я совершенно не понимаю, о чём талдычет этот паршивец. Давайте я просто пристрелю его, и дело с концом». Что бы вы ни думали о нас после того ужаса, который вы пережили, Джаред, абсолютно никто не отнёсся к его предложению всерьёз. Мы сочли целесообразным отправить кого-нибудь из наших посмотреть на этого Эттерли, и, поверьте, мы были бы очень рады, если бы вы убедили нас в его безобидности.

— Но мне это не удалось.

— На самом деле от вас уже ничего не зависело. Он сам вынес себе приговор в лекциях, которые вы нам переслали по факсу.

— И вы дали добро на его убийство?

Он пожал плечами.

— Вы очень хорошо сказали, Джаред: эти дни по-прежнему те дни. Ничего не изменилось за последние пятьсот лет, ни за последнюю тысячу лет, кроме того, что еретиков больше нельзя казнить. Я отношусь ко всему этому так же серьёзно, как папа Иннокентий III, который был инициатором кре-

стового похода против альбигойцев. Я отношусь ко всему этому так же серьёзно, как Пий V, который, будучи великим инквизитором, был инициатором истребления тысяч протестантов на юге Италии. Я отношусь ко всему этому так же серьёзно, как Фома Аквинский, который сказал: «Если фальшивомонетчиков и прочих злодеев по справедливости наказывают смертью, то ещё справедливее будет умерщвлять еретиков». Фома Аквинский обосновывал это тем, что, если убийца укорачивает и без того короткую земную жизнь своих сограждан, то еретик лишает их *вечной* жизни. Если вы больше не понимаете, в чём здесь разница, или если она для вас больше не имеет значения, то, я полагаю, вы потеряли веру.

— Вы полагаете правильно, отец мой. Боюсь, что так и случилось.

— Мне очень жаль это слышать, — сказал он, и было видно, что ему действительно жаль.

— Поскольку вы процитировали меня насчёт этих дней и тех дней, я полагаю, что это неугомонный герр Райхманн подорвал театр.

— Конечно. Необходимость этого была очевидна. Эттерли и его адепты были слишком уверены в своей неуязвимости и намеревались продолжать свою подрывную деятельность ещё очень долго. К счастью, они были слишком беспечны для конспираторов.

— Вы были в курсе, что они начали вербовать меня?

— Да. Это был неожиданный бонус для нас, и вы повели себя наилучшим образом.

— За исключением того, что в итоге они меня в самом деле завербовали.

— Да, за исключением этого.

Он на мгновение насупился, затем снова взглянул на меня.

— Так вы говорите, что помните взрыв?

— Я сказал, что помню слабую вспышку. Я смотрю из колодца вверх и вижу герра Райхманна, который сверху

заглядывает в колодец, и наши взгляды встречаются. Думаю, это была винтовая лестница в театре.

— Верно. Это всё, что вы помните?

Я кивнул.

— Я не знаю точно, как всё там происходило. По словам Райхманна, вы столкнулись с ним на лестнице за несколько секунд до того, как бомба должна была взорваться. Очевидно, вы догадались, что его появление не сулит ничего хорошего, и пытаться уговорить вас покинуть театр вместе с ним было бы пустой тратой времени, поэтому, когда вы развернулись, чтобы побежать вниз предупредить остальных, он ударил вас кулаком и бросил на произвол судьбы. Его удар фактически спас вам жизнь, поскольку чугунная лестница оказалась единственной конструкцией, которая выдержала и взрыв, и обрушение крыши.

— Но вы не уверены, что всё случилось именно так?

— Так могло случиться. Версия Райхманна — это всё, что я знаю, и я не располагаю фактами, которые ставили бы её под сомнение.

Оставался только один вопрос, который я откладывал напоследок, поскольку боялся его задать.

— Райхманн сказал вам, кто находился в театре, когда он рухнул?

— Он сказал, что накрыло всех.

Я глядел на него в ожидании уточнений.

— Дословно он сказал так: «Узкий круг уничтожен».

— Все остальные считают, что театр был пуст, — сказал я.

Отец Лалфр пожал плечами.

— Одного он всё-таки упустил — меня.

Он покачал головой.

— Джаред, вы знаете, насколько я вас ценю, но для революционера вам не хватает харизматичности.

— О революции речи нет.

Он снова пожал плечами.

— Вы знаете, я никак не могу понять, почему Б решил приостановить все свои выступления ради того, чтобы заняться мной. А после гибели Чарлза в этом стало ещё меньше смысла. Вы понимаете, о чём я говорю?

— Откровенно говоря, нет. В чём стало меньше смысла после гибели Чарлза?

— В том, что Б продолжала посвящать мне так много времени.

Отец Лалфр начал было говорить, что совершенно не понимает, о чём я говорю, но затем его лицо озарилось догадкой.

— Вы говорите о той женщине … Шэрон?

— Ширин, — сказал я. — Ширин — это Б.

— Я думал, что Чарлз был Б.

— Чарлз *был* Б. Ширин сменила его в этом качестве.

Он тряхнул своей массивной головой, будто отгоняя назойливую муху.

— Б сочла необходимым уделить мне достаточно времени, чтобы и в самом худшем случае вам сообщили, что вы потерпели неудачу.

— Вы выражаетесь слишком запутанно для моих старых мозгов, Джаред. В каком «самом худшем» случае?

— В случае убийства и Чарлза, и Ширин.

— В случае убийства и Чарлза, и Ширин я всё равно потерпел неудачу?

— Да. Потому что вы не убили *меня*. Неважно, что я не харизматичный революционер. Я — Б.

— Вы — Б? Вы сами-то в это верите?

— Это не вопрос веры, отец мой. Я больше не тот человек, который сидел перед вами три с половиной недели назад, и вам не под силу вернуть меня в прежнее состояние.

Отец Лалфр подался вперёд, наконец заинтересовавшись мной.

— И вы всерьёз думаете, что это имеет значение, Джаред? Вы думаете, что что-то изменится, раз это вы теперь Б?

— О да, — сказал я, вставая. — Это даже не вопрос. Это факт.

— Не знаю, смеяться мне или дрожать от страха, Джаред. Но если бы у меня в ящике стола сейчас лежал револьвер, я бы вынул его и пустил вам пулю в лоб, просто на всякий случай.

— Вы правда сделали бы это?

— Да, сделал бы. Вы помните последнюю лекцию вашей подруги Ширин в театре неделю назад? Или тоже забыли, вместе со взрывом?

— Забыл, но вчера прослушал плёнку с записью.

— Я не знал, что у вас сохранилась запись, — нахмурившись, сказал он. — Как бы то ни было, Райхманн тоже записал её на плёнку и прокрутил мне по телефону. Вот это и… — он развёл руками.

— Это и решило её судьбу, — продолжил я за него.

— Вот-вот. Вы знаете, Джаред, она объяснила мне лучше любого адвоката экуменизма, почему мы — содружество. Мы — это христиане, евреи, мусульмане, буддисты, индусы. Мы выкарабкались из слизи, в которой с таким гордым видом ползает анимизм. Мы представляем собой самое возвышенное, самое прогрессивное, трансцендентное и совершенное, что есть в человечестве. Между членами содружества существуют лишь мелкие расхождения, а между содружеством и анимизмом — пропасть, такая же широкая, как между человеком и животным, духом и материей.

— Согласен.

— Что вы намерены теперь делать?

Я вынул из кармана диктофон и показал, что он работает в режиме записи.

— Первым делом найду укромное место для этой плёнки, отец мой. Вы назвали нас слишком беспечными для конспираторов, но вы и сами довольно неосторожны.

— Вы совершенно правы, Джаред. Мы с вами не обучены

смотреть на мир с подозрением. Но вы ведь не понесёте это в полицию?

— Ни в коем случае. Это гарантия моей безопасности, по меньшей мере пока вы живы. Стоит плёнке оказаться в полиции, и она больше ничего не сможет мне гарантировать.

Он кивнул.

— Да, в ваших интересах спрятать её в очень-преочень укромном месте.

Я вышел, и, поскольку момент показался мне подходящим для расставания с излишней беспечностью, повернулся к отцу Лалфру спиной уже за порогом, закрывая за собой дверь.

ГЛАВА 21

Вторник, 4 июня

Снова в Раденау

В отеле мне достался мой прежний номер, и в этом есть что-то зловещее. Дежурный администратор встретил меня без малейшего удивления и даже позволил себе выразить надежду, что я вполне оправился от «неприятного происшествия», в котором меня чуть было не разорвало на куски.

Я приехал достаточно рано, чтобы проделать кое-какую подготовительную работу. С собой у меня было лишь самое необходимое — комплект нижнего белья и набор для бритья. Я провёл некоторое время в библиотеке, листая телефонные справочники, после чего разместил в местной газете довольно крупное объявление, где просил Ширин или Майкла связаться со мной. Оплату в газете принимали, естественно, только наличными, поэтому завтра мне предстоит проверить, не потерял ли волшебный кусочек пластмассы свою способность сотворять из воздуха деньги, если всунуть его в щёлку банкомата.

Работа с телефонными справочниками дала результат — мне удалось найти фрау Хартманн, которая сказала, что мне следует отрезать голову и бросить её собакам и что даже если бы Майкл и Ширин были живы, она и под пыткой не помогла бы мне разыскать их, поскольку, по её мнению, и без суда ясно, что в их убийстве виноват я. В связи с этим, я полагаю, фрау Хартманн можно вычеркнуть из списка моих помощников.

Я нашёл с полдюжины людей по имени Майкл и с фамилией, близкой к «Дершински», и обзвонил их. Ещё дюжина живёт к северу вплоть до Гамбурга и к югу до Ганновера, а если искать и в восточном направлении, включая Берлин, то это займёт меня до глубокой осени.

Сейчас восемь вечера, и я выбиваюсь из сил. Но нужно как можно дольше не ложиться спать, чтобы мои биологические часы настроились на местное время.

По правде сказать, я не очень уверен в целесообразности своего нахождения здесь. Насколько я сам себя понимаю, я хочу доказать, что герр Райхманн и Хайнц Тейтель неправы — узкий круг не уничтожен. Но я не знаю, как нужно действовать. Нельзя же всерьёз рассчитывать, что городские власти дадут указание переворошить миллион тонн обломков, чтобы удостовериться в том, в чём они и так совершенно уверены. Что ещё? Тейтели вряд ли будут доброжелательнее при личной встрече, чем они были по телефону. Можно найти клинику, где лечится Ширин, но поверят ли мне, если я спрошу в администрации её адрес и телефон, представившись близким другом, который даже не знает её фамилию? Конечно, нет. Остаётся, разве что, сесть на ступенях перед отелем и ждать, пока она сама не возникнет на горизонте.

Ничего более рационального придумать сейчас не могу. Пока биоритмы после перелёта не придут в норму, бесполезно даже пытаться думать.

ГЛАВА 22

Среда, 5 июня

Пластмассовая смерть

Сегодня утром нашёл банкомат, всунул карточку и узнал, что больше не существую. Карточка аннулирована и лишилась своей магической силы. Можно считать, что мне ещё повезло: сделай они это на день раньше, карточка отказала бы при регистрации в отеле.

Выходов было два: сдать обратный билет и получить за него наличные или позвонить матери и попросить в долг. Я решил сдать билет.

Затем нужно было придумать, как быть с отелем. Пока я не попытаюсь воспользоваться там карточкой ещё раз, всё должно быть в порядке — у них вряд ли возникнут какие-то подозрения, поскольку при регистрации карточка действовала. Лаврентианцы наверняка выругаются, получив счёт, но мою совесть это ничуть не тревожит.

Поскольку офиса в Раденау у авиакомпании нет, пришлось ехать в Гамбург, что я и сделал без промедления. Вернулся к шести часам и, пропустив обед, намеревался пойти поужинать.

Когда я шёл к себе в номер, чтобы принять душ, дежурный администратор окликнул меня и сообщил, что оплата по карточке всё-таки не прошла. Я был им должен не за один день, а сразу за два, поскольку не освободил номер сегодня в полдень. И, конечно, отныне я могу расплачиваться

только наличными, если планирую остаться в отеле и после завтрашнего полудня. Я выложил на стойку почти половину своего состояния и сказал, что подумаю.

Такие дела.

ГЛАВА 23

Суббота, 8 июня

Прогулка

В четверг в одиннадцать утра я с вещичками в пластиковом пакете пополнил ряды бездомных. Зайдя в кафе, заказал чашку кофе с круасаном и стал думать, как теперь быть. Можно подыскать какую-нибудь недорогую комнату, а можно ограничиться и скамейкой в парке.

Я отправился к развалинам театра. Вокруг было сверхъестественно чисто, а сами развалины аккуратно обнесены забором высотой больше двух метров. На стенах соседних домов не было ни царапины. Компании, которая занимается здесь сносом старых домов, полагалась бы премия за такую чистую работу. Верхняя часть чугунной лестницы торчала из обломков, как мачта затонувшей шхуны. Общее впечатление не было ни волнующим, ни наводящим на размышления — никаким. Постояв перед забором минут пять, я ушёл.

Нанёс визит Густлу Майеру в его лавку всякой экзотической всячины. Он встретил меня вежливо, даже с симпатией, но помочь ничем не мог. Вторую половину дня я провёл в библиотеке в поисках новых вариантов написания фамилии Дершински. С новым списком телефонов решил вернуться утром в лавку Густла Майера и попросить разрешения воспользоваться его телефоном.

Зашёл в отель спросить не откликнулся ли кто-нибудь на моё объявление. Нет, никто.

Вечер застал меня в размышлениях за пиццей и пивом. Когда стало совсем темно, отправился в путь. Дорогу я помнил лишь в общих чертах. Ориентируюсь я обычно неплохо, но, если и не найду то, что нужно, с первой попытки — ничего страшного. Чего-чего, а времени у меня в избытке.

Я шагал и шагал, чувствуя, как ноги начинают деревенеть, и вскоре начал различать знакомые очертания зданий и запахи. Несмотря на безрадостность окружавшего меня пейзажа, настроение у меня было приподнятое. Я входил в самый мрачный из пригородов, в район фабричных цехов, мастерских, кирпичных заводов и товарных складов, населённый в такой час лишь ночными сторожами и сторожевыми собаками. Наконец, я заметил прямо перед собой низкое, не поддающееся описанию строение, нечто вроде сарая, втиснутого между товарным складом и сортировочной станцией, и направился к нему в надежде, что дверь не заперта. Дверь открылась легко, и мне в лёгкие хлынул сигаретный дым вперемешку с запахом виски, а в уши — «Жизнь в розовом цвете». Это была «Маленькая Богемия», и, видит Бог, я почувствовал себя дома.

Альбрехт

Я пробрался к столику в глубине зала, у самой стены, сплошь увешанной рисунками и гравюрами в рамках и за стёклами, которые не протирали уже лет двадцать. Когда я сел, передо мной на уровне глаз оказался потемневший от времени карандашный портрет Игоря Стравинского, подписанный, как мне показалось, самим Пикассо. В остальном всё выглядело так, будто никто не двинулся с места с тех пор, как мы с Чарлзом вышли отсюда три недели назад.

К столику подошла та же официантка, и я спросил, не ошибаюсь ли я, что её зовут Теда.

— Не ошибаетесь, — с улыбкой сказала она. — «Лагавулин», как обычно?

— Мне, пожалуйста, самую дешёвую отраву, какая у вас есть, Теда, — сказал я, но, когда через пару минут она вернулась с моим стаканом, бьюсь об заклад, что на вкус это был «Лагавулин».

Кто-то что-то сказал мне на ухо. Я поднял глаза, но не сразу узнал говорившего. Это был Альбрехт, юный гений, вечно ухмыляющийся двадцатилетний англичанин, предлагавший утопить меня в озере, когда я впервые спустился в подвал театра.

— Что? — переспросил я.

— Это вы теперь Б? — повторил он с ухмылкой.

Я не знал что ответить. Мне слишком редко приходилось иметь дело с враждебно настроенными людьми, чтобы научиться разговаривать с ними. Одни священники умеют это делать, другие нет. Но азбучные знания на этот счёт у меня всё же есть.

— Почему бы вам не присесть и не объяснить, что именно вы имеете в виду? — предложил я.

— Вопрос слишком труден для вас?

— Да, труден, — признался я.

Довольный своей маленькой победой, он сел напротив.

— Почему вы спросили меня об этом?

— Вас на это натаскивали, не правда ли? Это подходящее слово, «натаскивали»?

— Слово такое, конечно, есть, но мне никто не говорил, что меня «натаскивают».

Он презрительно пожал плечами.

— Я больше не священник, — сказал я, чем заслужил удивлённый взгляд. — В разговоре с человеком, который направил меня сюда, отцом Лалфром, я сказал, что убивать Б было совершенно бессмысленно, потому что Б по-прежнему жив, в моём лице, но я никоим образом не имел в виду, что готов продолжить там, где остановилась Ширин. Кстати, я отдал запись того разговора на хранение другу, иначе за

мной начали бы охотиться и, возможно, сейчас меня уже не было бы в живых.

Альбрехт явно опешил и начал моргать. Я спросил, можно ли считать, что я ответил на его вопрос. Это было ошибкой, потому что он тотчас снова почувствовал себя хозяином положения.

— Охотиться могут за кем угодно, — сказал он. — Вопрос не в этом, а в том, способны ли вы делать то, что делали Б?

— Что конкретно вы имеете в виду?

— Вы усвоили часть их мудрости, но есть ли у вас ваша собственная? Вы мыслитель и учитель или способны лишь цитировать писание? Если всё, что вы можете, это петь заученные псалмы, то вы такой же Б, как я. Вы просто алтарный мальчик, вызубривший чужие слова.

Я отхлебнул из стакана и мысленно пожелал этому юнцу провалиться сквозь землю. Наконец, я сказал:

— Альбрехт, последние десять дней были довольно трудными для меня, поэтому совершенно верно, что я не добавил ни единого слова к учению Б. Способен ли я добавить, это другой вопрос. Как бы то ни было, вы абсолютно правы: если всё, что я могу, это петь псалмы, которым меня научили Чарлз и Ширин, тогда я и в самом деле не более чем алтарный мальчик.

Альбрехт ухмыльнулся.

— Но сами вы так не думаете, не правда ли?

— Я действительно так не думаю, но у меня и не было возможности испытать себя тем или иным образом.

— Хотите получить такую возможность?

Что я мог на это ответить? Нет?

Испытание

— Люди нашей культуры воображают, что мы изобрели технологию, сельское хозяйство, законы и, конечно, цивилизацию, — сказал Альбрехт. — Но в нашем активе есть и

значительно менее славные достижения. Какие из них вы назвали бы?

— Я думаю, на нашем счету и такие вещи, как нищета, преступность, дискриминация, как расовая, так и социальная, — сказал я. — То, что Ширин называла «страдающими классами», тоже наша работа. Политические преследования. Психические заболевания.

— Вы забыли о самом главном из всех, отец мой.

— Я больше не «отец». Зовите меня просто Джаред.

— Хорошо.

— Самым крупным из всех может быть только … война.

— Конечно. Война — это вне всяких сомнений самое крупное бедствие, которое мы принесли в этот мир, не правда ли?

— Да.

Альбрехт с отвращением покачал головой.

— Мне вас жаль, Джаред. Вы даже на секунду не сомневаетесь, не задумываетесь над тем, что Матушка Культура шепчет вам на ухо. Вы всё ещё в плену у Великого Забвения.

— Послушайте, Альбрехт, давайте не будем переходить на личности, ладно? Я не претендую на знание всего, что знали Чарлз и Ширин, и даже всего, что знаете вы. Что вы хотите мне сказать? Что война не наше изобретение?

— Конечно. Войны были и бывают не только в нашей безумной культуре. Они случались и случаются повсюду, где есть человеческая культура. Так было в прошлом и так продолжается в настоящем. Миф о миролюбивых и благородных дикарях — это именно и не более чем миф.

— Хорошо. И что?

Альбрехт поднялся.

— Вас больно слушать, Джаред. Не говорите никому, что вы Б, хотя бы в этом городе. Если я это услышу, то приду и выставлю вас на посмешище, обещаю вам.

— Сядьте. Пожалуйста.

Он сел.

— Пожалуйста, поймите, я не претендую на лавры эксперта по части истории или антропологии. Надеюсь, что когда-нибудь стану им, но до тех пор — я искренне не понимаю, что вы имеете в виду.

— Тогда почему вы не спросите?

— Я спрашиваю.

— Отцы-основатели нашей культуры воображали, что люди появились на этой планете одновременно с нашей культурой, то есть всего несколько тысяч лет назад. Следовательно, раньше той эпохи какие-либо сведения о человеческой жизни искать вроде как бесполезно. До той эпохи ничего не было, пустота. Таким образом, они посмотрели в прошлое и увидели, что человек, только появившись, сразу занялся сельским хозяйством и начал строить цивилизацию. Они решили, что в этом и природа человека, и его судьба. И этому мы учим наших детей. Род человеческий появился для того, чтобы стать *нами*. Разве не этому мы их учим?

— Да.

— Б пытался показать вам абсурдность этого учения, сняв с вас чёрные очки Великого Забвения. Он пытался показать вам, что до рождения нашей культуры не было никакой пустоты. Он пытался показать вам, что наша культура не возникла в необитаемом мире, в мире без религии и законов. Религия и законы существовали на протяжении сотен тысяч, если не миллионов лет, если не с самого зарождения человеческой жизни.

— Я понимаю.

— Правда? Вы понимаете, что религия и законы существовали сотни тысяч лет назад?

— Да.

— Тогда и с войнами то же самое, Джаред. Объясните.

— Объясните, — беспомощно повторил я.

— Вы считаете, что войны — это ещё одно доказательство врождённой порочности нашей натуры, Джаред? Вот в

этом и состоит всё ваше объяснение? Мы что, от рождения любим убивать?

— Нет.

— Ваше «нет» — это выражение веры или констатация факта?

— В данный момент это выражение веры, но я надеюсь трансформировать это в констатацию факта.

— Отлично. Трансформируйте. Снимите чёрные очки Великого Забвения и объясните. Или, ради Бога, перестаньте называть себя Б. Езжайте обратно в свой уютный приходик и извинитесь за временное отсутствие.

Мне стало страшно. Потом я подумал, что не может же он ожидать, что я сделаю это прямо сейчас, сходу, без размышлений. Но он ждал именно этого.

— Если вы предпочитаете стать Б как-нибудь в другой раз, Джаред, то не стесняйтесь, а так и скажите. Скажите, что вы поставили себе цель когда-нибудь стать Б. И идите себе домой.

— Но я уверен, что даже Б не взялся бы отвечать на новый для него вопрос сидя в таверне, без единого справочника, без хотя бы самой общей энциклопедии.

— Я буду вашей энциклопедией. Или, если вам нужны книги о доисторических войнах, я могу принести их сюда через полчаса.

— Значит, вы уже знаете ответ на ваш вопрос.

— Вовсе нет. Те книги не были написаны людьми с менталитетом Б. Они были написаны людьми, всем сердцем верившими, что Бог сотворил человека, чтобы он покорил мир и правил им. Доисторические войны выводят их из себя. Они не объясняют их, они сожалеют о них. Они в замешательстве, потому что существо, которому самим Богом назначено быть правителем мира, должно было быть лучше, благороднее, ближе к идеалу.

— Да, понимаю… Верно ли будет предположить, что доис-

торические войны были аналогичны вооружённым конфликтам, которые мы порой наблюдаем между племенными народами в наше время?

Он тряхнул головой, презрительно.

— Или вы умеете сами снимать чёрные очки, или не умеете, Джаред. Не ждите, что я сделаю это за вас. Я к вашим услугам, если вам потребуется энциклопедия, но не просите, чтобы я и думал за вас.

Он встал и вернулся за свой столик в другом конце зала.

Я вздохнул с облегчением. Он был прав: или я умею сам снимать чёрные очки, или не умею, но это легче делать наедине, чем в компании. Я позвал Теду и заказал ещё виски.

Поднятую Альбрехтом тему я ни разу не обсуждал ни с Чарлзом, ни с Ширин, хотя она беззвучно присутствовала во всём, что они говорили. Откуда мы знаем, что современные племенные народы живут так же, как жили древние племенные народы? Б ответил бы так: раз племенной образ жизни существует до наших дней, значит, он выдержал испытание временем. До нашей эпохи дожило только то, что обладало наилучшими качествами для выживания, стабильными качествами, оптимальными качествами. Неудачные эксперименты остаются в прошлом, а удачные повторяются вновь и вновь. Глупо предполагать, будто зимняя спячка — это что-то относительно новое в жизни медведей, хотя обратное доказать невозможно. Медведи спят зимой потому, что это наилучшим образом служит им. Столь же глупо предполагать, будто миграция — это что-то относительно новое для птиц, хотя обратное доказать невозможно. Птицы мигрируют потому, что это наилучшим образом служит им. Глупо предполагать, будто плетение паутины — это что-то относительно новое для пауков, хотя обратное доказать невозможно. Пауки плетут паутину потому, что это наилучшим образом служит им.

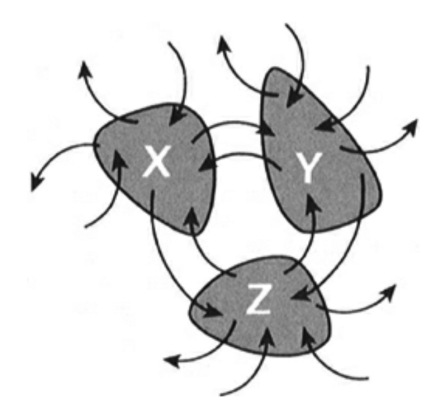
Представьте, что вы вернулись на миллион лет назад. Вы же не ожидаете увидеть там медведей, плетущих паутину,

птиц, впадающих зимой в спячку, или пауков, дважды в год мигрирующих за тысячи километров. Медведи в наше время впадают в зимнюю спячку потому, что зимняя спячка, по всей вероятности, наилучшим образом служила им и миллион лет назад. Птицы в наше время мигрируют потому, что миграция, по всей вероятности, наилучшим образом служила им и миллион лет назад. И пауки в наше время плетут паутину потому, что плетение паутины, по всей вероятности, наилучшим образом служило им и миллион лет назад. Поскольку люди не были сотворены каким-то особым образом, а развивались в том же сообществе жизни, что и все остальные биологические виды, к ним применима та же логика, что и к медведям, птицам и паукам. Мы точно знаем, что тоталитарное сельское хозяйство возникло относительно недавно, но нет совершенно никаких причин полагать, что и племенной образ жизни возник недавно. Люди в наше время живут племенами потому, что, по всей вероятности, племенной образ жизни наилучшим образом служил им и миллион лет назад.

Я спросил себя, что мне известно о войне в *нечеловеческих* сообществах, и ответил так: самые близкие аналоги войны в нечеловеческих сообществах встречаются исключительно *внутри* биологических видов, никогда не *между* видами. Птицы не воюют с червяками, лягушки не воюют с комарами, орлы не воюют с зайцами, львы не воюют с антилопами. Хищники не воюют со своей добычей, они просто убивают и съедают её. Битвы случаются только между животными одного вида — за территорию или возможность воспроизводства, — и никто не считает это признаком их «порочности», никто не мечтает о «светлом будущем», когда животные научатся жить вместе, как Бэмби и Топотун.

В нечеловеческом сообществе тот, кто победил в битве, обычно овладевает территорией или самкой. Войны между племенами не имеют с этим ничего общего. (Альбрехт, как

ходячая библиотека, подтвердил это.) Племена, живущие в том или ином регионе, более-менее постоянно «вполсилы» воюют друг с другом, но, когда племя X нападает на племя Y, оно обычно не захватывает территорию или женщин противника, оно лишь наносит ему определённый материальный ущерб и уходит домой. Через некоторое время, тоже обычно, племя Y аналогичным образом наносит племени X «визит вежливости» — тоже причиняет определённый материальный ущерб и уходит домой. Это не значит, что племена X и Y находятся друг с другом в каких-то особенно плохих отношениях. То же самое более-менее регулярно происходит между племенами X и Z, Y и Z, и каждое из них так же «вполсилы» враждебно ведёт себя с другими своими соседями.



Что характерно, члены этих племён не считают, что у них какие-то «проблемы» с соседями. Что характерно, никто не «борется за мир». Что характерно, никто не видит ничего плохого или предосудительного в таком образе жизни. Не менее характерно, что в племени X не думают, что их жизнь стала бы лучше, если бы однажды они пошли и поубивали всех своих соседей, — они знают, что дальние соседи не были бы дружелюбнее ближних. На самом деле всё отнюдь

не так плохо. Бывает, проходят целые годы, когда ни X не нападает на Y, ни Y на X, и в эти периоды отношения между ними вполне сердечные.

Б здесь должен спросить: «Что в этой системе наилучшим образом служит каждому племени?» или «Что в этой системе такого хорошего, что она существует уже сотни тысяч лет?»

Эта система обеспечивает сохранность культурного самосознания членов каждого племени и незыблемость границ их культуры. Когда племя X нападает на племя Y, оно не ущемляет культурное самосознание членов племени Y и не пытается изменить границы их культуры, оно лишь наносит определённый материальный ущерб, после чего возвращается домой. Племя Y действует точно так же, когда нападает на племя X. Иными словами, каждое нападение является демонстрацией и утверждением культурного самосознания с обеих сторон: «Мы — X, а вы — Y, а вот граница между нами. Мы пересекаем её на свой страх и риск, а вы — на ваш. Мы знаем, что вы сильны и здоровы. Время от времени мы считаем нужным напомнить вам, что мы тоже сильны и здоровы. Мы знаем, что, если мы нападём на вас, нам это будет дорого стоить. Мы хотим, чтобы и вы знали, что, если вы нападёте на нас, вам это будет стоить не менее дорого».

Кто-то, конечно, скажет, что должна же быть система получше, но, если тысячи столетий культурных экспериментов не ликвидировали эту систему, то что такое «лучше»? Эволюция — это процесс отбора *оптимального*. А «лучше» быстро оказывается «хуже», если оно не оптимально.

Оптимальность *культурного разнообразия* очевидна. В этом нет ничего удивительного. Если рассматривать культуру как биологический феномен, то можно только и ожидать превосходства разнообразия над однообразием. Тысяча вариантов — по одному для каждой местной специфики и ситуации — всегда лучше, чем один вариант для всех местных специфик и ситуаций. У птиц больше шансов на

выживание при десяти тысячах вариантов конструкции гнёзд, чем при одном. У млекопитающих больше шансов на выживание при десяти тысячах вариантов организации их сообществ, чем при одном. И у людей больше шансов на выживание при десятках тысяч культур, чем при одной, — что мы и доказываем на практике прямо сейчас. Сейчас мы в процессе превращения мира в непригодное для нашей же жизни место, и происходит так именно потому, что мы навязываем всем один-единственный образ жизни. Если бы только один человек из десяти тысяч жил так, как сегодня живём мы все, никакой проблемы не было бы. Проблема возникает, когда только одному человеку из десяти тысяч позволено жить *иначе,* чем живём мы все. В мире десятка тысяч культур одна культура может быть совершенно безумной и деструктивной, и вреда от неё будет мало. В мире одной культуры, совершенно безумной и деструктивной, катастрофы не избежать.

Итак. Племенные войны — случайные, кратковременные, «вполсилы» и частые — служили племенным народам наилучшим образом потому, что обеспечивали сохранность культурного разнообразия. Жизнь при такой системе не была ни безмятежной, ни идиллической, ни идеальной, но эта система лучше любой другой отвечала своему назначению и потому существовала сотни тысяч, а может быть, миллионы лет.

Обломки

Сидя в «Маленькой Богемии» и медленно напиваясь, я не сформулировал всё это так складно и аккуратно, как изложено здесь, и я определённо не предлагаю считать это окончательным вариантом моих размышлений. Сняв чёрные очки Великого Забвения, я смог разглядеть едва заметную тропинку там, где до этого были непроходимые заросли. Я никоим образом не исследовал ту тропинку до самого конца.

В этом, я думаю, и состоит роль Б — открывать тропы для исследования.

Альбрехт был вынужден согласиться. Он явно был изумлён и нехотя признал, что мой анализ вопроса — это анализ на уровне Б.

Я был доволен и сам удивлён. Как я раньше не понимал, что нуждался в таком испытании? Как смел я думать, что могу надеть на себя мантию Б, не доказав сначала, что она мне по плечу?

Я был доволен, удивлён и — очень, очень пьян. Я принял вызов Альбрехта часов в девять, а теперь было около двух. Народу в «Маленькой Богемии» заметно поубавилось, и, что интересно, многие пересели поближе к нашему столику послушать, как Альбрехт меня экзаменует. Трудно сказать, насколько они понимали то, что я говорил, но слушали они оживлённо, улыбались, аплодировали удачным формулировкам, переглядывались, одобрительно кивая, и в большинстве своём поздравляли меня с успехом. Горящих свечей на столиках стало меньше, и зал почти полностью погрузился во мрак.

— А это что за штука? — спросил кто-то.

Сам того не заметив, я достал из кармана окаменелую раковину и вертел её в руках, когда отвечал на вопрос Альбрехта. Теперь она лежала на столике рядом со свечкой.

— Это ещё одно выпавшее мне испытание, и я его ещё не прошёл. Это окаменелые останки существа, жившего, возможно, около четырехсот миллионов лет назад. Меня заверили, что эта раковина хранит в себе сведения о прошлом, настоящем и будущем. Можно рассматривать её как след, оставленный в пыли. По следу в пыли можно узнать не только то, где оставившее его существо было в прошлом, но и где оно сейчас, и где окажется в будущем.

— И вы должны предсказать будущее этой раковины? — спросил кто-то другой из мрака.

— Не уверен. Эту раковину дал мне Чарлз Эттерли, но он был убит раньше, чем успел объяснить, зачем он мне её дал. Ширин хотела, чтобы я разбил её вдребезги.

— Почему?

— Честно говоря, не помню.

К этому моменту уже не только память начинала ускользать от меня.

— Б оставил вам записку внутри, — предположил кто-то. — Вроде бумажки с предсказанием судьбы в китайском печенье. Вот почему вы должны её разбить.

— Оттуда ничего нельзя вынуть, — растерянно сказал я. — Это сплошная окаменелость.

— Б нашёл бы способ всунуть туда записку.

Несколько невидимых слушателей согласились с этим предположением.

Прежде чем я успел осознать, что происходит, образовалась партия в поддержку идеи разбить раковину. Несколько рук вытянули меня из-за стола и вынесли на улицу, где я оказался в центре небольшой, но сплочённой пьяной толпы. Я не имел ни малейшего представления, куда мы идём и почему вообще нужно куда-то идти. Не знаю, кто шёл во главе, но, похоже, они что-то искали — что-то или какое-то место.

Мы остановились так же внезапно, как тронулись в путь, и шедшие сзади по инерции навалились на нас, как это делают клоуны в цирке. Кто-то из лидеров обернулся ко мне и, сунув мне в руки кирпич, сказал:

— Вот!

— Ведите его сюда! — крикнул кто-то другой.

Толпа расступилась, образовав коридор, и меня подвели к штабелю кирпича шириной и высотой с бильярдный стол.

— Бей! — скомандовал кто-то. — Посмотрим, что там внутри!

— Там ничего нет! — возразил я.

— Дай мне! — сказал другой. — Я разобью.

Я прижал раковину к груди, но кто-то толкнул меня в спину.

— Бей!

Тон был уже не очень-то дружелюбным.

Шагнув вплотную к кирпичному штабелю, я повернулся к толпе лицом и твёрдо сказал:

— Я не буду её разбивать.

Толпа замерла как от выстрела в воздух. Затем кто-то в заднем ряду сказал озадаченным тоном:

— Разве Ширин не сказала ему разбить эту штуку?

Вперёд выступил мужчина внушительного роста.

— Вы трус? — спросил он.

— Нет, не думаю.

— Тогда чего вы боитесь? Раковина сама по себе не представляет никакой ценности.

— Он в целом не трус, Гюнтер, — сказала женщина из заднего ряда, — но он боится, а вдруг там и правда записка.

Двое в толпе заговорили одновременно.

— О чём записка? — спросил один.

— Чего он боится? — спросил другой.

Верзила по имени Гюнтер подошёл ко мне вплотную и сказал почти доверительным тоном:

— Вы не можете просто так отказаться это сделать, Джаред. Чарлз дал вам раковину с каким-то умыслом, а Ширин хотела, чтобы вы разбили её и так узнали, в чём был тот умысел. Поэтому вы должны разбить её. Иначе этот период вашей жизни останется незавершённым и неразгаданным.

Я знал, что он прав, и понимал, что мне в любом случае не унести отсюда раковину в целости и сохранности, поэтому, заглушив в себе остатки сомнений, я положил раковину на штабель и разбил вдребезги. Не успел я собраться с мыслями, как Гюнтер подобрал с земли клочок бумаги, накрыл им обломки раковины и сжал руку в кулак.

— Отдайте! — закричал я.

— Внутри же ничего нет, — серьёзным тоном сказал он, удаляясь. — Это же сплошная окаменелость.

Остальные смеялись, и кто-то сказал:

— Не обращайте внимания, Гюнтер просто валяет дурака. Это фокус, ловкость рук. Он любит доставать монеты у людей из ушей.

Услышав это, Гюнтер, не замедляя шаг и не оборачиваясь, бросил комок бумаги через плечо. Сидевшая на соседнем штабеле женщина спрыгнула на землю и подобрала его. Шоу закончилось так же внезапно, как началось, и толпа стала медленно расходиться. Лишь женщина, подобравшая комок бумаги, вернулась на свой штабель. Я чувствовал себя отвратительно.

— Вы, вероятно, не помните меня, — сказала она. — Я сидела рядом с Ширин в первую ночь, когда вы спустились в подвал. Меня зовут Бонни.

— Я помню вас, Бонни, просто не узнал сразу. Вы стали как будто старше.

— Я и есть старше, — сказала она, очень серьёзно.

Некоторое время мы молча разглядывали друг друга.

— Ширин не возлагала на вас больших надежд, — сказала она.

— Во всяком случае первое время.

Бонни пожала плечами, явно не приняв во внимание моё уточнение.

— Она считала, что вы слишком… неповоротливы.

Я задумался над разными значениями этого слова, как, очевидно, и Бонни, потому что она поспешила добавить:

— Не отклоняетесь от однажды взятого курса.

Я кивнул.

— Как, например, сейчас. Вы разбили раковину и даже не хотите взглянуть на то, что от неё осталось.

Я нехотя посмотрел на обломки раковины, лежавшие кучкой на штабеле кирпичей.

— Бонни, это лишь карбонат кальция, ничего больше.

— Да, это она и имела в виду. Она ожидала, что вы так скажете.

Проклятье. Сегодня все будто сговорились сажать меня в лужу на каждом шагу. Тяжело вздохнув, я вновь посмотрел на обломки и не столько увидел, сколько почувствовал, как Бонни слегка отстранилась, чтобы не загораживать и без того тусклый свет фонарей.

Что я должен здесь увидеть? И что вообще в этом можно увидеть? Или — *как* я должен на это смотреть? Что Ширин сказала о раковине? Я не был уверен, что помню, но её слова внезапно всплыли в памяти сами собой. Она сказала: «Я хочу показать вам, как читать будущее». Затем добавила, что Чарлз сделал бы это лучше и что цель упражнения ещё нуждается в более «доходчивом» объяснении.

Она хотела показать мне, как читать будущее. Я закрыл глаза и попытался представить, что она могла бы сказать. Какие её слова в данном случае не удивили бы меня?

Вдруг я услышал её голос:

— Вселенная — это единое целое, Джаред.

Фраза прозвучала так явственно, что я открыл глаза в слабой надежде увидеть её рядом, но рядом была только Бонни, сидевшая на штабеле кирпича и смотревшая в звёздное небо. Я снова закрыл глаза и подумал: «Итак, Вселенная — это единое целое. О чём это говорит в данном конкретном случае?»

Я мысленно предоставил слово Ширин.

— Это говорит о том, что траектория полёта гуся в Скандинавии имеет какое-то отношение к человеку, умирающему в больнице в Нью-Джерси, но нужно крепко подумать, чтобы разобраться, какое именно. Это говорит о том, что эта окаменелая раковина возрастом в двести миллионов лет имеет какое-то отношение к Джареду Осборну. Над этим тоже придётся хорошо поразмыслить. Считается, что такого рода размышления под силу лишь прорицателям, Джаред,

но научиться им может каждый. Прорицатель — это тот же следопыт, но он читает следы событий и выясняет, как они связаны между собой. Подумайте, чего вам хочется прямо сейчас? Что вы ищете?

Это было легко.

— Я ищу *вас!*

— Ваш поиск начинается с этой раковины, Джаред. Вы легко могли предсказать её будущее, когда я попросила вас об этом, но вы не отважились даже попробовать. Теперь вы *знаете* её будущее, не правда ли?

— Да, её будущее — прах. У неё не было другого будущего с того момента, как Чарлз вручил её мне. Даже если бы я её не разбил, её будущее осталось бы тем же. Однажды, через неделю или миллион лет, она должна была превратиться в пыль, и никакой другой судьбы у неё быть не могло.

— Вселенная — это единое целое, Джаред. Чарлз купил для вас эту раковину, поскольку знал, что она содержит для вас послание — некое послание, о котором он в тот момент не имел представления. Спросите об этом послании сейчас, Джаред. Спросите у этой раковины, какое она имеет отношение к вам. Что она пытается сказать вам?

— Не знаю, — сказал я, как и следовало ожидать.

— Станьте прорицателем, Джаред. Вы ведь ищете что-то. Вскройте птицу, исследуйте её внутренности, истолкуйте ваши сны, прибегните к геомантии — или приглядитесь к останкам этой раковины. Смотрите на неё и задавайте ваш вопрос.

Я посмотрел и спросил:

— *Где Ширин?*

Думаю, уже через полсекунды я понял, что *знаю* ответ. С такой же скоростью я в своё время осознал, что у меня на руках полный стрит-флеш. Я чуть было не отпрянул назад от внезапного озарения. Мне показалось, что я парю в воздухе над землёй, что прикоснулся к первоисточнику смысла и

бытия. Если бы рядом не было Бонни, я во весь голос воззвал бы к Вселенной, которая в тот момент *заметила меня*. Из глаз моих текли слёзы, руки и ноги дрожали, и я был не в силах совладать с этим.

«Дурак, дурак, дурак, дурак, дурак», говорили мне обломки раковины. «Открой глаза, открой шире, смотри везде! Ты видишь здесь Ширин? Ты видишь её здесь? Дурак! Дурак! *Ширин нет в этой каменной крошке! Ширин здесь нет!*»

Прошло много времени, прежде чем я почувствовал, что могу ходить, не шатаясь, и говорить, не всхлипывая. Всё это тянулось минут двадцать-тридцать, и я думал, что Бонни уже ушла, но нет, она по-прежнему была неподалёку.

Смахнув рукой обломки раковины, я подошёл к ней и сказал, что узнал от раковины всё, что мне было нужно. Она сразу увидела, что это правда, и любезно воздержалась от расспросов.

— Я рада, — сказала она. Затем: — Хотите сохранить это?

Я ответил, что да, и протянул руку. Она положила мне на ладонь комок бумаги, который Гюнтер бросил через плечо.

— Мне пора бежать, — сказала она, соскользнув со штабеля. — Подбросить вас до отеля?

Я не стал объяснять ей, что больше не живу в отеле, и просто вежливо отказался.

— И спасибо, что заставили меня пообщаться с раковиной. Без вас я не сделал бы этого.

— О, вы знаете, что любила повторять Ширин: Вселенная — это единое целое.

— Я никогда не слышал от неё эту фразу, Бонни, и мне приятно слышать её сейчас.

Она торопливыми шагами исчезла в ночи, а я медленно пошёл следом. Под первым встретившимся на пути фонарём я остановился и развернул комок бумаги, просто чтобы удостовериться, что в нём ничего не завёрнуто. Карандашом на бумаге было написано одиннадцать слов:

«Ширин будет жить — не вечно, конечно, но достаточно долго для вас».

Пауза

Через полчаса я начал жалеть, что не принял предложение Бонни подвезти меня. Мне хотелось побыть одному, но теперь я мечтал о возможности посидеть где-нибудь босиком хотя бы десять минут. В этот час, кроме парка, идти было некуда. Я подумал, что хорошо бы случилось чудо и я встретил там Ширин, но это была мечта в духе видений курильщиков опиума, разве что в моём случае роль опиума играл алкоголь. К тому времени, когда я добрался до парка, я не мечтал уже ни о чём, кроме как вытянуться на скамейке и расслабить все до последней мышцы, а если не окажется достаточно уединённой скамейки — улечься где-нибудь на опушке, и пусть жуки попробуют меня закопать. В конце концов я плюнул на уединение и устроился на первой попавшейся скамейке.

Это был мой первый настоящий урок бездомной жизни. Если вы выбрали своим местом жительства скамью в парке, вы должны научиться спать как убитый. Рухнув на скамейку в четыре утра, я был уверен, что именно так и усну, но к семи часам всё ещё только *мечтал* быть убитым. Теперь я на личном опыте убедился, почему бродяги в любое время суток предпочитают еде выпивку. Если бы кто-нибудь предложил мне отхлебнуть глоточек из горлышка, он бы очень нескоро получил бутылку назад.

Около восьми часов я признал своё поражение и нетвёрдым шагом отправился на поиски кофе, аспирина и завтрака. Первым на пути оказался рабочий кабак. Видимо, я выглядел таким отпетым бродягой, что официант демонстративно не замечал меня, пока я не показал ему несколько банкнот. Я выпил немного кофе, принял немного аспирина и запихал в себя столько углеводов, сколько мог вместить пищевод. После этого я стал обдумывать свои дальнейшие действия.

Если верить моему прорицанию, я теперь знал, где Ширин *нет.* Она не погребена под миллионом тонн щебня, оставшегося от театра «Ванфрид».

Городские власти утверждали, что в момент взрыва театр был пуст, но это было по меньшей мере сомнительно. Если бы театр был пуст, то с какой стати герр Райхманн стал бы его взрывать? Нет, в момент взрыва Ширин находилась в театре, но каким-то образом сумела спастись. Конечно, там было где укрыться — в бомбоубежище, соединяющем подвал театра с соседним правительственным зданием. О существовании убежища я не забыл, просто не включил его в свою реконструкцию событий, поскольку после взрыва бежать туда было поздно. Когда взорванный потолок неожиданно валится на вас, никакой рефлекс самосохранения не вытолкнет вас из кресла и уж тем более не вынесет в бомбоубежище, даже если до него всего четыре шага. Такое бывает только в кино, и то в замедленной съёмке. Взрыв произошёл *без предупреждения,* это ключевая фраза. Если бы кто-то предупредил её даже за несколько секунд, это могло иметь решающее значение. И, конечно, этот кто-то там *был* — я, хотя моя память, естественно, не сохранила воспоминаний о том, успел ли я предупредить Ширин.

Даже если предположить, что всё так и было, я пока знал лишь, где Ширин искать *не надо*. Но это давало мне новое направление поиска.

Невероятная удача

Правительственное здание было на месте и было открыто. Люди сновали туда-сюда с обиженным видом, столь характерным для государственных служащих во всём мире. Лестница в подвал тоже была на месте, как и охранник средних лет за стойкой. Он наблюдал за моим приближением, недоверчиво щурясь, что при моём внешнем виде было неудивительно. Но он меня не интересовал, меня интересовала дверь в бом-

боубежище, которая была теперь тщательно загорожена и заколочена крест-накрест толстенными досками. Когда я попытался проверить заграждение на прочность, охранник окрикнул меня по-немецки, но я решил не обращать на него внимания.

Минуту спустя я отошёл в сторону, чтобы обдумать ситуацию. Простейшим способом убрать заграждение было бы с помощью отвёртки, но сторожевой пёс вряд ли смотрел бы на это сложа руки. Быстрее было бы сделать это электропилой, но, если бы она у меня и была, пёс наверняка не позволил бы включить её в розетку. Совсем быстро было бы отодрать доски ломиком, и я смог бы покончить с этим раньше, чем сторожевой пёс вызовет подкрепление. Оглядываясь назад, все эти рассуждения кажутся мне ребячеством, но в тот момент похмелье, разница во времени между Америкой и Германией, плюс практически бессонная ночь в парке, настолько притупили моё мышление, что вышеизложенные идеи казались мне вполне здравыми и уместными в данных критических обстоятельствах. Через час я вернулся с ломиком (не с большим ломом, но, по моим прикидкам, всё-таки достаточным для такого дела), который по дороге предусмотрительно прятал в рукаве куртки. Подойдя к двери, я достал его, подсунул под первую доску и в ту же секунду понял, насколько я был неправ. Оторвать этим ломиком доску было делом настолько же безнадёжным, как раскачать Эйфелеву башню карандашом.

Охранник уже вызвал помощь и не ограничился этим. Повесив телефонную трубку, он подошёл ко мне сзади и обхватил руками за шею. К счастью, у него не было намерения задушить меня, а лишь удержать до прибытия подкрепления. Это дало мне достаточно времени, чтобы разглядеть то, что было у меня перед носом, а там на верхней из досок были отчётливо нацарапаны имя и номер телефона, и это были имя и номер телефона, ради которых я пересёк Атлантику.

Когда, наконец, прибыла «кавалерия», в её составе нашёлся человек, достаточно владевший английским, чтобы я смог убедить его в том, что я безобидный псих, который сейчас уйдёт, оставив свой жалкий ломик, и больше никогда сюда не вернётся.

Вместе

Я едва узнал Ширин, когда она вышла мне навстречу из очаровательного лесного шале Майкла километрах в двадцати от Раденау. Волчаночная бабочка на её лице почти исчезла, что было признаком значительной ремиссии, хоть и временной.

Мы оба чувствовали себя неловко. Ни я, ни она не знали, какие нам играть роли и хотелось ли нам их играть. В конце концов мы на французский манер символически чмокнули друг друга мимо щёк, поскольку надо же было как-то поздороваться, чтобы поскорее перейти к главному — обмену новостями и информацией.

По дороге в шале Майкл уже многое мне рассказал. Моя реконструкция событий в театре была достаточно точной, так что нет необходимости её пересказывать. Благодаря тому, что я успех криками предупредить их, Ширин, Майкл, фрау Хартманн и Моника Тейтель на момент взрыва находились уже в середине бомбоубежища. Своим появлением из облака дыма в правительственном здании они вызвали там переполох, и этот переполох позволил им улизнуть до прибытия полиции, которая вне всяких сомнений арестовала бы их на месте. По словам Майкла, Ширин хотела вернуться, чтобы отыскать меня под обломками, но остальные отговорили её от этой безумной идеи. По словам Ширин, это Майкл хотел вернуться и отыскать меня.

Все были согласны, что нужно срочно найти подходящее убежище и некоторое время вести себя очень тихо. Новость о том, что я остался в живых, разделила группу надвое. Для одних тот факт, что я не погиб, подтверждал мою вину. Для

других (главным образом для Ширин и Майкла) тот факт, что я *едва* не погиб, подтверждал мою невиновность. Тейтели, убеждённые, что Ширин нужно оберегать от необдуманных действий, умолчали о том, что я звонил им из Штатов. Ни Бонни, ни Альбрехт не были в театре во время взрыва, так что они не знали ни где находится Ширин, ни жива ли она вообще.

Ни Ширин, ни Майкл никогда не слышали о ловкаче-фокуснике по имени Гюнтер.

* * *

Дневник дополнен последними событиями по настоящий момент.

Обитатели дома придерживаются странного правила: мы не обсуждаем, что делать дальше. Майкл — холостяк, единственный отпрыск очень состоятельных родителей, без кого-либо другого на их содержании, так что финансовых трудностей у нас нет.

Пока слишком рано говорить о том, имеют ли наши отношения с Ширин шансы вылиться в нечто большее, чем сейчас. Она беспредельно сдержанна, независима и нетерпима к любым проявлениям жалости к себе. Поживём — увидим.

Мне спешить некуда.


Эпилог

ГЛАВА 24

Без даты

В подполье

Как я упомянул ранее, плёнку с записью моего последнего разговора с отцом Лалфром я доверил другу. Только что получил от него известие о том, что два дня назад его дверь была взломана и квартира обыскана. Кассета исчезла. Я строжайшим образом просил его как можно скорее сделать копию и спрятать её в другом месте, но, конечно же, у него не дошли до этого руки. Моя ошибка: я не сказал ему, что для меня это вопрос жизни и смерти. Моя вина: я не проверил за ним. Моя вторая вина: я всё ещё слишком беспечен.

Ширин и я теперь должны оставить Майкла в его лесном уединении и по-настоящему уйти в подполье. Майкл будет в относительной безопасности, когда мы уедем, поскольку ни отец Лалфр, ни герр Райхманн не понимают, с чем они в действительности имеют дело.

Что можете сделать вы

Я заканчиваю тем, с чего начал — с размышлений о том, был ли когда-нибудь на свете человек, кто вёл дневник без расчёта на то, что его будут читать потомки, кто в тайне не надеялся, что его или её (скрываемые от всех) записи когда-нибудь будут обнаружены и станут широко известны. Как бы то ни было, если и существуют такие совершенные образцы скромности, я не принадлежу к их числу. С самого начала я

знал, что пишу в расчёте на то, что мои записи, *возможно,* будут читать другие, а именно — *вы*.

С самого первого эпизода моих приключений — того первого разговора с отцом Лалфром — я чувствовал, что начинается нечто такое, о чём рано или поздно нужно будет рассказать более широкой аудитории, чем существующая в моём воображении. Иными словами, хотя я пытался смотреть на это иначе, фактически я вёл хронику событий и в противном случае не записывал бы их с такой тщательностью.

Почему я теперь прекращаю эту работу? Потому что учение Б обрело финальную форму и к нему больше нечего добавить? Вряд ли. Смехотворная мысль. Мы как культура выросли в чёрных очках Великого Забвения и ни разу их не снимали. С самого начала наш интеллектуальный рост сдерживала и искривляла «ангельская пыль» амнезии. Исправить это не под силу ни одному писателю, ни десятку писателей. Это не под силу ни одному учителю, ни десятку учителей. Если это вообще удастся исправить, то лишь целому новому поколению писателей и учителей.

Вы — один из них.

Всякий, кто читает эту книгу, способен сделать как минимум одну вещь: передать её другому и сказать: «Вот, почитай».

Родители, учите своих детей. Дети, учите своих родителей. Учителя, учите своих учеников. Ученики, учите своих учителей.

Мировоззрение — это река, а мы, с нашим изменённым сознанием, — течение.

Я подумал, что люди наверняка попросят вас коротко сформулировать основную идею. Предлагаю вам следующую формулировку, какой бы неполной она ни была. *Мир не могут спасти люди с новыми программами, но старым мышлением. Если мир будет спасён, то лишь людьми с новым мышлением — и безо всяких программ.*

Многим не понравится, как это звучит, особенно последняя

фраза. Если эти люди всё же готовы слушать дальше, вспомните сваи в реке. Вспомните промышленную революцию, ту великую реку мировоззрения, которая не нуждалась ни в каких программах и без их помощи затопила весь мир.

Кто теперь Б?

Чарлз Эттерли был Б. Ширин сказала, что она Б. Я сказал, что я Б. За это нас взяли на мушку. Я должен объяснить отцу Лалфру, что он заблуждается. Это я и делаю здесь. У меня больше нет той магнитофонной плёнки, которая была моей охранной грамотой, и заменить её можете только *вы*. Потому что, поверьте, если вы читаете эти слова, значит, ущерб уже нанесён, и отец Лалфр поймёт это.

Я выражаюсь не очень внятно. Это потому, что я тороплюсь. Ширин упаковала вещи, и Майкл ждёт, чтобы отвезти нас в Гамбург, в аэропорт. Я должен оставить эту рукопись у него. Это решено. Человек в бегах, без адреса или хотя бы номера телефона, не может продолжать вести эту хронику.

* * *

Итак, без нас Майклу ничего не грозит, потому что отец Лалфр думает, что Б — это Ширин и я.

Что я имею в виду, называя себя Б? Я не имею в виду, что мои знания и способности равны знаниям и способностям Чарлза и Ширин. Я имею в виду, что я стал другим, фундаментально и необратимо. Я имею в виду, что *меня невозможно сделать прежним*.

Вот почему я — Б: меня невозможно сделать прежним.

* * *

Ширин только что заглянула в комнату и сказала, что, если мы прокопаемся ещё три минуты, то опоздаем на самолёт.

Итак — в страшной спешке.

Написанное мною дошло до вас. Не знаю в точности каким

образом. Майкл говорит, что у него есть каналы, по которым это можно распространить. Я спокоен на этот счёт.

Написанное мною дошло до вас даже в том случае, если до глубины души возмутило вас, даже если вы теперь спрячете эти страницы от своих детей или сожжёте.

Написанное мною дошло до вас — значит, поздно сжигать бумагу, на которой это написано. Даже если тем временем отец Лалфр выследит нас и подошлёт к нам убийц, он опоздает — потому что вы уже прочитали это.

Инфекцию теперь не остановить.

Вы — Б.


Лекции

ГЛАВА 25

Великое Забвение

16 мая, «Дер Бау», Мюнхен

Задумывались ли вы над тем странным фактом, что образовательные и воспитательные структуры в нашей культуре лишь однажды в жизни знакомят нас с идеями Сократа, Платона, Евклида, Аристотеля, Геродота, Августина, Макиавелли, Шекспира, Декарта, Руссо, Ньютона, Расина, Дарвина, Канта, Кьеркегора, Толстого, Шопенгауэра, Гёте, Фрейда, Маркса, Эйнштейна и десятков других из того же ряда, зато каждый год, месяц, неделю и даже день напоминают нам об идеях Иисуса, Моисея, Мухаммеда и Будды? Почему, как вы думаете, лекции о благотворительности нам нужно слушать каждые три месяца, а о законах термодинамики достаточно одной лекции на всю жизнь? Почему смысл Рождества считается таким трудным для понимания, что мы должны выслушивать дюжину его объяснений, причём не раз в жизни, а каждый год и из года в год? Или, что особенно любопытно, почему набожным людям, которые уже наизусть знают все священные для них писания, нужно, чтобы им повторяли их вновь и вновь каждую неделю, а то и каждый день?

Держу пари, что, если сегодня среди слушателей есть физики, они каждый вечер перед сном не перечитывают «Начала» Ньютона. Бьюсь об заклад, что астрономы среди вас, просыпаясь по утрам, не тянутся первым делом за книгой «Об обращении небесных сфер» Коперника; что генетики среди

вас не посвящают хотя бы час в день благоговейному чтению «Двойной спирали»; что анатомы среди вас не страдают бессонницей, если не прочитали на ночь хотя бы один пассаж из учебника «О строении человеческого тела»; а социологи среди вас не носят с собой повсюду бесценный экземпляр «Протестантской этики и духа капитализма». При этом всем хорошо известно, что сотни миллионов людей каждый день читают священные писания и за всю жизнь прочитывают их от корки до корки не дюжину, а дюжину дюжин раз.

Задумывались ли вы над тем, почему в обязанности священников множества христианских направлений и сект входит *ежедневное* чтение «Часослова»? Почему от членов множества религиозных общин по всему свету требуется для укрепления веры повторять *ежедневно* и слово в слово одни и те же тексты? Неужели запомнить, что Аллах один или что Христос умер за наши грехи, настолько трудно, что это надо повторять по меньшей мере один раз в день на протяжении всей жизни?

Конечно, мы знаем, что эти вещи совсем не трудно запомнить. И знаем, что верующие каждое воскресенье идут в церковь не потому, что забыли, что Иисус их любит, а потому, что именно *не* забыли, что он их любит. Они хотят слышать это снова, и снова, и снова, и снова. Можно даже сказать, что они *нуждаются* в том, чтобы слышать это снова, и снова, и снова, и снова. Они переживут, если им десять тысяч раз не повторят законы термодинамики, но по каким-то причинам не переживут, если десять тысяч раз не услышат заповеди господни.

Истинно говорю вам … снова, и снова, и снова

Несколько лет назад, когда я только начинал выступать публично, я наивно думал, что будет достаточно — даже вполне достаточно, — если я буду высказывать каждую идею только один раз. Лишь со временем я понял, что сказать о

чём-то только один раз это то же самое, что не сказать об этом вообще. Законы термодинамики действительно достаточно услышать один раз — они где-то изложены письменно, так что, если потребуется, их в любой момент нетрудно найти и перечитать. Но есть другие истины, чисто человеческого порядка, которые необходимо повторять снова, и снова, и снова, теми же словами или другими, но снова, и снова, и снова.

Как вы знаете, я первый раз выступаю в «Дер Бау». Однако некоторые из вас могли слышать меня и в других местах, и эти люди, возможно, спрашивают себя: «А не слышал ли я от него то же самое в Зальцбурге, Дрездене, Штутгарте, Праге или Висбадене?» Мой ответ на этот вопрос — да. Когда Иисус обращался к людям в Галилее, некоторые из них тоже спрашивали: «А не слышал ли я от него то же самое в Капернауме, Иерусалиме, Иудее, Геннесарете или Кесарии Филиппи?» Конечно, они слышали его во всех тех местах. Все публичные речи, приписываемые Иисусу в евангелиях, уложились бы в три часа или даже меньше, и если бы он не повторял одно и то же в каждом новом месте, получилось бы, что девяносто девять процентов своей публичной жизни он молчал.

В любой точке мира

В любой точке мира, как на Востоке, так и на Западе, вы можете подойти к незнакомому человеку и сказать: «Я могу указать вам путь к спасению» — и вас поймут. Вам могут не поверить, ваше предложение могут отвергнуть, но — вас несомненно поймут. Тот факт, что вас понимают, мог бы удивить вас, но не удивляет, потому что с раннего детства сотни тысяч, если не миллионы голосов тоже готовили вас к пониманию значения этих слов. Вы мгновенно понимаете, что такое «спасение», и ничуть не важно, верите вы в это самое «спасение» или нет. Вы также знаете, хотя это совсем другой разговор, что спасение подразумевает существование какого-то метода спа-

сения. Метод может быть ритуальным, таким как крещение, соборование, исповедь, совершение религиозных обрядов и прочее. Он может быть и внутренним действием на уровне чувств, таким как покаяние, любовь, вера или медитация. Это, опять же, другой разговор, но вы знаете, что предлагаемый метод спасения всегда универсален, он годится для каждого и эффективен в каждом конкретном случае. Вы также знаете, что ни один из методов не был открыт, разработан или испытан в какой-нибудь научной лаборатории, а либо был надиктован кому-то самим Богом, либо явился как озарение в состоянии транса. Изначально полученный сверхъестественными путями, метод затем может быть передан одним человеком другому обычными средствами, что объясняет способность совершенно обыкновенных людей предлагать спасение окружающим.

Но это лишь поверхностный смысл того, что человек подразумевает, когда говорит: «Я могу указать вам путь к спасению». За таким заявлением кроется сложное и глубокое мировоззрение. Согласно этому мировоззрению, каждый человек рождается уже нуждающимся в спасении и продолжает нуждаться в нём до тех пор, пока над ним не будет совершён необходимый ритуал или он сам не совершит необходимое внутреннее действие, и всякий, кто так и умрёт без этого, не имеет ни малейшего шанса обрести вечное счастье в Царстве Божьем или вырваться из бесконечного изнурительного цикла умирания и рождения заново.

Поскольку мы с раннего детства приучены к пониманию всего этого, нас нисколько не озадачивает, если кто-то обращается к нам со словами: «Я могу указать вам путь к спасению». Идея спасения так же ясна и привычна для нас, как дождь или восход солнца. А теперь попытайтесь представить, как те же слова были бы восприняты человеком другой культуры, где людям и в голову не приходит, что они от рождения нуждаются в каком-то спасении. Подобное

заявление, ясное и простое для нас, показалось бы тому человеку непонятным и начисто лишённым смысла. Для него эта фраза была бы сплошной тарабарщиной.

Представьте, сколько сил и времени уйдёт у вас на то, чтобы подготовить людей той культуры к адекватному восприятию вашего заявления. Вам придётся каким-то образом убедить их в том, что они (и вообще все люди) от рождения нуждаются в спасении. Вам придётся объяснить им, в чём разница между спасённым и не спасённым. Вам придётся убедить их, что стремиться к спасению жизненно важно, что важнее этого в жизни нет вообще ничего. Вы должны убедить их в том, что предлагаемый вами метод гарантирует полный успех. Вы должны объяснить, откуда у вас этот метод и почему он действует. Вы должны убедить их, что они тоже могут овладеть этим методом и что он у них будет действовать ничуть не хуже, чем у вас.

Если вы можете представить всё это, то можете представить и трудности, с которыми сталкиваюсь я всякий раз, когда обращаюсь к аудитории. Редко выходит так, что я просто открываю рот и говорю то, что думаю. Чаще мне приходится начинать с закладки фундамента для идей, которые очевидны мне, но глубоко чужды слушателям.

Великое Забвение

Обращаясь к аудитории или к отдельному человеку, я обычно начинаю с привлечения их внимания к тому факту, что культурное самосознание, которое мы наследуем от наших родителей и которое передаём нашим детям, прочно и незыблемо базируется на Великом Забвении, поразившем нашу культуру повсюду в мире в первые тысячелетия формирования нашей цивилизации. Что же произошло в первые тысячелетия формирования нашей цивилизации? А произошло то, что неолитические сельскохозяйственные общины превратились в деревни, деревни — в города, а города объединились в

королевства. Этим событиям сопутствовали растущее разобщение людей по роду занятий, образование региональной и межрегиональной торговой сети и становление коммерции как отдельной профессии. В процессе всех этих перемен люди всё больше забывали о том, что были времена, когда *ничего* подобного не происходило; времена, когда люди жили охотой и собирательством, а не скотоводством и земледелием; когда деревни, города и королевства никому и не снились; когда никто не жил только гончарным ремеслом, или только плетением корзин, или только обработкой металлов; когда торговля была случайным, а отнюдь не необходимым делом; когда невозможно было представить, что можно прожить, занимаясь одной коммерцией.

В том, что люди забыли обо всём этом, нет ничего удивительного. Было бы удивительно, если бы, наоборот, не забыли. Потому что память о наших охотниках-собирателях пришлось бы хранить в головах ещё *пять тысяч лет* — до тех пор, пока не стало возможным увековечить её в письменном виде.

К тому времени, когда писать историю человечества стало под силу каждому, события, положившие начало нашей культуре, были уже делом далёкого-далёкого прошлого, но это не значило, что они стали невообразимыми. Напротив, вообразить их было совсем нетрудно — достаточно было экстраполировать в прошлое сегодняшний день. Очевидно, что королевства и империи прошлого были меньше размерами и не так плотно заселены. Очевидно, что ремесленники в те времена знали и умели меньше, чем нынешние. Очевидно, что товары на рынке уступали сегодняшним как количеством, так и разнообразием. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что, чем глубже и глубже в прошлое, тем людей (а значит, и городов) всё меньше и меньше, ремёсла всё примитивнее, а коммерция всё менее и менее развита. Очевидно, конечно, и то, что, углубившись в прошлое доста-

точно далеко, мы достигнем времён, когда ещё не было ни городов, ни ремёсел, ни коммерции.

За отсутствием какой-либо другой теории, разумно (даже неизбежно) будет предположить что начало роду человеческому положили два человека, первоначальные мужчина и женщина. В таком предположении нет ничего существенно иррационального и невероятного. Существование первоначальных мужчины и женщины не противоречит акту божественного творения. Может быть, так всё и начиналось. Может быть, вначале были один мужчина и одна женщина, один бык и одна корова, один конь и одна кобыла, одна курица и один петух, и т. д. Кто тогда мог предложить что-то лучшее? Наши культурные предки ничего не знали о какой-то там «сельскохозяйственной революции». По их сведениям, люди *с самого начала* были скотоводами и земледельцами, как лесные олени с самого начала щипали траву и листья. В их представлении сельское хозяйство и цивилизация так же присущи человеку, как мышление и речь. Наше прошлое как охотников-собирателей не просто было забыто, оно стало несуществующим.

Великое Забвение вплетается в полотно нашей интеллектуальной жизни с самого её начала. В древности этим вплетением занимались безымянные писцы Древнего Египта, Шумера, Ассирии, Вавилона, Индии и Китая; позднее — Моисей, Самуил и Илия в Израиле, Фабий Пиктор и Катон Старший в Риме, Сыма Тан и его сын Сыма Цянь в Китае, а ещё позднее — Гелланик, Геродот, Фукидид и Ксенофонт в Греции. (Хотя Анаксимандр считал, что всё в природе произошло из бесформенной массы материи, «апейрона», и что предками человека были рыбоподобные существа, он, как все остальные, ничего не знал о Великом Забвении.) Эти древние были учителями Исайи и Иеремии, Лао-цзы и Гаутамы Будды, Фалеса и Гераклита, которые, в свою очередь, были учителями Иоанна Крестителя и Иисуса, Конфуция и

Сократа, Платона и Аристотеля, а они — учителями Мухаммеда и Фомы Аквинского, Бэкона и Галилея, Ньютона и Декарта; и каждый из них, не осознавая того, воплощал и увековечивал в своих трудах Великое Забвение, так что каждый исторический, философский и теологический текст с момента возникновения письменности и по настоящее время содержит его в себе как всеобъемлющую и неоспоримую аксиому.

Великое Вспоминание

В период Великого Забвения было забыто не то, что люди произошли от других биологических видов. Нет ни малейших причин полагать, что люди палеолита или мезолита догадывались и вообще задумывались об этом. Великому Забвению был подвергнут тот факт, что до того, как заняться сельским хозяйством и жить в деревнях, люди жили совершенно иначе.

Это объясняет, почему Великое Забвение не нашло отражения в теории эволюции. Эволюция здесь вообще ни при чём. Это палеонтология указала нам на Великое Забвение (и указала бы даже в том случае, если бы теория эволюции никогда не была выдвинута). Палеонтология с неоспоримой очевидностью установила, что люди жили на этой планете очень и очень задолго до первого огорода и начала цивилизации.

Палеонтология показала несостоятельность идеи о том, что человечество, сельское хозяйство и цивилизация возникли одновременно. История и археология свидетельствуют, что сельскому хозяйству и цивилизации всего несколько тысяч лет, а палеонтология не менее убедительно демонстрирует, что люди живут на этой планете уже *миллионы* лет. Палеонтология доказала, что невозможно даже предполагать, будто человек по призванию животновод-земледелец и основатель цивилизации. Палеонтология наглядно показывает, что

человек изначально был совершенно другим — собирателем и бездомным кочевником, — и вот это и было предано Великому Забвению.

Трудно даже вообразить, что написали бы отцы-основатели нашей культуры, если бы они знали, что люди на этой планете в течение миллионов лет прекрасно жили без сельского хозяйства и цивилизации, если бы знали, что сельское хозяйство и цивилизация никоим образом не присущи человеку. Но можно быть уверенными, что весь курс нашей интеллектуальной истории радикальнейшим образом отличался бы от того, который описан в наших учебниках.

Но вот что не менее поразительно во всей человеческой истории. Когда мыслители восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого веков в конце концов вынуждены были признать, что вся научная мысль в нашей культуре базируется на грубейшей и непростительной ошибке, *абсолютно ничего не произошло*.

Когда ничего не происходит, это трудно заметить. Кто читал рассказы о Шерлоке Холмсе, тот помнит, чем таким примечательным занималась по ночам собака Баскервилей. Ничем! Тем же примечательна и реакция наших мыслителей: её не было. Со всей очевидностью они и не думали ничего менять. Не эксгумировать же останки отцов-основателей нашей культуры, чтобы спросить у них, как изменились бы их труды, знай они правду о наших истоках. Есть разница между *нежеланием* что-либо менять и *желанием* ничего не менять. Здесь мы имеем дело со вторым случаем: они *хотели,* чтобы забвение продолжалось, и сделали всё для этого.

Конечно, им пришлось пойти на кое-какие компромиссы. Они не могли продолжать утверждать, что люди были прирождёнными животноводами-земледельцами. Им пришлось смириться с тем фактом, что сельское хозяйство было очень недавним изобретением. Они сказали себе: «Ладно, тогда назовём это революцией — Сельскохозяйственной Рево-

люцией». Это была бесстыдная ложь, но кто мог их в ней уличить? Правда настолько колола глаза, что они были рады прикрыть её хоть таким ярлыком. Так в истории появилась «сельскохозяйственная революция» — событие, никогда не имевшее места, но прославленное в веках и известное сегодня каждому школьнику.

Историкам становилось плохо при одном упоминании об истинной глубине человеческой истории. Вся их наука, всё их мировоззрение были сформированы людьми, для которых история началась лишь несколько тысячелетий назад, когда человек, едва появившись, тотчас принялся пахать землю, разводить скот и строить цивилизацию. Вот *это* была история — история скотоводов и землепашцев, взявшихся незнамо откуда несколько тысячелетий назад, затем превративших сельскохозяйственные общины в деревни, деревни — в города, а города — в королевства. Так всё чётко и ясно, и это главное, а миллионы предшествовавших этому лет, кроме забвения, ничего не заслуживают.

О тех миллионах лет историки вообще решили больше не вспоминать и придумали для себя следующее оправдание. Тот период не заслуживает внимания потому, что это была *не* история. Это была, как бы лучше сказать, *предыстория*. Такой вот козырь из рукава. Пусть тем периодом занимаются недоучки — не истинные историки, а *предысторики*. Так современные историки скрепили Великое Забвение печатью своего одобрения.

Великому Забвению не было предано ничего важного, лишь какая-то там предыстория. Ничего интересного тогда не было. На миллионы лет человечество замерло, и с ним *ничего не происходило*.

Великое Вспоминание, таким образом, тоже превратилось в событие, не заслуживающее внимания. Интеллектуальные хранители нашей культуры — историки, философы, теологи — не захотели и слышать о нём. Основы всех их дисци-

плин были заложены в период Великого Забвения, а основы пересматривать нежелательно. С их прагматической точки зрения, эпохе Великого Забвения лучше было бы длиться вечно, и они приложили к этому все усилия. Мировоззрение, которое мы сегодня передаём детям, в своей основе всё то же, что господствовало четыреста лет назад. Отличия чисто поверхностные. Вместо того, чтобы говорить детям, что люди появились на этой планете несколько тысячелетий назад (а до этого их здесь не было), мы говорим им, что *история* началась несколько тысячелетий назад (а до этого её не было). Вместо того, чтобы говорить детям, что без цивилизации не было бы человечества, мы говорим им, что без цивилизации не было бы *истории*. При этом все понимают, что речь идёт об одном и том же.

Таким образом, история человечества была сокращена до периода, в точности совпадающего с историей нашей культуры, а остальные 99,7 процента истории человечества выброшены как черновик.

Миф о «сельскохозяйственной революции»

В течение тысяч лет люди считали, что Земля является неподвижным центром Вселенной. Вполне безобидное само по себе, такое представление было причиной множества ошибок и ограничивало наши возможности в понимании устройства Вселенной.

Идея «сельскохозяйственной революции», о которой нам и нашим детям говорят в школе, на первый взгляд, тоже безобидна, но и она является причиной множества ошибок и мешает нам получить адекватное представление о самих себе и о том, что происходит на этой планете.

Коротко говоря, центральная идея «сельскохозяйственной революции» состоит в том, что около десяти тысяч лет назад люди начали отказываться от собирательства в пользу сельского хозяйства.

Это утверждение вводит людей в заблуждение в двух чрезвычайно важных аспектах: во-первых, оно создаёт ложное представление о сельском хозяйстве как об одном виде деятельности (это собирательство один вид деятельности, а сельское хозяйство — множество видов деятельности), а во-вторых, оно подразумевает, что на этот вид деятельности люди повсюду стали переходить почти в одно и то же время. В этом утверждении так мало правды, что я не стану тратить на него время, а предложу вашему вниманию другое.

К тому моменту, когда на Ближнем Востоке вдруг появился наш специфический метод ведения сельского хозяйства, в мире уже долгое время практиковалось множество других его методов. Наш метод я называю *тоталитарным,* поскольку он подчиняет все формы жизни интересам непрестанного и постоянно растущего производства продуктов питания для людей.

Огромные избытки продовольствия, возможные лишь при этом методе сельского хозяйства, вызывали в местах его применения быстрый рост населения, за чем следовала не менее быстрая географическая экспансия, сметавшая на своём пути все прочие образы жизни (включая основанные на других методах ведения сельского хозяйства). Эта экспансия и сопутствовавшее ей уничтожение других образов жизни продолжались непрерывно в течение всех последующих тысячелетий и в конце концов, в пятнадцатом веке, достигли Нового Света, а впоследствии — Африки, Австралии, Новой Гвинеи и Южной Америки.

Отцы-основатели нашей культуры исходили из представления, что мы живём так, как люди жили повсюду испокон веков. Когда мыслители девятнадцатого века вынуждены были признать, что это неправда, они стали исходить из того, что мы живём так, как люди жили повсюду последние десять тысяч лет. Они могли легко разыскать свидетельства и о более давнем прошлом, но решили не утруждать себя этим.

Восток и Запад

Одной из незыблемых основ нашей культурной мифологии является представление, будто Восток и Запад отделены друг от друга глубокой пропастью, «и вместе им никогда не бывать». Поэтому у многих вызывает недоумение, когда я говорю о Востоке и Западе как об одной культуре. Восток и Запад — близнецы-братья, у них одни и те же отец и мать, но, подобно биологическим близнецам, они, глядя друг на друга, видят прежде всего различия, а не сходства. Нужно быть посторонним, как я, чтобы заметить их фундаментальную культурную идентичность.

Ничто так не характеризует народ, как методы добычи средств к существованию. Народы нашей культуры, как на Востоке, так и на Западе, добывают их с помощью *тоталитарного* сельского хозяйства и делали так с самого начала — с одного и того же начала. В течение последних десяти тысяч лет основой жизни народов Востока и Запада было неизменно и исключительно тоталитарное сельское хозяйство. В этом отношении между ними нет абсолютно никакой разницы.

Тоталитарное сельское хозяйство — это не только средство обретения средств к существованию, это и основа самого изнурительного образа жизни, когда-либо существовавшего на этой планете. Многих это шокирует, но факт остаётся фактом: никто не добывает средства к существованию таким тяжким трудом, как люди нашей культуры. Документальных свидетельств этому за последние сорок лет набралось уже столько, что вряд ли кто-то из антропологов станет это оспаривать.

Изнурительность образа жизни, на мой взгляд, нашла отражение ещё в одном фундаментальном сходстве народов Востока и Запада — сходстве их религиозных воззрений. Принято считать, что и в этом отношении между Востоком и Западом огромная пропасть, но для меня они и в этом схожи, как близнецы, потому что и там, и там верующие

одержимы одной и той же идеей — *спасения*. Этот аспект восточных религий был несколько приглушён в их экспортных вариантах, тридцать лет назад вошедших в моду на волне популярности бит-музыки, движений хиппи и нью-эйдж, однако на их родине он по-прежнему очевиден.

Верно, конечно, что цели и методы спасения на Востоке и Западе разные, но ведь они разные во *всех* религиях мира — этим они и отличаются друг от друга. Самое главное здесь заключается в том, что в любой части света, на Востоке или на Западе, если вы подойдёте к незнакомому человеку и скажете: «Я могу указать вам путь к спасению», он поймёт, что вы имеете в виду.

Ничтожность предыстории

Когда отцы-основатели нашей культуры заглянули в прошлое дальше момента появления человека как скотовода и земледельца, они увидели … пустоту. Ничего другого они и не ожидали увидеть, поскольку, как они сами постановили, считать, что люди появились раньше сельского хозяйства, так же абсурдно, как утверждать, что рыбы появились раньше воды. В их представлении изучать досельскохозяйственного человека — это изучать то, чего нет.

Когда в девятнадцатом веке отрицать существование человека до возникновения сельского хозяйства стало невозможно, наши мыслители всё равно ни на йоту не усомнились в мудрости древних авторов, и изучение досельскохозяйственного человека осталось для них изучением того, чего нет. Они понимали, что не могут оставить досельскохозяйственного человека совсем вне истории, поэтому поместили его в период так называемой *предыстории*.

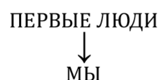
Уверен, что вы знаете, что такое предыстория. Это как *предвода,* а что она такое, знают все, не так ли? Предвода — это то, в чём жили рыбы, пока не было воды, а предыстория — это время, в которое жили люди, пока не было истории.

Как я уже не раз отмечал, в представлении отцов-основателей нашей культуры человек появился на этой планете как *прирождённый* скотовод-земледелец и строитель цивилизации. Когда мыслителям девятнадцатого века пришлось пересмотреть это представление, они сделали это следующим образом: если человек и не был *прирождённым* скотоводом-земледельцем и строителем цивилизации, он, тем не менее, был рождён, чтобы *стать* скотоводом-земледельцем и строителем цивилизации. Иными словами, человек тех вымышленных времён, которые называются предысторией, вошёл в наше культурное самосознание как очень-очень медлительный первопроходец, а сама предыстория стала периодом, когда люди очень-очень медленно шли к тому, чтобы стать скотоводами-земледельцами и строителями цивилизации. Если вам нужно конкретное подтверждение этого, возьмите общепринятое описание жизни доисторических народов «каменного века». Авторы этого термина ни на секунду не сомневались, что камень для тех наших несчастных предков имел такую же важность, как типографские прессы и паровозы для людей девятнадцатого века.

Если вы хотите получить представление о важности камня для доисторических людей, поезжайте в Новую Гвинею или Бразилию и посмотрите, как там живут дожившие до наших дней представители культуры «каменного века». Вы увидите, что камень занимает в их жизни не более важное место, чем клей в нашей. Конечно, они то и дело пользуются камнями, как и мы то и дело пользуемся клеем, но называть их людьми «каменного века» не более правомерно, чем называть нас людьми «клейного века».

Миф о «сельскохозяйственной революции» (продолжение)

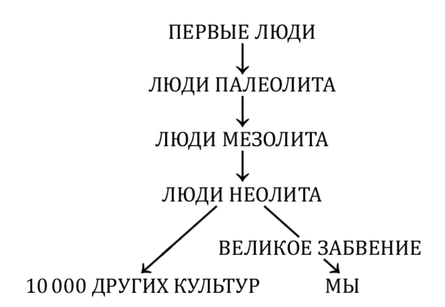
Отцы-основатели нашей культуры представляли происхождение современного человека так:



В девятнадцатом веке, после исправлений, неохотно внесённых редакторами, схема стала выглядеть так:



Естественно, они без колебаний заявили, что все пути человеческой истории вели к «нам», людям нашей культуры, чему с тех пор и учат детей в школах. Однако, это утверждение, как многие другие в данной области, настолько гротескно противоречило фактам, что рядом с ним теория плоской Земли казалась гениальным открытием. Вот как должна выглядеть диаграмма, если принять во внимание факт, что *не все* люди на этой планете принадлежат к нашей культуре:



Эта диаграмма показывает, что на определённом этапе в человечестве произошёл раскол значительно более глубокий, чем между Востоком и Западом, — раскол на тех, кто затем пережил Великое Забвение, и тех, кто его избежал.

Закон ограниченного соперничества

В период Великого Забвения среди людей нашей культуры бытовало представление, что в «дикой» природе действует один-единственный жестокий закон, «закон джунглей», суть которого — «Убей или будешь убит». В последние десятилетия на основании наблюдений (а не умозрительных предположений) этологи обнаружили, что закон «Убей или будешь убит» — это чистая выдумка. В действительности жизнь в природе регулируется целой системой законов, соблюдаемых повсеместно и нацеленных на поддержание в «джунглях» порядка, защиту биологических видов и их индивидуальных представителей и на обеспечение благополучия сообщества в целом. Обобщённо эту систему законов стали называть, в числе прочего, миротворческим законом, законом ограниченного соперничества или звериной этикой.

Вкратце закон ограниченного соперничества означает следующее. *Ты вправе соперничать в полную силу своих способностей, но не вправе охотиться на соперников, уничтожать их пищу и лишать их доступа к пище.* Иными словами, соперничать можно, но воевать с соперниками нельзя.

Очевидно, что способность к воспроизводству — необходимое условие биологического успеха, и можно не сомневаться, что каждый новый биологический вид наследует эту способность у предыдущего вида. Следование закону ограниченного соперничества — столь же необходимое условие биологического успеха, и можно не сомневаться, что каждый новый биологический вид обязан своим появлением соблюдению этого закона предыдущим видом и получает в наследство чувство необходимости соблюдать его.

Люди тоже появились на этой планете с врождённым чувством необходимости соблюдать закон ограниченного соперничества. Это подразумевает, что изначально они жили, как все прочие члены биологического сообщества, соперничая в полную силу своих способностей, но не воюя с соперни-

ками. Они продолжали следовать этому закону до тех пор, пока около десяти тысяч лет назад люди одной из культур на Ближнем Востоке не начали практиковать форму ведения сельского хозяйства, противоречившую закону по всем статьям. Эта форма поощряла войну с соперниками — охоту на них, уничтожение их пищи и лишение их доступа к пище. Это была форма ведения сельского хозяйства, с тех пор и по сегодняшний день практикуемая только в нашей культуре, на Востоке и на Западе, и ни в какой другой.



Берущие и Оставляющие

Мы, наконец, достигли момента, когда можно отбросить такие неуклюжие фразы, как «люди нашей культуры» и «люди других культур». Мы могли бы заменить их фразами «Живущие по Закону» и «Отвергнувшие Закон», но коллега предложил для этих двух групп ещё более простые названия: Берущие и Оставляющие. Он объяснил эти названия следующим образом. Оставляющие соблюдают закон и, таким образом, *оставляют* управление миром в руках богов, тогда как Берущие отвергают закон и, таким образом, *берут* управление миром в свои руки. Он (как и я) не был вполне удовлетворён этой терминологией, но, во-первых, она уже

получила определённое распространение, а во-вторых, мне нечем её заменить.

Важно отметить, что между Оставляющими нашего времени и первыми представителями рода человеческого тянется непрерывная культурная нить длиной в три миллиона лет. *Homo habilis* («человек умелый») был Оставляющим и жил по тому же закону, по какому сегодня живут индейцы яномама в Бразилии, бушмены в пустыне Калахари и ещё сотни автохтонных народов на не охваченных цивилизацией пространствах в разных уголках мира.

Вот эта культурная нить и оборвалась в годы Великого Забвения. Иными словами, отвергнув закон, который в течение трёх миллионов лет предохранял нас от вымирания, и сделавшись врагами всего остального биологического сообщества, мы прикрыли свой статус изгоев завесой забвения того, что такой закон когда-либо существовал.



Хорошие и плохие новости

Даже если вы знаете обо мне очень мало, вы наверняка слышали, что меня называют разными нехорошими словами. Причина этого в том, что у меня для вас хорошие новости, лучшие за много-много лет. Если вы думаете, что за хорошие

новости я заслуживаю всяческих похвал, то, уверяю вас, вы глубоко ошибаетесь. Люди нашей культуры так привыкли к плохим новостям, настолько всегда к ним готовы, что, если я заявлю, что все мы прокляты и обречены, никому и в голову не придёт осуждать меня за это. Меня осуждают как раз за то, что я *не* говорю ничего подобного. Прежде чем я попытаюсь сформулировать хорошую новость, которая у меня для вас есть, позвольте сначала напомнить, к какого рода новостям люди всегда готовы.

> Человек — проклятье этой планеты и был таким с самого своего РОЖДЕНИЯ несколько тысяч лет назад.

Поверьте, такое моё заявление вызвало бы шквал аплодисментов в любой стране мира. Но новость, которая у меня для вас есть, звучит совсем по-другому:

> Человек родился НЕ несколько тысяч лет назад и НЕ является от рождения проклятьем.

Вот за *эту* новость меня осуждают.

> Человек родился МИЛЛИОНЫ лет назад, и проклятьем он был не больше, чем ястреб, лев или кальмар. На протяжении МИЛЛИОНОВ лет человек жил В МИРЕ с миром.

Это не значит, что он был святым. Это не значит, что он ходил по земле как Будда. Это значит, что он был таким же безвредным, как гиена, акула или гремучая змея.

> Проклятьем этой планеты является не ЧЕЛОВЕК, а только одна культура. Одна из сотен тысяч культур. *НАША* культура.

А вот самая лучшая моя новость:

> Чтобы выжить, нам не нужно менять ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Нам нужно изменить лишь одну культуру.

Я не хочу сказать, что это легко. Но это и *не невозможно*.

Вопросы слушателей

Вопрос: Отождествляете ли вы зарождение нашей культуры с тем, что в Библии называется грехопадением?

Ответ: Да, отождествляю. Сходство двух этих событий замечено, кстати, давно. То и другое связано с зарождением сельского хозяйства, то и другое произошло в одной и той же части света. Нельзя, конечно, рассматривать их как одно и то же событие, поскольку грехопадение — это событие духовного плана, тогда как зарождение сельского хозяйства — это технологическое событие. Последнее, правда, имело и глубокие духовные последствия, но боюсь, что для их рассмотрения мне придётся прийти сюда ещё раз.

Вопрос: Вы сказали, что на протяжении миллионов лет, предшествовавших нашей сельскохозяйственной революции, человек жил в мире с миром. Но разве недавно сделанные открытия не свидетельствуют, что древние охотники-собиратели полностью истребили многие биологические виды?

Ответ: Если мне не изменяет память, сказав, что человек жил в мире с миром, я добавил: «Это не значит, что он ходил по земле как Будда. Это значит, что он был таким же безвредным, как гиена, акула или гремучая змея». Когда в мире появляется новый биологический вид, это вызывает изменения во всём биологическом сообществе. Например, когда в конце эпохи эоцена появились быстрые и сильные хищники семейства кошачьих, последствия этого затронули весь животный мир и обрекли некоторые виды на вымирание. Виды, представлявшие собой «лёгкую добычу», вымер-

ли, поскольку оказались не в состоянии воспроизводиться быстрее, чем гибли. Некоторые из соперников кошек вымерли потому, что не смогли соперничать с ними — уступали им в размерах или быстроте. Такое появление и исчезновение видов в конечном счёте и есть эволюция.

Люди-охотники в период мезолита вполне могли полностью истребить мамонтов, но определённо не сделали бы это намеренно, как фермеры в нашей культуре истребляют койотов и волков, просто чтобы избавиться от них. Охотники мезолита вполне могли полностью истребить большерогих оленей, но определённо не сделали бы это из бесчувственной корысти, как охотники за слоновой костью массово убивают слонов. Охотники за слоновой костью прекрасно осознают, что с каждым убийством этот вид приближается к вымиранию, тогда как охотники мезолита едва ли думали о таких вещах, охотясь на большерогих оленей. Важно не забывать о следующем: истребление нежелательных биологических видов является частью *политики* тоталитарного сельского хозяйства. Если древние охотники и доводили тот или иной вид животных до вымирания, то уж точно не потому, что хотели остаться без мяса!

Вопрос: Не было ли развитие сельского хозяйства реакцией на голод?

Ответ: Сельское хозяйство бесполезно как реакция на голод. Начинать сеять, когда уже наступил голод, так же бессмысленно, как шить парашют, уже вывалившись из самолёта. Но дело даже не в этом. Утверждение, что сельское хозяйство возникло как реакция на голод, равносильно утверждению, что курение — это реакция на рак лёгких. Сельское хозяйство не решает проблему голода, оно усугубляет её, создавая условия, при которых начинается голод. Сельское хозяйство делает возможным проживание на той или иной территории большего числа людей, чем терри-

тория может прокормить. Это и гарантирует там начало голода. Например, сельское хозяйство позволило многим народам Африки настолько повысить темпы рождаемости, что местных ресурсов перестало хватать на всех, и теперь эти народы страдают от голода.

(Вернуться в главу 3.)

ГЛАВА 26

Лягушка в кипятке

18 мая, театр «Ванфрид», Раденау

Системные аналитики дали нам полезную метафору, наглядно объясняющую поведение человека в определённых ситуациях. Эта метафора известна как феномен лягушки в кипятке, который заключается в следующем. Если бросить лягушку в кастрюлю с кипящей водой, она, естественно, сразу попытается выбраться из неё. Но если осторожно опустить её в тёплую воду и разогревать кастрюлю на медленном огне, лягушка будет там плавать вполне безмятежно. По мере того, как вода будет нагреваться всё больше, лягушка впадёт в оцепенение, похожее на состояние лёгкого транса, какое мы испытываем в горячей ванне, и уже вскоре с улыбкой на лице и без малейшего сопротивления сварится насмерть.

Аналогии с лягушками, упавшими в кипящую воду, нам всем хорошо известны. Например, молодожёнам срочно потребовалась дорогостоящая медицинская помощь — и они в мгновение ока увязли в катастрофических долгах. Противоположный пример — пример улыбающейся лягушки — это когда те же молодожёны медленно, но безостановочно покупают вещи в кредит и в итоге тоже оказываются в катастрофических долгах.

Есть примеры и культурного плана. Около шести тысяч лет назад на языческие общины Старой Европы хлынул кипяток нашей курганной культуры — событие, которое Мария Гим-

бутас назвала Первой курганной волной. Язычники пытались спастись, но им это не удалось, и они погибли. Равнинные индейцы Северной Америки, которых в 1870-е годы поглотил другой поток кипятка нашей культуры, представляют собой другой пример: двадцать с лишним лет они боролись за выживание, но в итоге тоже погибли.

Противоположный пример — пример улыбающейся лягушки — мы находим в нашей собственной культуре. Когда мы соскользнули в котёл, вода там была идеальной температуры — не слишком горячая и не слишком холодная. Когда это было? Кто помнит? Тишина.

Я уже говорил вам об этом. Тогда поставлю вопрос иначе: когда мы стали такими, какие мы есть? Где и когда мы начали становиться такими, какие мы есть? Вспомните: Восток и Запад, рождение близнецов. Где? И когда?

Правильно, на Ближнем Востоке, около десяти тысяч лет назад. Там зародилась наша характерная, определяющая форма сельского хозяйства, и мы стали такими, какие мы есть. Там была наша культурная родина. Там и тогда — на Ближнем Востоке, около десяти тысяч лет назад — мы погрузились в необычайно приятную воду.

Пока вода медленно нагревается, лягушка не ощущает ничего, кроме приятного тепла. На самом деле там и нечего больше ощущать. Должно пройти много времени, прежде чем вода нагреется до опасной температуры, и наша собственная история подтверждает это. В течение всей первой половины нашей истории, первых пяти тысяч лет, нет почти никаких оснований для беспокойства. Технологические новшества этого периода настроены на спокойную деревенскую жизнь вокруг домашнего очага — сушёный на солнце кирпич, обожжённая в печи керамика, тканая одежда, гончарный круг и т. п. Но постепенно и незаметно, как крохотные пузырьки на дне кастрюли, появляются признаки надвигающейся беды.

Что можно считать предвестниками грядущей беды? Мас-

совые самоубийства? Восстания? Терроризм? Конечно, нет. Всё это придёт позже, когда вода уже станет невыносимо горячей. Пять тысяч лет назад она всё ещё нагревалась. Люди весело плескались в ней, приговаривая: «Хорошо-то как!»

Вы распознаете признаки надвигающейся беды, если определите, что за огонь нагревает котёл. Он горел там в самом начале, горел и пять тысяч лет спустя, и по-прежнему продолжает гореть сегодня. Он был и остаётся великим *термоэлементом* нашей революции, её сутью. Он — необходимое условие нашего успеха (если это можно назвать успехом).

Да? Кто-то хочет мне подсказать. Говорите!

— Сельское хозяйство!

— Мужчина говорит, что это сельское хозяйство. Да, но не сельское хозяйство как таковое, а лишь одна определённая *форма* его ведения, которая была основой нашей культуры с самого начала десять тысяч лет назад, остаётся её основой по настоящее время и не встречается ни в какой другой культуре. Эта форма *исключительно наша*. Это она сделала нас такими, какие мы есть. Из-за её беспощадности ко всем другим формам жизни на этой планете и из-за её маниакального стремления использовать каждый квадратный метр земли для производства еды для людей я называю эту форму *тоталитарным* сельским хозяйством.

Этологи, изучающие поведение животных, и несколько философов, поразмышлявших на эту тему, заметили, что всё биологическое сообщество на этой планете живёт по определённым этическим правилам — всё, кроме нас. Это очень практичная (можно сказать, дарвиновская) этика, нацеленная на сохранение и поощрение биологического разнообразия внутри сообщества. Согласно этой этике, которой следует каждый отдельный представитель каждого биологического вида — акула и овца, трутень и бабочка, — ты вправе соперничать в полную силу своих способностей, но не вправе убивать своих соперников, уничтожать их пищу

и лишать их доступа к пище. Иными словами, соперничать можно, воевать — нет. Практика тоталитарного сельского хозяйства нарушает эту этику по всем пунктам. Мы убиваем своих соперников, уничтожаем их пищу и лишаем их доступа к пище. В этом весь смысл и конечная цель тоталитарного сельского хозяйства. Тоталитарное сельское хозяйство исходит из предпосылки, что *вся пища в мире принадлежит нам, людям,* и что нет никакого предела тому, что мы вправе забрать себе и в чём отказать другим.

Мы сделали тоталитарное сельское хозяйство основой нашей культуры не просто из жадности. Мы выбрали эту форму потому, что она более продуктивна, чем любая другая (а других форм очень много). Тоталитарное сельское хозяйство позволяет поднять продуктивность до *максимума*, то есть до уровня, превысить который практически невозможно.

Многие формы ведения сельского хозяйства (не все, но многие) позволяют производить излишки продовольствия. Но тоталитарное сельское хозяйство производит больше излишков, чем любое другое. Производство излишков в нём тоже доведено до *максимума*. Здесь нечему удивляться: невозможно превзойти по производительности систему, предназначенную для переработки *всего* съедобного на планете в человеческую еду.

Тоталитарное сельское хозяйство — это огонь под нашим котлом. Тоталитарное сельское хозяйство — это огонь, который в течение уже десяти тысяч лет всё нагревает и нагревает воду, где мы с вами плаваем.

Наличие пищи и численность населения

Люди нашей культуры настолько привыкли к изобилию продуктов питания, что не видят неразрывной связи между наличием пищи и ростом численности населения. Для них я счёл нужным провести небольшой наглядный эксперимент с лабораторными мышами.

Представьте себе клетку с раздвижными стенками, позволяющими увеличивать её вместимость до любых размеров. Для начала поместим в клетку десять здоровых мышей обоих полов и дадим им достаточное количество пищи и воды. Уже через несколько дней мышей в клетке окажется двадцать, и мы соответственно увеличим количество пищи. Через несколько недель, при постоянном увеличении количества пищи в кормушке, в клетке будет уже сорок мышей, затем пятьдесят, шестьдесят и т. д., пока в один прекрасный день мы не насчитаем целую сотню. Теперь допустим, что мы решили остановиться на этой сотне и больше не допускать роста численности мышей. Как вы понимаете, для достижения этой цели нет необходимости раздавать им маленькие презервативы или противозачаточные пилюли. Достаточно *перестать* увеличивать количество пищи в кормушке, а класть туда каждый день ровно столько, сколько нужно сотне мышей, и ни грамма больше. И здесь происходит то, что многим может показаться невероятным, но, уверяю вас, это чистая правда: рост численности мышей останавливается, как по команде. Не на следующий же день, конечно, но очень быстро. Кладя в кормушку столько пищи, сколько достаточно для сотни мышей, мы обнаруживаем — при каждом повторении эксперимента, — что их численность в клетке вскоре стабилизируется на сотне. Разумеется, я не имею в виду ровно сотню — численность может колебаться между девяноста и ста десятью, но никогда значительно не выходит за эти пределы. День за днём, год за годом, десятилетие за десятилетием численность мышей в клетке будет в среднем равняться сотне.

Если мы захотим увеличить численность мышей со ста до двухсот, нам тоже не придётся добавлять в корм стимуляторы сексуального влечения или демонстрировать перед клеткой мышиную порнографию. Достаточно увеличить количество корма в кормушке. Если корма станет достаточно для двухсот

мышей, скоро их будет двести. Если станет достаточно для трёхсот, скоро их будет триста. Если станет достаточно для четырёхсот, будет четыреста. Для пятисот — будет пятьсот. И это не теория, друзья мои, не гипотеза. Это факт.

Как вы понимаете, всё это относится не только к мышам. Результат будет точно таким же, если вместо мышей мы возьмём сверчков, форель, барсуков или воробьёв. Но боюсь, что многие из нас с негодованием отвергнут возможность включения в этот список и человека. Потому что *как личности* мы способны управлять своими репродуктивными инстинктами, и рост нашей численности как *биологического вида* не может быть обусловлен таким примитивным фактором, как наличие пищи.

К счастью, я располагаю значительным объёмом данных, показывающих, что мы как биологический вид реагируем на наличие пищи точно таким же образом, как все остальные виды. Это данные фактически за три миллиона лет. Всё это время, за исключением последних десяти тысяч лет, человек как биологический вид представлял собой очень небольшую часть мировой экосистемы. Вы только представьте: за три миллиона лет человечество *не* перенаселило Землю! Был, конечно, некоторый прирост через простую миграцию с континента на континент, но этот прирост происходил черепашьими темпами. Численность человеческого населения в начале неолита оценивается в десять миллионов. Вдумайтесь в это: десять миллионов человек после трёх миллионов лет существования!

И вдруг ситуация начала меняться. Начало переменам положило изобретение людьми нашей культуры в одном уголке мира особой формы ведения сельского хозяйства, которая позволяла обеспечивать людей продуктами питания в беспрецедентных количествах. Уже вскоре, за какие-то три тысячи лет, численность населения в этом уголке мира удвоилась. Затем она удвоилась ещё раз, но уже всего за две

тысячи лет. Геологически в мгновение ока численность человеческого населения планеты с десяти миллионов подскочила до пятидесяти миллионов, из которых, по всей вероятности, около восьмидесяти процентов практиковали тоталитарную форму сельского хозяйства, а значит, были представителями нашей культуры, как на Востоке, так и на Западе.

Вода в котле становилась всё горячее, и начали появляться признаки надвигающейся беды.

Признаки надвигающейся беды: 5000–3000 гг. до н. э.

Становилось тесно. Вдумайтесь в это. Люди обычно представляют историю как цикличный процесс, но то, что я сейчас описываю, не случалось никогда прежде. Три миллиона лет людям никогда и нигде не было тесно. А теперь люди одной-единственной культуры — нашей культуры — начали понимать, что такое теснота. Становилось тесно, и переутомлённая, вытравленная земля становилась всё менее и менее урожайной. Людей становилось больше, и они соперничали между собой за истощавшиеся ресурсы.

Вода вокруг лягушки всё горячее. Но не будем забывать, что мы ищем — признаки надвигающейся беды. Что происходит, когда чего-то не хватает на всех? Это известно каждому школьнику. Когда чего-то не хватает на всех, люди начинают из-за этого драться. Разумеется, они не набрасываются на кого попало. Городской мясник не дерётся с городским пекарем, городской портной не дерётся с городским сапожником. Нет, все они объединяются и идут бить мясника, пекаря, портного и сапожника *другого* города.

Не обязательно видеть трупы на поле боя, чтобы понять, что это было началом войны, не утихающей по сей день. И в этой войне нас интересует прежде всего её *механизм*. Не механизмы, такие как колесницы, катапульты, тараны и прочее, а *политический* механизм. Мясники, пекари, портные и

сапожники *не сами* объединяются в армии. Их объединяют военачальники — князья, короли, императоры.

Именно в этот период, начавшийся около пяти тысяч лет назад, возникают первые государства, предназначением которых являются вооружённые оборона и агрессия. Именно в этот период формируется постоянная армия, чья функция — это функция меча власти в руках монарха. Без постоянной армии король ничем не важнее своего шута. Вы это понимаете. А с постоянной армией он может навязывать свою волю врагам и впечатывать своё имя в историю, и единственные имена, которые дошли до нас с той поры, это имена королей-завоевателей. Не учёных, не философов, не историков, не пророков — только завоевателей. В этом тоже нет ничего цикличного. Впервые в человеческой истории самыми важными стали считаться люди, стоящие во главе армий.

Теперь обратите внимание на тот факт, что никто не увидел в появлении армий дурного знака — признака надвигающейся беды. Наоборот, в армии увидели *добрый* знак. Армию сочли признаком *прогресса*. Температура воды была восхитительной, и никто не обращал внимания на мелкие пузырьки на дне.

С тех пор нужды армии были главным стимулом технического прогресса в нашей культуре. В этом нет ничего плохого, не правда ли? У наших солдат должны быть лучшие кольчуги, лучшие мечи, лучшие колесницы, лучшие луки и стрелы, лучшие катапульты, лучшие тараны, лучшая артиллерия, лучшие ружья, лучшие самолёты, лучшие бомбы, лучшие ракеты, лучшие нервно-паралитические газы — ну, вы меня понимаете. В то время никто не увидел в подчинении технического развития нуждам армии признаков какого-то нехорошего процесса. Все видели в этом *прогресс*.

С того момента частотой и жестокостью войн можно измерять температуру воды, где пока ещё с улыбкой плавает наша лягушка.

Признаки надвигающейся беды: 3000–1400 гг. до н. э.

Огонь продолжал гореть под котлом нашей культуры, и следующее удвоение нашего населения произошло всего за тысячу шестьсот лет. В 1400 году до н. э. людей на планете уже было сто миллионов, из них примерно девяносто процентов, по всей вероятности, принадлежали к нашей культуре. Ближний Восток недолго оставался для нас достаточно просторным. Тоталитарное сельское хозяйство двинулось на север и восток — на территории нынешних России, Индии и Китая; на север и запад — в Малую Азию и Европу. Некогда во всех тех местах практиковали другие формы сельского хозяйства, но отныне, само собой разумеется, под сельским хозяйством понималась только одна, *наша* форма его ведения.

Вода всё горячее и горячее. Все старые признаки надвигающейся беды по-прежнему налицо — с чего бы им исчезать? По мере того, как вода нагревается, старые признаки становятся лишь крупнее и драматичнее. Война? Войны прежних веков выглядят детскими шалостями по сравнению с войнами нового времени. Это бронзовый век! Кованое оружие! Кованые щиты! Огромные постоянные армии, опирающиеся на несметные имперские богатства!

В отличие от признаков военного характера, другие признаки надвигающейся беды не отливают в бронзе и не высекают в камне. Никто не создаёт барельефы о жизни в трущобах Мемфиса и Трои. Никто не пишет обличительные статьи о коррупции чиновников в Кноссосе и Мохенджо-Даро. Никто не снимает документальные фильмы о работорговле. Но хотя бы один из признаков был замечен в те времена всеми: невиданный рост преступности.

Судя по вашим лицам, этот факт не произвёл на вас впечатления. Преступность? Преступность всегда существовала в человеческом обществе, разве нет? Нет, на самом деле нет. Дурное поведение — да. Грубость, хулиганство — да. Люди

всегда могут влюбиться по ошибке, а потом охладеть, или наделать глупостей, или быть жадными и злопамятными. Но преступность — это совсем другое, и мы все это знаем. Преступности в нашем её понимании не существует у народов, живущих племенами, но не потому, что люди там лучше нас, а потому, что их жизнь организована по-другому. На этом стоит остановиться подробнее.

Если кто-нибудь раздражает вас — скажем, перебивая на каждом слове, — это не преступление. Вы не можете вызвать полицию и потребовать, чтобы этот человек был арестован, допрошен и посажен в тюрьму. Потому что перебивать — это не преступление. Значит, вы должны сами каким-то образом урегулировать ситуацию. Но если тот же человек придёт к вам домой и откажется уходить, это уже преступление, нарушение неприкосновенности жилища, и вы с полным правом можете вызвать полицию и потребовать, чтобы этот человек был арестован, допрошен и, может быть, посажен в тюрьму. Иными словами, преступления запускают в действие государственные механизмы, а другие формы дурного поведения — нет. Преступление — это то, что *государство* определяет как преступление. Нарушение неприкосновенности жилища — это преступление, а перебивание — нет, поэтому и методы противодействия в этих случаях разные. Для людей в племенных сообществах подобной классификации поступков не существует. Будь это просто плохое поведение или убийство, они разбираются в деле сами, причём так же просто, как мы щёлкаем выключателем. О вмешательстве государства у них нет и речи, поскольку нет государства. В племенных сообществах преступление не является какой-то отдельной категорией человеческого поведения.

И опять обратите внимание: в возникновении преступности в человеческом обществе нет ничего цикличного. С преступностью люди столкнулись впервые в истории. Обратите также внимание на то, что преступность появилась на

раннем этапе развития письменности. Это значит, что, как только люди научились писать, они первым делом стали писать *законы*. Потому что письменность позволила им делать то, чего они не могли делать раньше — раз и навсегда фиксировать точные правила поведения, которые только государство может регулировать, за соблюдением которых только государство может следить и за нарушение которых только государство может наказывать.

С этого момента преступность обрела самостоятельный статус «проблемы» в нашей культуре. Как и войне, ей суждено было остаться с нами по сегодняшний день, как на Востоке, так и на Западе. С этого момента преступность на равных с войной являлась мерой того, насколько горячей становилась вода, где плавала наша улыбчивая лягушка.

Признаки надвигающейся беды: 1400–0 гг. до н. э.

Огонь продолжал гореть под котлом нашей культуры, и следующее удвоение нашего населения произошло всего за тысячу четыреста лет. В начале «нашей эры» людей уже было двести миллионов, из них более девяноста пяти процентов принадлежали к нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе.

Это была эра политического и военного авантюризма. Хаммурапи завладел всей Месопотамией. Египетский фараон Сенусерт III захватил Палестину и Сирию. Ассирийский царь Тиглатпаласар I расширил свои владения до берегов Средиземного моря. Египетский фараон Шешонк опустошил Палестину. Тиглатпаласар III завоевал Сирию, Палестину, Израиль и Вавилон. Вавилонский Навуходоносор II взял Иерусалим и Тир. Кир Великий подчинил себе практически весь цивилизованный Запад, а два столетия спустя то же самое повторил Александр Македонский.

Это была также эра народных восстаний и цареубийств. Правление Салманасара в Ассирии закончилось революци-

ей. Мятеж в Халкиде против власти Афин положил начало двадцатилетней Пелопоннесской войне. Несколько лет спустя восстала Митилена на острове Лесбос. Спартанцы, ахейцы и аркадцы совместно восстали против македонского правления. Мятеж в Египте вынудил Птолемея III прервать военную кампанию в Сирии и вернуться домой. Филипп Македонский был убит, как были убиты персидский Дарий III, Селевк III Сотер, карфагенский генерал Гасдрубал, социальный реформатор Тиберий Семпроний Гракх, царь Антиох VIII из династии Селевкидов, китайский император Ван Ман, римские императоры Клавдий и Домициан.

В тот период наблюдались и другие новые признаки стресса. Подделка и порча монет, девальвация, катастрофическая инфляция — всё это стало привычным делом. Голод стал регулярным явлением во всём цивилизованном мире, как и чума — типичный симптом чрезмерной плотности населения и плохих санитарных условий. В 429 году до н. э. жертвами чумы стали две трети жителей Афин. Мыслители Китая и Европы начали советовать людям иметь поменьше детей.

Работорговля превратилась в огромный международный бизнес, доживший до наших дней. По оценкам историков, в середине пятого века каждый третий или четвёртый человек в Афинах был рабом. Когда в 146 году до н. э. Карфаген пал под натиском римлян, пятьдесят тысяч его уцелевших жителей были проданы в рабство. В 132 году до н. э. около семидесяти тысяч римских рабов восстали. Когда восстание было подавлено, двадцать тысяч из них были распяты, но это далеко не решило проблемы с рабами в Риме.

В числе новых признаков надвигающейся беды были и непосредственно относящиеся к теме нашего сегодняшнего разговора. Впервые в истории люди начали осознавать, что жизнь устроена фундаментально несправедливо. Впервые в истории люди начали ощущать внутреннюю пустоту, начали чувствовать неудовлетворённость жизнью, начали задумы-

ваться о её смысле, начали искать в ней что-то *большее*, чем чисто физическое существование. Впервые в истории люди начали слушать религиозных учителей, которые обещали им *спасение*.

Невозможно переоценить значение этой новой идеи спасения. Конечно, религиозная вера была частью нашей культуры и раньше, на протяжении тысяч лет, но речь в ней никогда не шла о *спасении* в нашем его понимании и в понимании тех, кто в тот период впервые услышал о нём. Прежние боги были талисманными богами кухни и жатвы, охоты и благоприятного для неё тумана, покраски дома и выпаса скота. Погладь фигурку — и жди удачи. Новые же религии были государственными религиями, частью аппарата управления и верховной власти (на это указывают сами их храмы, явно построенные для королевских церемоний, а не для массовых молитв простого народа).

Иудаизм, брахманизм, индуизм, синтоизм и буддизм — все эти религии возникли в тот период и не существовали прежде. Через шесть тысяч лет после возникновения тоталитарного сельского хозяйства и зарождения цивилизации люди нашей культуры на Западе и Востоке вдруг стали задумываться о смысле жизни, начали ощущать в душе пустоту, которую не могли заполнить ни экономические успехи, ни уважение окружающих, начали чувствовать, что с ними что-то *не так* на самом глубинном уровне их существа.

Признаки надвигающейся беды: 0–1200 гг. н. э.

Огонь продолжал гореть под котлом нашей культуры, и следующее удвоение нашего населения произошло всего за тысячу двести лет. К концу этого периода людей уже было четыреста миллионов, из них девяносто восемь процентов принадлежали к нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе. Война, чума, голод, политическая коррупция и народные волнения, преступность и экономическая неста-

бильность были постоянными спутниками нашей культуры и остались ими навеки. К началу этого периода религии, основанные на идее спасения, существовали на Востоке уже несколько веков, тогда как великая империя Запада всё продолжала поклоняться дюжинам талисманных божеств, от Эола до Зефира. Тем не менее, когда первая аналогичная великая религия ступила на порог империи Запада, основная масса её населения — рабы, порабощённые народы, крестьяне и обездоленные — оказалась вполне к ней готова. Им нетрудно было представить, что человечество от рождения порочно, погрязло в грехе и нуждается в спасении от вечного проклятия. Они жаждали укрыться от презренного мира мечтой о благословенной жизни после смерти, где бедные и униженные восторжествуют над властителями и знатью.

Огонь продолжал неослабно гореть под котлом нашей культуры, но у людей теперь были спасительные религии, приучавшие их с пониманием и терпимостью переносить неизбежные тяготы жизни. Адепты религий склонны обращать основное внимание на различия между ними, но я хочу указать на их сходства, которые заключаются в следующем. Жизнь такова, какова она есть, и никакие ваши усилия не изменят этого. Не в ваших силах спасти ваш народ, ваших друзей, родителей, вашу жену или вашего мужа, но вы можете спасти хотя бы одного (и только одного) человека — *себя*. Никто, кроме вас самих, не может спасти вас, и вы не можете спасти никого, кроме себя. Вы можете молиться за других, и другие могут молиться за вас, но этим всё и ограничивается, будь то в буддизме, индуизме, иудаизме, христианстве или исламе: никто, кроме вас самих, не может спасти вас, и вы не можете спасти никого, кроме себя. Несомненно, спасение — это наивысший успех, которого вы можете достичь в жизни, и вы не просто *не обязаны* им делиться — им *невозможно* ни с кем поделиться.

В этих религиях так всё продумано, что, если вы не заслу-

жили спасение, то для вас это полный провал независимо от того, преуспели в этом другие или нет. С другой стороны, если вы заслужили спасение, то ваш успех абсолютен независимо от успеха или провала других. В конечном счёте, согласно этим религиям, если *вы* спасены, то буквально ничто во всей Вселенной больше не имеет значения. Только ваше спасение важно. И ничьё другое, даже *моё* (для меня-то самого оно важно).

Это была новая шкала ценностей для всех в мире. Забудьте, что вода закипает, забудьте страдания — ничто не имеет значения, кроме вас и вашего спасения.

Признаки надвигающейся беды: 1200–1700 гг.

Новая шкала ценностей поставила всё с ног на голову, но — огонь под котлом нашей культуры продолжал гореть, и следующее удвоение нашего населения произошло всего за пятьсот лет. К концу этого периода людей уже было восемьсот миллионов, из них девяносто девять процентов принадлежали к нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе. Это была эпоха бубонной чумы («чёрной смерти»), монгольской Орды и Инквизиции. В Лондоне были открыты первый сумасшедший дом и первая долговая тюрьма. В 1251 и 1358 годах произошли крестьянские бунты во Франции; в 1280 году — восстание текстильщиков во Фландрии; в 1381 году народное восстание под предводительством Уота Тайлера охватило почти всю Англию и ввергло страну в пучину анархии (участники восстания требовали прекращения эксплуатации в промышленности и сельском хозяйстве); в 1428-м и снова в 1461 году — бунты рабочих в изнурённой чумой и голодом Японии; в 1671 и 1672 годах — восстания крепостных крестьян в России; ещё через восемь лет — крестьянский бунт в Богемии. В середине четырнадцатого века на Европу обрушивается опустошительная эпидемия «чёрной смерти», которая затем периодически возвращается в течение

ещё двух веков, всякий раз унося десятки тысяч жизней; в семнадцатом веке в северной Италии она всего за два года убила миллион человек.

Когда приходит большая беда, не щадящая никого, козлами отпущения часто становятся евреи. Франция в 1252 году пытается изгнать их, позднее обязывает их носить отличительные нагрудные знаки, затем конфискует их собственность, затем снова пытается изгнать их. Британия пытается изгнать их в 1290 и 1306 годах. Кёльн пытается изгнать их в 1414 году. Когда бы и где бы ни вспыхивала бубонная чума, в её распространении винили евреев и вешали, и сжигали их заживо тысячами. Кастилия пытается изгнать их в 1492 году. Тысячи евреев забиты насмерть в Лиссабоне в 1506 году. Папа Павел III отделяет их квартал от остального Рима стеной, чем основывает первое гетто.

Подспудный страх перед мучительной смертью находит в ту эпоху выражение и в таком явлении, как самоистязание, основанное на идее, что Бог перестанет посылать нам невыносимые страдания (чуму, голод, войны и т. п.), если мы сами подвергнем себя невыносимым страданиям. В 1374 году на улицах города Экс-ля-Шапель некоторое время можно было наблюдать многотысячные толпы людей, доводивших себя до исступления и обморока неистовыми судорожными танцами.

Миллионы людей умерли от наступившего в 1232 году голода в Японии, в 1258 году в Германии и Италии, в 1294 и 1555 годах в Англии, в 1315 году во всей Западной Европе, в 1569 году в Лиссабоне, в 1591 году в Италии, в 1596 году в Австрии, в 1603 году в России, в 1650 году в Дании, в 1669 году в Бенгалии, в 1674 году в Японии. Новыми бедствиями в Европе стали сифилис и тиф. К ним добавилось отравление спорыньёй (эрготизм) — родом грибов, паразитирующих на некоторых злаках, в том числе на ржи и пшенице. В Германии эрготизм принял масштабы настоящей эпидемии, унёсшей жизни тысяч человек. В Англии десятки тысяч человек умерли

от неизвестного рода лихорадки, несколько раз поразившей страну. Люди тысячами умирали от оспы, тифа и дифтерии.

Инквизиторы изобрели новый способ борьбы с ересью и колдовством — пытать подозреваемых до тех пор, пока они не оговорят кого-то ещё, а те в свою очередь кого-то ещё, и так до бесконечности. Работорговля расцвела с новой силой, когда африканцев начали отправлять в Новый Свет. Само собой разумеется, что война, политическая коррупция и преступность тоже никуда не делись и продолжали неуклонно расти в масштабах. Вряд ли кто-нибудь спорил с Томасом Хоббсом, когда он в 1651 году охарактеризовал человеческую жизнь как «одинокую, нищую, мерзкую, жестокую и короткую». Несколько лет спустя Блез Паскаль заметил: «Все люди от природы ненавидят друг друга». Этот период завершился десятилетиями экономического хаоса, обострённого мятежами, вспышками голода и эпидемиями.

Христианство стало первой глобальной религией, основанной на идее спасения, проникшей как на Дальний Восток, так и в Новый Свет. В то же время эта религия начала давать трещины. Первому расколу она сопротивлялась довольно ожесточённо, но затем расколы стали обычным делом.

Прошу понять правильно, для чего я всё это говорю. Я не стремлюсь изобразить человека воплощением зла. Всё вышеизложенное — это реакции на избыточность населения: слишком много людей борются за недостаточное количество ресурсов, едят гнилую пищу, пьют заражённую воду, видят, как их семьи умирают от голода, как умирают от чумы дети.

Признаки надвигающейся беды:1700–1900 гг.

Огонь под котлом нашей культуры продолжал гореть, и следующее удвоение нашего населения произошло всего за двести лет. К концу этого периода людей уже было полтора миллиарда, и все они, кроме половины процента, принадлежали к нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе. Это

период, когда религиозным пророкам для привлечения массового внимания впервые стало достаточно просто предсказать скорое наступление конца света; когда торговля опиумом стала большим международным бизнесом, финансируемым Ост-Индской компанией и охраняемым британским военным флотом; когда Австралия, Новая Гвинея, Индия, Индокитай и Африка были целиком и по частям колонизированы великими державами Европы; когда коренное население в разных концах света миллионами умирало от болезней, завезённых европейцами (корь, пеллагра, коклюш, оспа, холера), а миллионы выживших колонизаторы загоняли в резервации или убивали, чтобы освободить пространство для белой экспансии.

Это не значит, что страдали только аборигены. В одном лишь восемнадцатом веке от оспы умерли шестьдесят миллионов европейцев. Десятки миллионов стали жертвами эпидемий холеры. Мне потребовалось бы минут десять, чтобы перечислить десятки смертельных вспышек чумы, тифа, жёлтой лихорадки, скарлатины и гриппа, случившиеся в тот период. А всякому, кто сомневается в тесной связи между сельским хозяйством и голодом, достаточно заглянуть в хронологию того периода: неурожай — голод, неурожай — голод, неурожай — голод, снова и снова, во всём цивилизованном мире. Цифры ошеломляют. 1769 год: десять миллионов человек умерли от голода в Бенгалии. 1845 и 1846 годы: два миллиона в Ирландии и России. 1876–1879 годы: около пятнадцати миллионов в Китае и Индии. Десятки и сотни тысяч умерших от голода во Франции, Германии, Италии, Британии, Японии и других странах — случаев слишком много, чтобы перечислить все.

По мере того, как росло население городов, человеческие страдания достигали невообразимых прежде масштабов. Сотни миллионов людей жили в трущобах в немыслимой нищете, мучаясь от болезней, переносимых крысами, уто-

ляя жажду заражённой вирусами водой, без образования и надежд на лучшее будущее. Преступность процветала, как никогда прежде, и обычно наказывалась самосудом толпы, клеймением, поркой или казнью. Тюремное заключение как альтернативная форма наказания начало активно практиковаться лишь ближе к концу этого периода. На улицах всё чаще встречались люди с повреждённой психикой — душевнобольные, помешанные, называйте их как хотите. Никто не знал, что делать с совсем безумными. Обычно их сажали в тюрьму вместе с преступниками, приковывали к стене, избивали и забывали о них.

Экономика оставалась крайне нестабильной, и последствия этого были всё ощутимее. Три года экономического хаоса во Франции закончились революцией 1789 года, в которой около четырёхсот тысяч человек были сожжены, расстреляны, утоплены или казнены на гильотине. Периодические рыночные кризисы и депрессии разоряли сотни тысяч предпринимателей и обрекали миллионы на голодную смерть.

К этому же периоду относится, правда, и индустриальная революция, но она не принесла массам ни облегчения, ни процветания — наоборот, она обернулась для них ещё более жестокой и алчной эксплуатацией, заставив женщин и маленьких детей работать по десять, двенадцать и более часов в день за нищенские зарплаты в мастерских, на фабриках и в шахтах. Есть масса литературы об этих ужасах, так что подробности вы легко найдёте и без меня. В 1787 году было подсчитано, что рабочие во Франции, работая по шестнадцать часов в день, шестьдесят процентов своего заработка тратили на еду, состоявшую почти исключительно из хлеба и воды. Лишь в середине девятнадцатого века британский парламент законодательно ограничил продолжительность рабочего дня детей десятью часами. Отчаяние повсюду толкало людей к восстанию, а правительства повсюду же отвечали систематическими репрессиями, жестокостью и усилением

тирании. Общенародные восстания, крестьянские восстания, колониальные восстания, восстания рабов, восстания рабочих — их были сотни, и я не в силах их все перечислить. Как на Востоке, так и на Западе, это была эпоха революций. В них погибли десятки миллионов людей.

Обычные и привычные в наши дни формы взаимоотношений между «низами» и «верхами», бунт и репрессии были новыми и характерными для того периода признаками надвигающейся беды.

В тот же период в Европе были массово истреблены волки и дикие кабаны. В 1844 году на острове Эльдей рядом с Исландией была застрелена последняя на планете пара бескрылых гагарок, за которыми охотились ради их ценных перьев. Бескрылая гагарка стала первым в истории биологическим видом, исчезнувшим в результате человеческой алчности. В Северной Америке в целях освобождения территории под железную дорогу и лишения враждебно настроенного коренного населения его основной пищи профессиональные охотники за один год истребили три миллиона бизонов; к 1893 году их осталась всего одна тысяча.

Люди больше не шли на войну защищать свою веру. Не потому, что они её потеряли, — вера была в них крепка, как прежде, — а потому, что теологические раздоры и распри, некогда считавшиеся смертельно важными, лишились былого значения под нарастающим давлением чисто материальных проблем. Утешение, которое приносит религия, —это одно, а рабочие места, хорошие заработки, достойные условия жизни и труда, свобода от угнетения и хоть какая-то надежда на улучшение положения в экономике и обществе в целом — это совсем другое.

Думаю, не будет слишком большим преувеличением сказать, что надежды, которые прежде возлагались на религию, отныне возлагались на революцию и политические реформы. Обещаний счастья в загробной жизни теперь было мало,

чтобы температура воды в котле продолжала казаться терпимой. В 1843 году молодой Карл Маркс назвал религию «опиумом народа». Оглядываясь на тот период полтора века спустя, можно, однако, сказать, что религия и тогда уже не была достаточно эффективным наркотиком.

Признаки надвигающейся беды: 1900–1960 гг.

Огонь под котлом нашей культуры продолжает гореть, и следующее удвоение нашего населения происходит всего за шестьдесят лет. Всего за шестьдесят! К концу этого периода людей уже три миллиарда, и все они, кроме, может быть, двух десятых процента, принадлежат к нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе.

Что можно сказать о воде у нас в котле в эту эру? Думаете, уже кипит? Можно ли считать начавшийся в 1929 году первый глобальный экономический кризис признаком надвигающейся беды? А две катастрофических мировых войны, как по-вашему, похожи на признаки надвигающейся беды? Поднимитесь на несколько тысяч километров и взгляните из космоса, как шестьдесят пять миллионов человек истребляют друг друга на полях сражений или разрывают друг друга в клочья бомбардировками; как ещё сто миллионов считают себя счастливчиками — всего лишь ослепшими, всего лишь безногими, всего лишь калеками. Я говорю о числе людей равном всему населению земного шара в Золотой век классической Греции. Я говорю о числе людей, которых вы уничтожили бы, сбросив сегодня водородные бомбы на Берлин, Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Токио и Гонконг.

Дамы и господа, я думаю, что вода уже закипает. Я думаю, что лягушка почти сварилась.

Признаки надвигающейся беды: 1960–1996 гг.

Следующее удвоение нашего населения произошло всего за тридцать шесть лет, доставив нас в сегодняшний день, где

нас на планете аж шесть миллиардов человек, полностью (за исключением нескольких рассыпанных там и сям миллионов) принадлежащих к нашей культуре, как на Востоке, так и на Западе.

Из века в век к нашему издавна поющему хору отчаяния добавлялись новые и новые голоса. Первой пришла война — война как средство сплочения общества, война как образ жизни. В течение двух тысяч лет или больше война казалась единственным голосом в хоре. Затем к ней присоединилась преступность — преступность как средство сплочения общества, преступность как образ жизни. Затем пришла коррупция — коррупция как средство сплочения общества, коррупция как образ жизни. Не успели и глазом моргнуть, как к этим голосам присоединилось рабство — рабство как товар в мировой торговле и средство сплочения общества. Вскоре пришло восстание — граждане и рабы, восстающие, чтобы излить свои ярость и боль. Затем, по мере того, как давление со стороны населения набирало силу, голод и чума добавили к хору новые голоса, и их стало слышно повсюду в нашей культуре. Огромные массы бедняков начали подвергаться безжалостной эксплуатации. Наркотики присоединились к рабам как товар в мировой торговле. Классы трудящихся — так называемые опасные классы — вышли на улицы. Вся мировая экономика рухнула. Глобальные индустриальные державы занялись игрой в мировое господство и геноцид.

А затем пришло наше время: 1960 год и далее.

О чём поёт наш голос в хоре отчаяния? Почти сорок лет вода кипела вокруг лягушки. Одна за одной, тысяча за тысячей, миллион за миллионом её клетки отмирали, не в силах больше выполнять задачу сохранения лягушки в живых.

Что всё это такое? Я дам вам название, а вы скажете, насколько оно годится. Я называю это *коллапсом культуры, коллапсом цивилизации*. Вот о чём мы сейчас поём в нашем хоре отчаяния — не вместо всего, о чём пели раньше, а вдо-

бавок ко всему, о чём пели раньше. Это наш уникальный вклад в многотысячелетний вопль страдания нашей культуры. Впервые в мировой истории мы оплакиваем крушение всего знакомого и понятного нам, крушение структуры, на которой всё строилось с самого зарождения нашей цивилизации и по сей день.

Лягушка мертва, и мы не можем себе представить, что это означает для нас и наших детей. Мы в шоке.

Всё ли я правильно понимаю? Подумайте об этом. Если я ошибаюсь, то скажите, пожалуйста, в чём. А если сочтёте, что я всё понимаю правильно, возвращайтесь завтра вечером, и я продолжу с того, на чём останавливаюсь сегодня.

(Вернуться в главу 5.)

ГЛАВА 27

Крушение ценностей

19 мая, театр «Ванфрид», Раденау

До нашей эпохи хор бедствий, постепенно формировавшийся в ходе десяти тысяч лет нашей цивилизованной жизни, состоял из девяти голосов: война, преступность, коррупция, восстания, голод, чума, рабство, геноцид и экономический коллапс. Начавшись в 1960 году, наша с вами эпоха добавила к хору десятый голос, прежде неслыханный, и это голос катастрофы самой цивилизации — голос, оплакивающий потерю перспективы, смысла жизни и крушение ценностей.

Каждой культуре принадлежит решающий голос в общем порядке вещей, и каждая культура имеет ясное представление о своём месте во Вселенной. Людям нет необходимости выражать это представление словами (например, детям), потому что её выражением является вся их жизнь — их история, легенды, обычаи, законы, ритуалы, искусство, танцы, предания, песни. Если попросить их изложить это представление, они растеряются, не зная, с чего начать, а могут вообще не понять, о чём вы их спрашиваете. Это некоторого рода тихая, приглушённая музыка, звучащая в их ушах от рождения, к которой они за всю жизнь так привыкли, что уже не осознают, что слышат её. Я знаю, что многие из вас знакомы с работой моего коллеги Измаила. Он назвал исполнительницу этой песни Матушкой Культурой, а саму песню квалифицировал как мифологию.

Известный мифолог Джозеф Кемпбелл с горечью отмечал, что у людей нашей культуры больше нет их собственной мифологии, однако, как продемонстрировал Измаил, не всякая мифология приходит к нам из уст бардов и рассказчиков у ночного костра. Другого рода мифология приходит к нам из уст императоров, законодателей, священников, политиков и пророков. Сегодня мы слышим её с экранов кинотеатров и телевизоров, из уст духовенства, школьных учителей, телеведущих, писателей, учёных. Эта мифология не повествует о необычайных событиях, она говорит нам о том, с какой целью боги создали Вселенную и в чём состоит наша роль во Вселенной. Мифология так же необходима народу, как нервная система каждому отдельному человеку. Она — организующий принцип всей нашей деятельности. Он объясняет нам значение всего, что мы делаем.

Может случиться, что обстоятельства пошатнут представления культуры о её месте в общем порядке вещей, сделают её мифологию бессмысленной, наступят на горло её песне. Когда так случается (а так случалось уже не раз), культура приходит в упадок. Порядок и ясность целей сменяются хаосом и ощущением бессмысленности существования. Люди теряют волю к жизни, впадают в апатию, становятся агрессивными и склонными к самоубийству, погрязают в пьянстве, наркомании и преступности. Матрица, которая некогда удерживала всё на своих местах, рассыпается в прах, и законы, обычаи, социальные институты теряют практический смысл и авторитет, особенно среди молодёжи, которая видит, что даже старшие больше не находят в них пользы. Если вас интересует история народов, уничтоженных таким образом, их следы в изобилии сохранились в Соединённых Штатах, Африке, Южной Америке, Новой Гвинее, Австралии — повсюду, где коренные народы имели несчастье оказаться на пути нашего культурного бульдозера.

Или вы можете оставаться дома. Вам больше нет нужды

ехать на край земли, чтобы найти людей, впавших в апатию, агрессивных и склонных к самоубийству, погрязших в пьянстве, наркомании и преступности, для кого законы, обычаи и социальные институты потеряли практический смысл и авторитет. Мы сами попали под гусеницы своего бульдозера. Наши собственные представления о нашем месте в общем порядке вещей пошатнулись. Наша собственная мифология превратилась в бессмыслицу. Мы наступили на горло своей собственной песне. Это вещи, которые все мы чувствуем одинаково — фермер в Монтане, торговец бриллиантами в Амстердаме, биржевой брокер в Нью-Йорке, шофёр автобуса в Гамбурге.

Мне достаточно лет, чтобы помнить время, когда всё было иначе. Ещё лучше помнят то время мои родители, как и ваши. Я, разумеется, не имею в виду «старые добрые времена». Хор бедствий уже тогда звучал в полную силу — и ещё как! — поскольку это были десятилетия после самой разрушительной и кровопролитной войны в истории человечества. Но и при этом в конце сороковых и пятидесятые годы люди нашей культуры всё ещё знали, куда идут, всё ещё верили, что светлое будущее ждёт нас буквально за поворотом. Всё, что было нужно, это помнить о нашем месте в общем порядке вещей и продолжать делать то, что привело нас в сегодняшний день. Мы могли полагаться на свой исторический опыт. Это он дал нам университеты и оперные театры, центральное отопление и лифты, Моцарта и Шекспира, океанские лайнеры и кино.

Более того — и я хочу заострить на этом ваше внимание, — вещи, которые привели нас в сегодняшний день, были *хорошими* вещами. В 1950 году ни у кого в нашей культуре не было в этом ни малейших сомнений, как на Востоке, так и на Западе, как в капиталистических, так и в коммунистических странах. В 1950 году все были согласны друг с другом по меньшей мере в одном: право эксплуатировать мир нам дано самим Богом. Мир и был сотворён для того, чтобы мы

его эксплуатировали. Эксплуатировать мир значит *совершенствовать* его! Для нас не существует ограничений. Руби сколько хочешь, копай сколько хочешь. Вырубай леса, осушай болота, перекрывай реки, закапывай ядовитые отходы, где хочешь и сколько хочешь. Ничто из этого не считалось предосудительным или опасным. Да и с какой бы стати? Земля для того и создана, чтобы не церемониться с ней. Безграничная и неразрушимая игровая площадка для нас, людей. Нет причин даже думать о том, что что-то может иссякнуть или перестать действовать. Земля изначально устроена так, чтобы переносить любые страдания, впитывать и очищать любые токсины в любых количествах. Ядерные взрывы? Да сколько угодно! Тысячи, если нравится. Радиоактивные вещества, что стелются за нами на пути к нашей Богом определённой цели, не могут нам повредить.

Уничтожать целые биологические виды? Святое дело! Почему нет? Если эти твари не нужны людям, значит, они здесь лишние! Осуществлять такой контроль над миром значит *облагораживать* его, шаг за шагом приближаться к исполнению нашего предназначения.

Слушайте. В 1948 году швейцарец Пауль Мюллер получил Нобелевскую премию за его выдающуюся модификацию дихлородифенилтрихлороэтана, признанного идеальным химическим средством уничтожения вредных для сельского хозяйства насекомых. Допускаю, что это мелодичное имя, дихлородифенилтрихлороэтан, вам ни о чём не говорит. Я имею в виду ДДТ. В 1950-е и 1960-е годы вся планета приветствовала ДДТ как ставшую былью сказку о молочных реках и кисельных берегах, как амброзию. Все знали, что это смертельный яд. Так и хорошо, что смертельный, в этом вся его ценность! И мы применяли его без оглядки в огромных количествах, поскольку он был безвреден для *нас*. А земля потом разберётся, в этом её работа. Она проглотит весь этот чудесный смертельный яд, а взамен даст нам чистую

родниковую воду, плодородную землю и свежий воздух. Она вечно будет глотать все радиоактивные отходы, весь промышленный мусор и все произведённые нами яды, а взамен давать чистую родниковую воду, плодородную землю и свежий воздух. Таким был уговор, таким было представление о нашем месте в общем порядке вещей: *Мир был создан для человека, а человек — для того, чтобы покорить его и править им*. Этим мы и занимались с самого начала — покоряли и правили, воспринимая мир так, будто он был создан для нас одних, беря то, что нам хотелось, и отбрасывая всё остальное — уничтожая всё остальное как лишнее. И, прошу заметить, это была не порочная практика, это было святое дело! Для этого нас и сотворил Бог!

И, пожалуйста, не думайте, что мы взяли это из книги Бытия, где Бог сказал Адаму расплодиться по земле и покорить её. Всё это мы знали ещё до Иерусалима, до Вавилона, до Чатал-Хююка, до Иерихона, до Али-Коша, до Зави-Чеми-Шанидара. Не авторы Бытия научили нас этому, а мы их.

Позвольте повторить, как мне следовало бы делать при каждом удобном случае, что это представление не присуще *человеку как таковому*. Оно не было присуще нам ни когда мы были *Homo habilis,* ни когда из *Homo habilis* мы стали *Homo erectus,* ни когда из *Homo erectus* мы стали *Homo sapiens*. Это представление возникло в нас вместе с рождением нашей специфической культуры, десять тысяч лет назад. Оно было манифестом нашей революции, который вскоре зазвучал во всех уголках планеты.

Этот манифест не подвергали сомнению строители урского зиккурата и египетских пирамид. Его не подвергали сомнению сотни тысяч строителей стены, которой Китай надеялся отделиться от остального мира. Его не подвергали сомнению торговцы, доставлявшие золото, стекло и слоновую кость из Фив в Ниппур и Ларсу. Его не подвергали сомнению хеттские, эламские и митаннийские писцы, первыми уве-

ковечившие имперские завоевания на глиняных табличках. Его не подвергали сомнению металлурги, принёсшие свои бесценные секреты из Вавилона в Ниневию и Дамаск. Его не подвергали сомнению цари Дарий в Персии и Филипп и Александр Великий в Македонии. Его не подвергали сомнению ни Конфуций, ни Аристотель. Его не подвергали сомнению ни Ганнибал, ни Юлий Цезарь, ни Константин, первым из императоров вставший на защиту христианства. Его не подвергали сомнению мародёры, копавшиеся в останках Римской империи, — гунны, викинги, арабы, аварцы и прочие. Его не подвергали сомнению ни Карл Великий, ни Чингисхан. Его не подвергали сомнению ни крестоносцы, ни шиитские ассасины. Его не подвергали сомнению купцы Ганзейского союза. Его не подвергал сомнению папа Александр VI, который в 1494 году решил, что весь мир должен быть поделён между колониальными державами Европы. Его не подвергали сомнению пионеры научной революции — Коперник, Кеплер, Галилей. Его не подвергали сомнению великие первооткрыватели шестнадцатого и семнадцатого веков, как, конечно же, и завоеватели и переселенцы Нового Света. Его не подвергали сомнению интеллектуальные отцы-основатели современной эпохи, такие мыслители, как Декарт, Адам Смит, Дэвид Юм и Иеремия Бентам. Его не подвергали сомнению первопроходцы демократической революции, такие политические теоретики, как Джон Локк и Жан-Жак Руссо. Его не подвергали сомнению бесчисленные изобретатели, умельцы, инвесторы и провидцы промышленной революции. Его не подвергали сомнению банды луддитов, громившие фабрики в центральной и северной Англии. Его не подвергали сомнению промышленные магнаты, строившие железные дороги, вооружавшие армии и прокатывавшие сталь, — Дюпоны, Вандербильты, Круппы, Морганы, Карнеги. Его не подвергали сомнению ни авторы «Коммунистического манифеста», ни организаторы рабочего движения, ни архитекторы Русской

революции. Его не подвергали сомнению правители, ввергнувшие Европу в водоворот Первой мировой войны. Его не подвергали сомнению ни авторы Версальского договора, ни архитекторы Лиги наций. Его не подвергали сомнению ни участники Содружества примирения, ни подписавшиеся под Оксфордской клятвой. Его не подвергали сомнению десятки миллионов безработных в годы Великой депрессии. Его не подвергали сомнению ни те, кто боролся за установление в Германии парламентской демократии, ни те, кто в конечном итоге одержал над ними победу. Его не подвергали сомнению сотни тысяч занятых на фабриках смерти, созданных с целью «избавления» человечества от «нечистокровных рас». Его не подвергали сомнению ни миллионы сражавшихся во Второй мировой войне, ни лидеры, посылавшие их умирать. Его не подвергали сомнению учёные и инженеры, в поте лица создававшие оружие, которое превращало в руины мирные города Англии и Германии.

Мир был создан для человека, а человек — для того, чтобы покорить его и править им.

Само собой разумеется, что этот манифест не подвергали сомнению и команды учёных, боровшиеся за первенство в расщеплении атома и создании оружия, способного уничтожить весь наш биологический вид. Его не подвергали сомнению архитекторы Организации Объединённых Наций. Его не подвергали сомнению те, кто в послевоенные годы мечтал о грядущей Утопии, где люди будут отдыхать, а всю работу за них будут делать роботы, где атомная энергия будет неисчерпаемой и бесплатной, где нищета, голод и преступность навсегда канут в Лету.

Но сегодня, дамы и господа, этот манифест ставится под сомнение почти повсюду в нашей культуре, во всех сферах жизни, молодёжью и стариками, но особенно молодёжью, чья мечта об ослепительном будущем, где жизнь от десятилетия к десятилетию, от века к веку становилась бы луч-

ше и лучше, — эта мечта лопнула, как мыльный пузырь, и потеряла реальный смысл. Ваши дети всё и всегда знают лучше. А лучше они знают главным образом потому, что лучше знаете *вы*.

Сегодня одни лишь политики продолжают твердить, что мир был создан для человека, а человек — для того, чтобы покорить его и править им. Их профессия просто не позволяет им вдруг взять и перестать провозглашать манифест нашей революции. Если они не хотят потерять работу, они должны постоянно заверять нас, что светлое будущее вот-вот наступит, при условии, разумеется, что мы будем и дальше маршировать под знаменем «покорения и правления». Они заверяют нас в этом снова и снова, а потом удивляются, почему с каждым годом всё меньше людей участвуют в выборах.

По ту сторону «Безмолвной весны»

Я сказал, что эра крушения ценностей началась в 1960 году. Строго говоря, её начало следовало бы датировать 1962 годом — годом выхода книги Рейчел Карсон «Безмолвная весна». Это был первый серьёзный вызов, когда-либо брошенный устоявшимся представлениям о нашей культуре. Факты, выдвинутые Карсон в доказательство катастрофических экологических последствий применения ДДТ и других пестицидов, были ошеломляющими. ДДТ не только убивал нежелательных насекомых, как ожидалось. Он проникал в эндокринную систему птиц, нарушая процессы воспроизводства и разрушая структуру яиц, в результате чего многие виды уже вымерли и ещё очень многие находятся в стадии вымирания. Это и делает вполне реальной перспективу, что в один прекрасный день наступит безмолвная весна — весна без птиц.

«Безмолвная весна» была не просто ещё одной сенсационной книгой, каким читатели всегда рады. Одним мощным ударом она навсегда дискредитировала весь комплекс фун-

даментальных статей, призванных укреплять нашу веру в то, что природа способна восстановиться от любого нанесённого ей вреда; что эта способность *изначально* заложена в ней; что в нашей экспансии природа «на нашей стороне» и всегда будет поддерживать и стремиться облегчить наши усилия; что сам Бог *специально* устроил мир так, чтобы нам легче было его покорять и править им. Факты в «Безмолвной весне» однозначно противоречили всем этим идеям. Многие предположительно благоприятные для нас действия мир вовсе не терпит и не облегчает их нам. Мир *не* поддерживает наши представления о нашем месте в общем порядке вещей. *Бог* не поддерживает наши представления о нашем месте в общем порядке вещей. Мир вовсе *не* определённо на нашей стороне. *Бог* вовсе не определённо на нашей стороне.

Если бы книгой Рейчел Карсон о ДДТ всё и закончилось, наша культура оправилась бы от удара и обрела прежнюю силу, но, как мы знаем, книга Рейчел Карсон о ДДТ была всего лишь началом. Карсон просто первой обнаружила и показала, что, если хорошо покопаться, нам откроется масса неприятных сюрпризов. Десятки, сотни и тысячи энтузиастов последовали её примеру, и чем больше они раскапывали, тем сильнее шатались основы нашей культурной веры. Я не буду перечислять вам сделанные этими людьми открытия. За один вечер я смог бы в лучшем случае слегка коснуться поверхности и сказать то, о чём можно прочитать в любой энциклопедии.

А сводится всё к следующему: при нашей нынешней численности и претворяя в жизнь наши нынешние мечты, мы наносим природе смертельные раны. Озёра умирают, моря умирают, леса умирают, сама земля умирает, и причины этого напрямую связаны с нашей деятельностью. *Каждый день* вымирают сто сорок биологических видов, и причины этого тоже напрямую связаны с нашей деятельностью.

Я слышу, как вы заёрзали в креслах, но я говорю эти вещи

не для того, чтобы вы почувствовали себя виноватыми. У меня вовсе нет такого намерения. Сегодня я здесь для того, чтобы выяснить, что пошло не так.

Что не в порядке с теориями?

Выяснением того, что идёт не так, озабочены буквально все. Этим заняты люди всех возрастов, всех социально-экономических классов, всех политических убеждений. В этом пытаются разобраться даже десятилетние дети. Они говорят мне об этом. Иногда они останавливаются в середине игры и задают вопросы об этом.

С каждым годом всё больше и больше детей рождаются вне брака. С каждым годом всё больше и больше детей рождаются в распавшихся семьях. С каждым годом всё больше и больше избитых и раненных преступниками. С каждым годом всё больше и больше насилия по отношению к детям, вплоть до убийства. С каждым годом всё больше и больше изнасилованных женщин. С каждым годом всё больше и больше людей боятся выходить на улицу ночью. С каждым годом всё больше и больше самоубийств. С каждым годом всё больше и больше алкоголиков и наркоманов. С каждым годом всё больше и больше преступников в тюрьмах. С каждым годом всё больше и больше людей получают удовольствие от фильмов со сценами жестоких убийств и от порнографии. С каждым годом всё больше и больше людей вступают в безумные секты и приносят там себя в жертву, совершают самоубийственные акты террора, испытывают внезапные и неконтролируемые вспышки агрессии.

Теории, выдвигаемые для объяснения всего этого, большей частью состоят из общих фраз, трюизмов и тривиальностей. Эти теории общеприняты уже много веков. Вам говорят, например, что человечество фатально и неисправимо порочно. Вам говорят, что человечество — это вроде смертельного вируса, от которого Гея рано или поздно избавится. Вам

говорят, что во всём виноваты ненасытные капиталисты или экологически вредные технологии. Вам говорят, что во всём виноваты родители, или школа, или рок-н-ролл. Иногда даже говорят, что в проблеме виноваты её симптомы, такие вещи, как бедность, эксплуатация, неравенство, переизбыток населения, некомпетентность чиновников и политическая коррупция.

Это только часть общеизвестных теорий, якобы объясняющих, почему в мире всё пошло наперекосяк. Вы услышите и другие. Большинство из них вытекают из самих же предлагаемых мер, образуя замкнутый круг. Меры обычно формулируются примерно так: *»Мы должны срочно … что-нибудь сделать!»* Выбрать правильную партию. Избавиться от этого лидера. Обуздать либералов. Обуздать консерваторов. Ужесточить законы. Увеличить тюремные сроки. Восстановить смертную казнь. Убивать евреев, убивать мигрантов, убивать неважно кого. Больше медитировать. Молиться по чёткам. Повышать сознательность. Эволюционировать на некий новый уровень бытия.

К чему я всё это говорю? Я предлагаю новую теорию объяснения, почему всё идёт наперекосяк. Это не обновлённый вариант старого, не развитие какой-то общеизвестной идеи. Это нечто неслыханное, нечто принципиально новое в нашей интеллектуальной истории. И это нечто заключается в следующем.

Мы переживаем крушение нашей цивилизации. Точно такое же крушение, какое пережили равнинные индейцы, когда их образ жизни был уничтожен, а сами они загнаны в резервации. Точно такое же крушение, какое пережили коренные народы, раздавленные нашей цивилизацией в Африке, Южной Америке, Австралии, Новой Гвинее и других местах. Неважно, что обстоятельства крушения у нас с ними разные, — результаты такие же. Как в их случае, так и в нашем, жестокая реальность за считанные десятилетия

изменила наши представления о мире и превратила в бессмыслицу миф о нашем предназначении, прежде казавшемся само собой разумеющимся. Как в их случае, так и в нашем, песня, которую мы пели с начала времён, вдруг превратилась в сдавленный крик.

В обоих случаях результат был один и тот же: тотальное разрушение. Неважно где вы живёте — в вигваме или небоскрёбе, — вы остаётесь без крыши над головой. Порядок и ясность целей сменяются хаосом и ощущением бессмысленности существования. Люди теряют волю к жизни, впадают в апатию, становятся агрессивными и склонными к самоубийству, погрязают в пьянстве, наркомании и преступности. Матрица, которая некогда удерживала всё на своих местах, рассыпалась в прах, и законы, обычаи, социальные институты потеряли практический смысл и авторитет, особенно для молодёжи, которая видит, что даже старшие больше не находят в них пользы.

Вот это и случилось с нами. Лягушка улыбалась десять тысяч лет, в течение которых вода становился всё горячее, и горячее, и горячее. В конце концов она закипела, и бессмысленная улыбка застыла на лице уже мёртвой лягушки.

Обстоятельства в конце концов пошатнули наши безумные культурные представления, лишили смысла миф о нашем вечно растущем величии, наступили на горло нашей надменной песне.

Мы больше не в состоянии верить, что мир был создан для человека, а человек — для того, чтобы покорить его и править им. Мы больше не в состоянии верить, что мир автоматически и неизбежно будет поддерживать нас в наших завоеваниях, будет глотать производимые нами яды, оставаясь при этом невредимым. Мы больше не в состоянии верить, что Бог однозначно на нашей стороне в нашей войне против всего остального его же творения.

Итак, дамы и господа, мы валимся в тартарары.

А напоследок — хорошая новость

Недавно одна женщина сказала мне, что хотела привести с собой друга послушать меня, но он ей ответил: «Извини, но мне надоело слушать плохие новости». [Смех.] Да, это смешно, поскольку, как ни странно, вы пришли сюда, в этот театр, и слушаете меня как раз потому, что обычно я сообщаю не плохие, а хорошие новости.

Да, это так, и вы знаете, что это так, поэтому вам и смешно. Вы уже чувствуете себя лучше! И у вас есть все основания чувствовать себя лучше, и вот почему. На самом деле это очень просто. Вот моя хорошая новость: *Мы — не человечество.*

Вы чувствуете себя свободнее от этих слов? Вдумайтесь в них. Давайте-давайте. Повторите их про себя: «*Мы — не человечество*».

Звучит по меньше мене странно, не правда ли? Прежде чем мы сегодня расстанемся, я хочу, чтобы вы поняли, почему это утверждение кажется странным.

Мы — не человечество.

Сказать так — это как по ошибке надеть чужие туфли — все ваши ощущения меняются моментально!

Мы — не человечество. Я хочу, чтобы вы поняли значение этих трёх слов. В них резюме всего, что было забыто в период Великого Забвения. В буквальном смысле. В конце Великого Забвения, когда мы усердно принялись строить цивилизацию, произнести эти три слова было немыслимо. В известном смысле Великое Забвение в этом и состояло: мы забыли, что являемся лишь одной из культур, и стали думать, что являемся всем человечеством.

Все интеллектуальные и духовные основы нашей культуры были заложены людьми, непоколебимо верившими, что мы — это всё человечество. Фукидид верил в это. Сократ верил в это. Платон верил в это. Аристотель верил в это. Сыма Цянь верил в это. Гаутама Будда верил в это. Конфуций верил в это. Моисей верил в это. Иисус верил в это.

Св. Павел верил в это. Мухаммед верил в это. Авиценна верил в это. Фома Аквинский верил в это. Коперник верил в это. Галилей и Декарт верили в это, хотя уж они-то могли бы и усомниться. Юм, Гегель, Ницше, Маркс, Кант, Кьеркегор, Бергсон, Хайдеггер, Сартр и Камю считали это само собой разумеющимся, хотя определённо располагали достаточной информацией для сомнений.

Но вы наверняка думаете: что же такого плохого, если бы мы были всем человечеством? Попробую объяснить. Если бы мы были всем человечеством, то все те ужасные вещи, которые мы говорим о человечестве, были бы *правдой,* — и вот это была бы очень плохая новость. Если бы мы были всем человечеством, то наша склонность к разрушению была бы свойством не какой-то одной заблудшей цивилизации, а человечества в целом, — и вот это была бы очень плохая новость. Если бы мы были всем человечеством, тогда тот факт, что наша цивилизация обречена, означал бы, что само человечество обречено, — и вот это была бы очень плохая новость. Если бы мы были всем человечеством, тогда тот факт, что наша цивилизация угрожает жизни на этой планете, означал бы, что само человечество угрожает жизни на этой планете, — и вот это была бы очень плохая новость. Если бы мы были всем человечеством, тогда тот факт, что наша цивилизация омерзительна и уродлива, означал бы, что само человечество омерзительно и уродливо — и вот это была бы совсем уж плохая новость.

О, горе человечеству, если человечество — это *мы!* О, страшное и безысходное горе человечеству, если отверженные и заблудшие нашей цивилизации — это оно и есть!

Но мы не человечество. Мы — лишь одна цивилизация, одна из сотен тысяч цивилизаций, живших на этой планете, каждая на свой лад, каждая со своей песней. И это чудесная новость, даже для нас!

Если бы мы были человечеством и нуждались в коренных

изменениях, тогда нам крупно не повезло бы. Но в коренных изменениях нуждается не человечество, а всего лишь … мы.

И это очень хорошая новость.

Оставайтесь со мной, друзья. И шаг за шагом мы выберемся из ямы.

(Вернуться в главу 8.)

ГЛАВА 28

Народонаселение: системный подход

21 мая, Штутгарт

Поскольку идеи, которые я собираюсь представить, обычно вызывают у слушателей ощущение дискомфорта, я буду приближаться к ним осторожно, с достаточно безопасного расстояния. Достаточно безопасное расстояние в данном случае составляет примерно двести тысяч лет. Двести тысяч лет назад на этой планете появился новый биологический вид — *Homo sapiens*.

Как это бывает у всех новых видов, сначала их было немного. Поскольку нашей темой является народонаселение, хочу сразу же пояснить, что я под этим понимаю. Приблизительная дата появления *Homo sapiens* известна нам потому, что до нас сохранились его окаменелые останки, а останки сохранились потому, что представителей этого вида в тот период было достаточно много, чтобы сохранились останки. Иными словами, когда я говорю, что *Homo sapiens* появился около двухсот тысяч лет назад, я не имею в виду первую пару или первую сотню. Но я не имею в виду и первый миллион.

Двести тысяч лет назад их было, скажем, десять тысяч. В течение следующих ста девяноста тысяч лет их становилось всё больше, и они расселились по всем континентам.

Окончание этого периода в сто девяносто тысяч лет приводит нас к началу так называемой исторической эры на этой планете. Оно приводит нас к началу сельскохозяйственной

революции, заложившей фундамент нашей цивилизации. Это было десять тысяч лет назад, и численность человеческого населения того времени оценивается примерно в десять миллионов.

Я хочу посвятить пару минут рассмотрению этого периода роста с десяти тысяч человек до десяти миллионов человек. Этот период роста можно представить в виде десяти удвоений. С десяти тысяч до двадцати тысяч, с двадцати тысяч до сорока тысяч, с сорока тысяч до восьмидесяти тысяч, и так далее. Начните с десяти тысяч, удвойте их десять раз, и вы получите десять миллионов.

Итак, за сто девяносто тысяч лет наше население удвоилось десять раз. Увеличилось с десяти тысяч до десяти миллионов. Это рост. Несомненный рост, очевидный рост, даже существенный рост — но чрезвычайно *медленный* рост. Вот насколько медленным он был: в среднем наша численность удваивалась каждые *девятнадцать тысяч лет*. Это медленно, совсем медленно.

В конце этого периода, то есть десять тысяч лет назад, ситуация начала меняться поразительным образом. Чрезвычайно медленный рост сменился быстрым. Начав с десяти миллионов, численность нашего населения удвоилась не за девятнадцать тысяч лет, а за пять тысяч лет, и достигла двадцати миллионов. Следующее удвоение (даже удвоение с лишним) заняло две тысячи лет, доведя нашу численность до пятидесяти миллионов человек. Следующее удвоение заняло тысячу шестьсот лет, и нас уже стало сто миллионов. Следующее удвоение заняло тысячу четыреста лет, и к нулевому году нашего календаря нас уже было двести миллионов. Следующее удвоение заняло тысячу двести лет, доведя нашу численность до четырёхсот миллионов. Это в 1200 году. Следующее удвоение произошло всего за пятьсот лет, и к 1700 году нас стало восемьсот миллионов. Следующее удвоение заняло всего двести лет, и в 1900 году нас было миллиард с

половиной. Следующее удвоение заняло всего шестьдесят лет, к 1960 году доведя нашу численность до трёх миллиардов. Следующее удвоение займёт примерно тридцать семь лет. Через десять-двадцать месяцев нас станет шесть миллиардов, и, если эта тенденция роста продолжится беспрепятственно, многие из сидящих здесь доживут до дня, когда наша численность достигнет двенадцати миллиардов. Не стану пытаться представить за вас последствия этого. В моём личном, очень приблизительном представлении, возьмите всё плохое, что вы видите сегодня, — уничтожение окружающей среды, терроризм, преступность, наркотики, коррупцию, самоубийства, психические заболевания, насилие во всех его формах — и умножьте всё это на четыре, по меньше мере.

Однако, хотите верьте, хотите нет, я отнюдь не намерен портить вам настроение мрачными картинами будущего.

Проблема народонаселения существует. Есть люди, которым кажется, что всё в порядке и никакой проблемы с населением нет. Я здесь не для того, чтобы с ними спорить. Я здесь для того, чтобы объяснить, почему методы, которыми мы традиционно пытаемся решить эту проблему, неэффективны и эффективными быть не могут. В заключение я представлю более результативные методы. А пока расскажу вам притчу, которую вы, надеюсь, найдёте имеющей прямое отношение к нашей теме. Это притча об одном народе, который тоже столкнулся с проблемой перенаселения, и о том, каким образом он её решает. Притча называется «„Благословение“: притча о народонаселении».

«Благословение»: притча о народонаселении

Произошло это на одной планете, не сильно отличающейся от нашей. Учёным, работавшим в одной из тамошних фармацевтических компаний, посчастливилось получить препарат

с прекрасными болеутоляющими свойствами. Препарат получил название Д3346. Мыши, проглотив его вместе с пищей, переставали чувствовать боль, становились резвее, охотнее размножались, у них возрастал аппетит, и так далее. Тесты на людях привели руководство компании в состояние эйфории. Д3346 превосходил даже значительно более сильные лекарства и при этом не имел опасных побочных эффектов (за исключением неприятного запаха, который исходил от принимавших его пациентов, но запах быстро исчезал, если пациент прекращал принимать препарат).

Новое лекарство расходилось так хорошо, что в отделе маркетинга быстро сообразили, что в их руках гораздо больше, чем просто болеутоляющее средство. Со слабой и сильной болью люди сталкиваются довольно часто, а Д3346 не только снимал её, но и настолько улучшал общее самочувствие, что действовал почти как лёгкий наркотик. Новому продукту единогласно было присвоено имя «Благословение», а его рекламным лозунгом стало: «Снимает боль, о которой вы даже не знали!»

Вначале лекарство выпускали в виде таблеток и микстуры, но уже через год кому-то пришла в голову гениальная мысль продавать его в виде порошка и в упаковке типа солонок и перечниц, так что вскоре «Благословение» стало таким же непременным атрибутом обеденного стола, как соль и перец. Ещё через несколько месяцев его «медицинские» формы вообще исчезли из продажи, поскольку никто больше не принимал его «против боли». Для всех «Благословение» превратилось в полезную пищевую добавку вроде витамина.

Как и следовало ожидать, через девять месяцев после появления «Благословения» рождаемость начала расти, и все понимали причину этого. «Благословение», конечно, не излечивало бесплодие, оно лишь усиливало половое влечение. Принимавшие его люди чувствовали себя лучше — становились бодрее, эмоциональнее, подвижнее. По прогнозам,

темпы прироста рождаемости должны были вскоре стабилизироваться, и они стабилизировались — на *ускорении* в десять процентов.

Люди, о которых я говорю, не принадлежали на той планете к доминирующей культуре, как мы, но вскоре стали знамениты на весь мир. Во-первых, потому, что от них отвратительно пахло, из-за чего во всём мире за ними закрепилось прозвище «вонючки». А во-вторых, под давлением быстро растущего населения они то и дело вторгались в соседние страны и закреплялись на захваченных территориях. Причём в большинстве случаев им это удавалось без применения силы — они посылали впереди себя грузовики с «Благословением».

Неважно, что никто не хотел вонять, как «вонючки». «Благословение» делало своё дело: мало кто мог удержаться и не принять его от головной боли или болей в спине, после чего «благословенница» очень быстро оказывалась на их обеденном столе рядом с солонкой и перечницей. Люди начинали с отвращения к «вонючкам» и сопротивления их вторжению, а кончали тем, что сами становились «вонючками». Через несколько сотен лет экспансия «вонючек» прекратилась сама собой, потому что больше некуда было вторгаться — вся планета стала планетой «вонючек».

Дальновидные политики понимали, что численность населения скоро станет острой проблемой, но прошёл век, а никаких мер на этот счёт не предпринималось. Население, не видя причин поступать по-другому, продолжало расти. В одних частях планеты голод стал регулярным гостем, в других решение проблемы видели не в снижении рождаемости, а в увеличении производства продовольствия. Прошёл ещё один век, а численность населения продолжала расти.

В информированных кругах люди начали тестировать и пропагандировать всевозможные стратегии контроля, начиная с ограничения рождаемости тем или иным способом и кончая школьными программами, нацеленными на снижение

уровня подростковой беременности, но заметного эффекта ни одна из этих инициатив не дала. По мере того, как всё больше и больше людей осознавали критический уровень ситуации, социологи и экономисты всё глубже проникали в корни проблемы. Они, например, заметили, что во многих частях света от числа детей зависело финансовое положение семьи — за неимением других возможностей, люди, особенно одинокие женщины, посылали детей работать за ничтожную плату и видели в них надежду на помощь в старости.

Биоисторик по фамилии Спрай пытался привлечь общественное внимание к тому факту, что до появления «Благословения» численность населения планеты была практически стабильной, но люди с трудом улавливали связь между этими двумя вещами.

Профессор Спрай объяснял: «Добавление „Благословения“ в пищу любому биологическому виду даёт один и тот же результат: повышение рождаемости».

Слушатели искренне не понимали, что он имеет в виду, потому что люди добавляли «Благословение» в пищу на протяжении тысяч лет и уже не могли представить себе жизнь без него. Профессор терпеливо объяснял им, что без постоянного употребления «Благословения» люди будут время от времени чувствовать боль и из-за этого станут несколько менее бодрыми, несколько менее весёлыми, несколько менее эмоциональными, несколько менее подвижными — и несколько реже будут испытывать половое влечение. В результате рождаемость снизится и численность населения вскоре снова стабилизируется.

«Вы хотите сказать, что проблему народонаселения можно решить лишь живя в муках?» — недоверчиво спрашивали люди.

«Это огромное преувеличение, — возражал профессор. — До появления „Благословения“ люди вовсе не считали, что живут в муках. Они *не жили* в муках. Они просто жили».

Другие говорили: «В этом нет никакой логики. Профессор Спрай сам говорил, что „Благословение“ не является афродизиаком и само по себе не повышает рождаемость. Употребление „Благословения“ само по себе не толкает людей к тому, чтобы иметь больше детей. Сколько иметь детей, решаем мы сами. Кроме того, есть масса средств и методов предотвращения беременности. Поэтому непонятно, при чём здесь „Благословение“ вообще».

«Оно здесь очень даже при чём, — настаивал профессор Спрай. — *Любой* биологический вид, получив доступ к „Благословению“, начинает совокупляться чаще и размножаться быстрее. Вопрос не в том, что сделаете вы или я лично, решите ли вы или решу ли я пользоваться противозачаточными средствами, например. Вопрос в том, что произойдёт в нашем виде в целом. Я могу доказать это экспериментально: темпы рождаемости *любого* вида, имеющего свободный доступ к „Благословению“, всегда повышаются. Мыши это, кошки, ящерицы, куры или люди — не имеет значения. Неважно что происходит на индивидуальном уровне, важно что происходит в масштабах *популяции в целом*».

Но слушатели всякий раз с возмущением отвергали аргументы профессора. «Мы не мыши! — кричали они. — Мы не кошки, не ящерицы и не куры!»

Заработав таким образом репутацию скандалиста и экстремиста, профессор Спрай быстро перестал быть научным авторитетом и вскоре уволился из университета. Больше о нём не слышали.

Кризис народонаселения продолжал обостряться. По оценкам биотехнологов, человеческое население уже превысило максимум, который планета способна выдержать, и цивилизация находилась на грани катастрофы. Даже бывшие зубоскалы и оптимисты начали замечать, что необходимо что-то менять.

Наконец, главы супердержав созвали всемирную конфе-

ренцию для изучения и обсуждения проблемы. Это было впечатляющее событие, беспрецедентное в истории человечества. Тысячи учёных из дюжины отраслей науки совместными усилиями искали выход из положения.

Доминирующей темой конференции почти сразу стала концепция *контроля*. Главной задачей было, разумеется, установление контроля над численностью населения, но путь к этому лежал через практически тотальный контроль над всеми аспектами жизни на всех её уровнях. Новые экономические меры должны были стимулировать ограничение размеров семьи. В отсталых странах, где женщины почти постоянно были беременны, новые социальные меры должны были побудить их к творчеству в целях повышения благосостояния семьи. Необходимо было активнее рекламировать противозачаточные средства, разработать стратегии снижения рождаемости и следить за неуклонным проведением их в жизнь. Естественно, требовалось усилить контроль над людьми и на индивидуальном уровне. В области школьного образования разгорелась дискуссия по проблеме полового воспитания: одни настаивали, что лучше как можно дольше держать детей в неведении на этот счёт, другие, напротив, считали, что нужно как можно раньше начинать сексуальное просвещение.

Контроль, контроль, контроль — это слово звучало на конференции тысячи раз, миллионы раз.

В отличие от слова «Благословение».

На всемирной конференции «вонючек» по проблеме народонаселения «Благословение» не фигурировало ни в списке основных тем, ни даже второстепенных.

Да что там, «Благословение» вообще не упомянули ни разу.

Как истолковать эту притчу? Очевидно, что «вонючки» вели себя в высшей степени иррационально, отказываясь признать существование связи между «Благословением» и демографическим взрывом. Эта связь видна невооружённым

глазом. Демографический взрыв у «вонючек» начался *сразу* после появления «Благословения», причём на тот момент уже имелись научные доказательства того, что «Благословение» *приведёт* к таким последствиям. Логика и история, вместе взятые, указывают на «Благословение» как на причину демографического взрыва у «вонючек». Логика и история, вместе взятые, подсказывают, что с устранением этой причины демографический взрыв прекратится и численность населения стабилизируется.

Что в нашей с вами культуре соответствует «Благословению»?

Сначала отвечу на более лёгкий вопрос и скажу, что моя роль здесь сегодня идентична роли несчастного профессора Спрая. Я назову вам причину нашего демографического взрыва и приведу намного больше свидетельств и доказательств, чем было у профессора Спрая в случае с «Благословением», а там посмотрим. Я привык, что людей возмущают мои рассуждения на эту тему. Люди возмущаются тем, что я, как профессор Спрай, подвергаю критике то, что воспринимается ими как бесспорное благословение нашей культуры — благословение значительно более важное для нашего образа жизни, чем какое-то болеутоляющее средство.

Рост населения и азбука экологии

При всём многообразии биологических форм на нашей планете вся питательная энергия изначально происходит из зелёных растений и ниоткуда больше. Из зелёных растений она переходит в организмы тех, кто питается растениями, затем в организмы хищников, затем в организмы тех, кто питается хищниками, затем в организмы тех, кто питается падалью, затем возвращается в землю, откуда её в виде питательных веществ получают растения, и цикл повторяется снова. Это буква «А» азбуки экологии.

Популяции поедающих и поедаемых поддерживаются в

динамическом равновесии самими же членами биологического сообщества, выступающими как в первой, так и во второй роли. Когда это равновесие нарушается, — например, вследствие болезней или природных катастроф, — оно за несколько поколений само собой восстанавливается в ходе всё того же процесса «поедания поедающих». Если рассматривать биологическое сообщество как систему, то можно сказать, что динамика роста и сокращения популяций подчиняется принципу отрицательной обратной связи. Если в лесу станет слишком много оленей, они постепенно истощат свою кормовую базу, что вызовет сокращение их популяции. Тогда кормовая база оленей восстановится и снова станет обильной, вследствие чего их популяция снова начнёт расти. Когда кормовая база снова начнёт истощаться, численность оленей снова начнёт снижаться. В биологическом сообществе популяция поедаемых и популяция поедающих контролируют друг друга. С ростом популяции поедаемых растёт и популяция поедающих. А чем больше становится поедающих, тем меньше становится поедаемых, что, в свою очередь, вызывает сокращение популяции поедающих, в результате чего популяция поедаемых снова начинает расти. И так далее. Это буква «Б» азбуки экологии.

Для людей, мыслящих системно, биологическое сообщество представляет собой идеальную модель отрицательной обратной связи. Моделью попроще является термостат, контролирующий систему отопления в квартире. Когда датчики передают ему, что в квартире «слишком холодно», он включает отопление. Через некоторое время датчики сообщают ему, что теперь «слишком жарко», и он выключает отопление. Отрицательная обратная связь. Отличная штука.

Буквой «А» в азбуке экологии является пища. Пищей является всё биологической сообщество. Пища летает, бегает, плавает, ползает и, конечно, сидит на месте и просто растёт. Буква «Б» азбуки экологии: колебания численности всех

популяций обусловлены наличием пищи. Больше пищи — больше и тех, кто ей питается. Меньше пищи — меньше и тех, кто ей питается. Всегда. Это настолько закономерно, что скажу даже так: исключений нет. Рост наличия пищи для того или иного вида вызывает прирост его численности. Сокращение наличия пищи для того или иного вида вызывает сокращение его численности. Всегда и для всех форм жизни. *Semper et ubique.* Без исключений. И никак иначе.

Больше пищи — больше ртов. Меньше пищи — меньше ртов. Неизменно.

Нет видов, чья численность сокращалась бы при обилии пищи, как нет видов, чья численность множилась бы при отсутствии пищи.

Это буква «Б» азбуки экологии.

Выход из-под контроля системы

Усвоив «А» и «Б» экологии, мы можем вернуться к вопросу о причинах нашего демографического взрыва. За сто девяносто тысяч лет численность нашего биологического вида выросла с нескольких тысяч до десяти миллионов человек. Ничтожный темп. Затем, около десяти тысяч лет назад, наша численность стала расти очень быстро. И в этом не было никакого чуда, никакой воли случая, никакой тайны.

Наша численность стала быстро расти потому, что мы нашли способ выйти из-под контроля системы отрицательной обратной связи, поддерживающей равновесие в биологическом сообществе. Мы стали производителями пищи — животноводами и растениеводами. Иными словами, мы нашли способ *произвольно* наращивать свою кормовую базу.

Эта способность обеспечивать себя пищей в любых количествах и есть то благословение, которое лежит в основе нашей цивилизации. Таким благословением в моей притче было болеутоляющее средство. Способность производить пищу *в любых количествах* — это бесспорно благословение,

но в этом благословении таится опасность попасть от него в зависимость, как от анальгетика в моей притче.

«В любых количествах» — это в данном случае ключевая фраза. Поскольку мы теперь могли производить пищу в любых количествах, мы больше не зависели от её наличия в природе. Сколько хотели, столько и производили. Сто девяносто тысяч лет мы довольствовались тем, что имелось съестного в природе, и вдруг получили в руки контроль над количеством этого съестного. Совершенно естественно, что мы начали это количество увеличивать. Целью всякого фермера является *увеличение* объёмов продукции, а никак не их уменьшение. У его соседа цель та же самая. У всех фермеров в регионе цель та же самая. И все они вместе увеличивают количество продовольствия, имеющегося у человечества как биологического вида.

И здесь вступает в действие закон «Б» азбуки экологии: чем больше пищи у того или иного биологического вида, тем выше становится его численность. Иными словами, экология предрекает, что благословенное сельское хозяйство неизбежно вызывает прирост населения, и история подтверждает это предсказание экологии. Как только мы стали наращивать производство продовольствия, наша численность начала расти, и не ничтожными темпами, как прежде, когда мы были под контролем системы отрицательной обратной связи, а очень быстро.

Чем больше фермеров, тем больше им нужно земли, а чем больше земли, тем становится ещё больше фермеров, и ни один из них не заинтересован в сокращении объёмов выпускаемой продукции. Больше земли — больше продовольствия — выше темпы прироста населения.

Чем больше людей, тем больше им нужно пищи. Чем больше пищи, тем людей вскоре становится ещё больше, — как и предсказано законами экологии. Чем больше людей, тем больше им нужно пищи. Чем больше пищи, тем людей вскоре

становится ещё больше. Чем больше людей, тем больше им нужно пищи. Чем больше пищи, тем людей вскоре становится ещё больше.

На системном языке это называется положительной обратной связью. Датчики сообщают термостату, что в квартире «слишком жарко», а он, вместо того, чтобы выключить отопление, включает его ещё сильнее. Вот это положительная обратная связь. Отрицательная обратная связь *останавливает* процесс, положительная — *усиливает* его.

Положительная обратная связь — это то, что мы видим в действии в нашей сельскохозяйственной революции. Рост численности населения стимулирует рост производства продовольствия, а он в свою очередь вызывает рост численности населения. Больше пищи — больше людей. Больше людей — больше пищи. Больше пищи — больше людей. Больше людей — больше пищи. Больше пищи — больше людей. Больше людей — больше пищи. Положительная обратная связь. Плохая штука. Опасная штука.

Эксперимент, повторенный 10 000 раз

Что мы наблюдаем в феномене демографического роста? Что интенсификация производства продовольствия с целью накормить растущее население всякий раз вызывает новый прирост населения. Некоторые видят в этом парадокс, хотя это просто законы экологии в действии. Вслушайтесь: «Интенсификация производства продовольствия с целью накормить растущее население всякий раз вызывает новый прирост населения».

Подумайте об этом как об эксперименте, который повторяли ежегодно в течение по меньшей мере десяти тысяч лет.

Давайте посмотрим, что будет, если мы в этом году увеличим производство продовольствия. О, смотрите-ка, население тоже увеличилось! А давайте посмотрим, что будет, если мы и в следующем году увеличим производство продовольствия.

О, смотрите-ка, население опять увеличилось! Думаете, здесь есть какая-то связь?

Да нет, с какой стати?

Ладно, а как мы поступим в этом году? Увеличим производство или уменьшим? *Придётся* всё-таки увеличить, потому что ртов стало больше!

Хорошо, давайте увеличим в этом году опять и посмотрим, что будет. Ой, смотрите-ка! Население опять выросло!

Ладно, увеличим снова и снова посмотрим, что будет. А вдруг на этот раз население сократится.

Нет, опять увеличилось. Надо же!

Это результаты пяти ежегодных экспериментов, проведённых в глубокой древности. Представьте, что до нынешнего 1996 года их повторили ещё девять тысяч девятьсот девяносто пять раз, и в этом году мы снова спросим себя, как лучше нам поступить: может, снизить всё-таки производство?

Ну, что вы, как можно!

Тогда, может, оставить на прошлогоднем уровне? Один раз, для пробы?

Вы шутите? Цивилизация затрещит по швам и рухнет в тартарары.

Почему? Если в прошлом году мы выпустили достаточно продуктов для пяти с половиной миллиарда человек, то почему цивилизация затрещит по швам и рухнет в тартарары, если мы и в *этом* году произведём достаточно для пяти с половиной миллиарда человек?

Потому что достаточного для пяти с половиной миллиарда человек на самом деле было *мало*. Миллионы людей умирают от голода.

Да, но всем известно, что это не потому, что продовольствия не хватает. Продовольствие есть, но оно не доходит до голодающих.

Слушайте, разве мы уже не говорили об этом в 1990 году?

Говорили.

Мы говорили об этом и в 1990-м, и в 1921-м во время голода в России, и в 1846-м во время голода в Ирландии, и в 1783-м во время голода в Японии, и в 1591-м во время голода в Италии, и в 1315-м во время голода в Европе. Господи, да я помню наш разговор в шестом веке до нашей эры во время голода в Риме.

Так и я о том же. Сколько раз мы уже повторяли этот эксперимент?

Примерно десять тысяч раз. Десять тысяч раз мы решали увеличить производство продовольствия, и десять тысяч раз численность населения возрастала. Это, конечно, *ничего не доказывает*. На этот раз может быть по-другому. На этот раз численность населения может и сократиться.

Ладно, попробуем ещё раз. Увеличим производство продуктов и посмотрим, что будет.

И знаете что? На этот раз численность населения опять возросла. Ни с того ни с сего. Бывает.

Три демонстрации

Позвольте мне уделить несколько минут серии демонстраций для прояснения некоторых из вопросов, поставленных выше.

Демонстрация первая. В уютную и просторную клетку мы помещаем двух молодых и здоровых мышей. В клетке есть встроенная кормушка, позволяющая давать мышам сколько угодно корма. Поместив мышей в клетку, мы даём им два килограмма корма. Очевидно, что это намного больше, чем им двоим нужно, но вреда в этом нет, и вы скоро увидите, почему мы так сделали. На следующий день мы вынимаем кормушку, чистим её и снова насыпаем туда два килограмма корма. Мы делаем так каждый день. Вскоре мышей в клетке становится четыре, затем восемь, затем шестнадцать, затем тридцать две. Такой рост численности подтверждает, что у этих мышей достаточно пищи. Мы продолжаем ежедневно поддерживать количество корма в кормушке на уровне двух

килограммов, и с течением времени к утру его остаётся всё меньше и меньше, что совершенно естественно, поскольку мышей в клетке всё больше и больше. В конце концов наступает день, когда к утру кормушка оказывается пустой. Неважно, мы продолжаем каждое утро насыпать в кормушку всё те же два килограмма корма, и за сутки мыши съедают их полностью. Теперь догадайтесь, как это отражается на численности мышей, которая с первого дня постоянно росла. Рост *прекращается*. Численность стабилизируется. Опять-таки, это совершенно естественно. Продолжая ежедневно насыпать в кормушку по два килограмма корма, мы в течение года каждый день пересчитываем мышей и видим, что их популяция колеблется между двумястами восьмидесятью и тремястами двадцатью, что даёт в среднем триста. Два килограмма корма в день достаточно для трёхсот мышей. Это демонстрация первая.

Демонстрация вторая. Она начинается так же, как первая: клетка, две мыши. На этот раз, правда, мы следуем другой процедуре. Вместо того, чтобы каждый день класть в кормушку одно и то же количество корма, мы начинаем с одного количества и затем каждый день увеличиваем его. Сколько бы мыши ни съели за день, на другой день мы кладём в кормушку столько же плюс пятьдесят процентов. Сколько бы они ни съели за второй день, на третий мы кладём столько же плюс пятьдесят процентов. Вскоре мы видим, что в клетке уже четыре мыши. Неважно, мы продолжаем следовать процедуре. Сколько бы мыши ни съели за сутки, на следующий день мы кладём столько же плюс пятьдесят процентов. Вскоре мышей уже восемь, затем шестнадцать, затем тридцать две. Неважно, мы продолжаем каждый следующий день класть в кормушку на пятьдесят процентов больше корма, чем в предыдущий. Шестьдесят четыре мыши, сто двадцать восемь, двести пятьдесят, пятьсот, тысяча. Сколько бы мыши ни съели за день, на следующий мы кладём

столько же плюс пятьдесят процентов, постепенно раздвигая стенки клетки, чтобы избежать давки. Две тысячи, восемь тысяч, шестнадцать тысяч, тридцать две тысячи, шестьдесят четыре тысячи. В этот момент кто-то вбегает и кричит: «Стоп! Стоп! Это демографический взрыв!»

Ой, правда! Что же нам теперь делать?

У меня предложение. Давайте начнём с ответа на следующий вопрос: сколько корма шестьдесят четыре тысячи мышей съели вчера? Ответ: пятьсот килограммов. Хорошо. Если следовать процедуре, то сегодня мы должны дать им семьсот пятьдесят килограммов. Но давайте сейчас же отменим старую процедуру и введём новую: если вчера им хватило пятисот килограммов, то почему не хватит столько же и сегодня?

Итак, начиная с сегодняшнего дня, мы ежедневно насыпаем в кормушку пятьсот килограммов корма.

Теперь смотрите внимательно. Нет никаких голодных бунтов. С чего бы им быть? Мыши каждый день получают столько же корма, сколько съели вчера.

Продолжайте смотреть внимательно. Ни одна мышь не умирает от голода. С чего бы им умирать?

На следующее утро мы снова насыпаем в кормушку пятьсот килограммов корма. Опять смотрите внимательно. Голодных бунтов по-прежнему нет. Умирающих с голоду тоже.

Третий день. Голодных бунтов всё нет, умирающих с голоду тоже.

Может, новые мыши перестали рождаться? Да нет, новые продолжают рождаются, как и старые — умирать.

Четвёртый день, пятый, шестой. Я всё жду голодных бунтов, но их нет и нет. Жду наступления голода, но и его нет.

В клетке шестьдесят четыре тысячи мышей, и пятисот килограммов корма в день им вполне хватает. С какой стати им бунтовать? И откуда взяться голоду?

А, совсем забыл: демографический взрыв прекратился

тотчас же. Иначе и быть не могло. Демографический рост *невозможен* без роста кормовой базы. Никогда. Исключений нет. Меньше пищи — меньше ртов. Больше пищи — больше ртов. Стабильное количество пищи — стабильная популяция. Вот чего мы добились: стабильности.

Демонстрация третья. Исходное положение — то же, что в конце предыдущей. Шестьдесят четыре тысячи мышей, пятьсот килограммов корма в день, стабильность. В этот момент приходит начальник хозяйственного отдела и говорит: «Зачем нам шестьдесят четыре тысячи мышей? Они пожирают столько, что скоро пустят нас по миру. И почему именно шестьдесят четыре тысячи? Может, хватит и восьми тысяч?»

Ужас, кошмар, катастрофа. Срочно справочник! Кто выпускает презервативы для мышей? Как, никто? Звоните специалистам по планированию семьи! Как, никакого планирования семьи для грызунов?!

Как вы уже знаете, в подобного рода мерах нет никакой необходимости. Вы знаете это потому, что помните и усвоили закон «Б» азбуки экологии. Рождаемость контролировать не нужно. Достаточно контролировать *пищу*.

Кто-то предлагает: давайте это и сделаем. Вчера насыпали пятьсот килограммов корма, сегодня насыплем на килограмм меньше. Ему возражают: на килограмм это слишком резко, давайте сократим на четверть килограмма. Так и сделали. Насыпали в кормушку четыреста девяносто девять и три четверти килограмма корма. В лаборатории все волнуются, ждут голодных бунтов, голода — но, конечно, не происходит ни бунтов, ни голода. Для шестидесяти четырёх тысяч мышей четверть килограмма корма — это песчинка в пустыне.

На следующий день в кормушку кладут четыреста девяносто девять с половиной килограмма корма. По-прежнему ни бунтов, ни голода.

Этой процедуре следуют в течение тысячи дней — и ни

разу ни бунта, ни голода. Через тысячу дней в кормушку уже насыпают по двести пятьдесят килограммов корма, и знаете что? Вместо шестидесяти четырёх тысяч мышей в клетке уже вдвое меньше, тридцать две тысячи. Никакого чуда, просто демонстрация экологических законов в действии. На сокращение количества корма мыши отреагировали сокращением своей популяции. Как всегда. *Semper et ubique.* Никаких бунтов, никакого голода. Нормальная реакция любой популяции на наличие пищи.

Возражения

Меня удивляет, насколько возмутительными находят люди эти идеи. Они воспринимают их как угрозу себе. Они сердятся. Им кажется, что я посягаю на основы их жизни. Им кажется, что я ставлю под вопрос благословенность величайшего благословения цивилизованной жизни. Им кажется даже, что я оспариваю священность самой человеческой жизни.

Хочу ответить на некоторые из возражений такого рода. Начну с самого общего, которое звучит так: люди — не мыши. Конечно, это чистая правда, особенно на индивидуальном уровне. Как индивидуум каждый из нас обладает способностью делать выбор в отношении собственного воспроизводства, тогда как у мышей такой способности нет. Тем не менее (на это указывает экология, и я это сегодня уже подчёркивал), наше поведение как биологической популяции ничем не отличается от поведения любой другой биологической популяции. Подтверждением этого заявления служат десять тысяч лет нашего подчинения следующему фундаментальному закону экологии: увеличение количества пищи у того или иного биологического вида вызывает рост численности этого вида.

Мне говорили, что так *не обязательно* должно быть. Мне говорили, что можно *увеличивать* производство продовольствия и одновременно *сокращать* нашу численность. Это

в основном позиция сторонников контроля за рождаемостью. Это в основном позиция благонамеренных организаций, помогающих странам «третьего мира» овладеть более эффективными методами ведения сельского хозяйства. Они хотят дать технологически отсталым странам средства для увеличения численности населения и одновременно оказать им помощь в контроле над рождаемостью. При этом нам хорошо известно, что те же самые средства контроля над рождаемостью ни в коей мере не помогают нам самим. Они считают, что можно продолжать увеличивать производство продуктов питания, а прирост населения остановить путём контроля над рождаемостью. Это полное отрицание закона «Б» азбуки экологии.

История — и не тридцать лет истории, а десять тысяч лет истории, — ни в малейшей степени не подтверждает идею, что можно одновременно увеличивать производство продуктов питания и сдерживать демографический рост. Наоборот, история безоговорочно подтверждает правоту экологии: чем больше будет пищи, тем больше будет ртов.

На индивидуальном уровне всё, конечно, иначе. Старик Макдональд на своей ферме вполне может наращивать производство и без каких-либо изменений в составе его семьи, но на этом история не кончается. Что он будет делать с излишками, которые вырастил? Переработает в топливо и зальёт в трактор? Если так, то это уже не излишки. Продаст? По всей вероятности, он так и сделает, и если сделает, то его излишки вольются в общие излишки продовольствия, обеспечивающие прирост населения в глобальных масштабах.

Мне часто говорят, что, даже если мы *перестанем* наращивать производство продуктов питания, численность населения всё равно *продолжит* расти. Это предположение противоречит *обоим* основным положениям азбуки экологии («А» *и* «Б»). Пункт «А» азбуки экологии гласит: «*Мы — это пища*». Мы — это пища, потому что мы то, что мы едим, а

едим мы пищу. Каждый из нас в буквальном смысле *сделан из пищи*.

Когда мне говорят, что новые миллионы людей продолжат добавляться к миллиардам уже живущих, даже если мы прекратим наращивать производство еды, то интересно было бы знать, из чего эти дополнительные миллионы людей будут сделаны. Ведь пищи для них не выпущено. Я вынужден просить: «Приведите ко мне этих людей, и если они сделаны не из пищи, то я хочу знать, *из чего* они сделаны. Из лунного света? Из радуги? Из космической пыли? Из ветра? *Из чего?*»

Почти после каждой лекции кто-нибудь напоминает мне, что население богатых продовольствием северных стран растёт медленнее, чем население южных, где продовольствия меньше. Этот факт будто бы подтверждает, что на человеческие сообщества *не* распространяются законы экологии, согласно которым (якобы), чем больше продуктов питания, тем быстрее растёт население. Но экология утверждает совсем *не* это. Позвольте мне повторить: экология *не* утверждает, что чем больше в каком-то регионе *производится* продовольствия, тем быстрее там растёт численность населения. Экология утверждает другое: чем бóльшим количеством продовольствия *располагает* население, тем быстрее растёт его численность. Если в северных странах с каждым годом становится больше продовольствия, то и численность населения там с каждым годом увеличивается. Если в южных странах с каждым годом становится больше продовольствия, то с каждым годом численность населения увеличивается там.

На это мне категорически заявляют, что продовольствия в южных странах больше *не* становится. Население растёт, как на дрожжах, но этот рост ни в коей мере *не* вызван ростом производства продуктов питания. Что на это сказать? Если это действительно так, то мы имеем дело с экологическим чудом. Если, как вы говорите, еды у людей больше не стало, следовательно, они сделаны не из еды. Значит, они сделаны

из воздуха, изо льда, из глины. Но если окажется (а я в этом не сомневаюсь), что эти люди всё-таки состоят не из воздуха, льда или глины, а из плоти и костей, то я повторю: плоть и кости делаются из пищи, которую мы едим. И если где-то население возросло, значит, там *была* для этого пища.

Я должен, конечно, коснуться и вопроса о миллионах страдающих от голода. Следует ли продолжать наращивать производство продовольствия, чтобы накормить эти миллионы людей? Здесь нужно понять две вещи. Во-первых, излишки продовольствия, которые мы ежегодно производим, *не* направляются на спасение этих миллионов людей. Они не направлялись на эти цели ни в 1995 году, ни в 1994-м, ни в 1993-м, ни в 1992-м, и не будут направлены в 1996 году. На какие же цели направляются эти излишки? На поддержание роста народонаселения.

Это во-первых. Во-вторых, всякий, кто занимался проблемой голода в мире, знает, что проблема не в недостатке еды. Увеличение производства продовольствия проблему *не* решает, поскольку проблема *не* в этом. Увеличение производства продовольствия лишь стимулирует рост населения.

Тогда меня спрашивают: «Разве вы не знаете, что наша продовольственная база уже сокращается? Каждый год мы уничтожаем миллионы тонн плодородного слоя почвы. Даже море даёт нам всё меньше продуктов. А население продолжает расти». Суть вопроса заключается в последних двух предложениях: наши возможности производства продовольствия сокращаются, а население продолжает расти. Этот вымысел выдвигается как доказательство отсутствия связи между наличием еды и ростом численности населения. Это ещё один пример магического мышления. Демографический рост не может продолжаться без наличия пищи, как огонь не может гореть без топлива. Тот факт, что демографический рост из года в год продолжается, *доказывает,* что мы из года в год производим всё больше продовольствия. Когда поя-

вятся люди, сделанные из облаков, металлических стружек и гравия, тогда я первым признаю эту взаимозависимость несуществующей.

Когда больше сказать уже нечего, выдвигается возражение, что люди в нашем мире не потерпят ограничений в еде. Возможно, но это не имеет отношения к представленным мною фактам.

Меня ни разу не спрашивали о том, какие у меня возражения против контроля над рождаемостью, но я отвечу и на этот вопрос. Я не против контроля над рождаемостью как такового. Просто это очень неэффективная стратегия решения проблемы. В борьбе с кризисом целью должно быть устранение его причин, а не следствий. Если вы контролируете причины, вам не придётся бороться со следствиями. Почему служба безопасности в аэропорту проверяет пассажиров *перед* посадкой в самолёт? Потому что она не хочет возиться со следствиями. Вернее и проще проверить наличие возможных причин. Контроль над рождаемостью нацелен на следствия. Контроль за объёмами производства продовольствия нацелен на причины. Вот об этом нам и нужно задуматься.

Вопросы и ответы

[Вопросы были заданы по-немецки. Б повторил их своими словами по-английски.]

Вопрос. В одной из своих демонстраций вы сказали, что раздвигали стенки клетки, чтобы растущая популяция мышей свободно в ней умещалась. Мне кажется, это делает демонстрацию некорректной — у нас-то ведь нет возможности раздвинуть планету, чтобы она вмещала растущее население.

Ответ. Европейские нации в начале шестнадцатого века практически это и сделали: чтобы вместить своё растущее население, раздвинули стенки клетки, добавив к ней территории Нового Света, Австралии, Меланезии, Африки.

Вопрос. Мне кажется, вы недалеко ушли от Томаса Мальтуса, который век назад уже предсказывал нечто подобное.

Ответ. Мальтус предупреждал о неизбежном *крахе* тоталитарного сельского хозяйства. Я предупреждаю о последствиях затянувшегося *успеха* тоталитарного сельского хозяйства.

Вопрос. В своих рассуждениях о демографическом росте вы не принимаете во внимание взаимосвязь между уровнем жизни и демографическим ростом. В странах с высоким уровнем жизни прирост населения близок к нулю, а то и ниже нуля (как в Германии), тогда как в странах с низким уровнем жизни прирост населения самый высокий. Это показывает, что демографический рост не обязательно связан с количеством продовольствия.

Ответ. Ваша аргументация напоминает излюбленную аргументацию производителей табачных изделий: «Одна из моих лучших подруг никогда в жизни не курила, не росла среди курильщиков и не работала рядом курильщиками, и при этом умерла от рака лёгких в тридцать семь лет. А мой отец, наоборот, курит с семнадцати лет по две пачки сигарет в день и в свои шестьдесят три года пребывает в отличной форме. Это показывает, что курение и рак не обязательно связаны между собой».

Если рассматривать нашу систему народонаселения в целом, в глобальном масштабе, а не в масштабе отдельных стран, то нет никаких сомнений, что как единое целое наше народонаселение растёт настолько катастрофически, что, по прогнозам Организации Объединённых Наций, приблизительно через сорок лет нас будет двенадцать миллиардов.

Вопрос. Вы не учитываете возможность замедления демографического роста путём улучшения условий жизни.

Ответ. Пятьсот лет назад в Новом Свете численность

некоренного населения равнялась нулю. Сегодня некоренного населения там триста миллионов человек. Этот прирост не был результатом плохих условий жизни. Он был следствием причин, о которых я рассказал сегодня.

Вопрос. Обеспечение продовольствием растущего населения планеты вовсе не является главной задачей фермеров, как вы говорите. Не это стимулирует их работу. Всё больше и больше фермеров выращивают продукцию, которая никого не кормит, — кофе, хлопок, табак.

Ответ. Тогда откуда же берётся продовольствие для нашего растущего населения? Если его производят не фермеры, то кто? Это биологический факт, который даже не обсуждается: если население увеличилось на сто миллионов человек, эти сто миллионов человек сделаны из пищи, а не из чего-то другого.

Вопрос. По Карлу Марксу, численность населения каждой культуры обусловливается наличием у людей средств к существованию. Например, образ жизни охотников-собирателей обусловливает их малочисленность. Чтобы прокормить более крупное сообщество, им пришлось бы частично изменить свой образ жизни. Иными словами, сам их образ жизни является для них ограничивающим фактором. Наш образ жизни тоже станет для нас ограничивающим фактором.

Ответ. Понятно. А производство продуктов питания, стало быть, здесь ни при чём?

Вопрос. Для меня производство продуктов питания здесь ни при чём.

Ответ. Могу лишь сказать, что биологические науки считают иначе.

Вопрос. Мне кажется, нам с нашим демографическим ростом вообще ничего делать не надо. Система сама с этим разберётся.

Ответ. А не разберётся, так рухнет. Что практически

неизбежно. Если вы узнали, что дом, в котором вы живёте, построен со структурным дефектом и скоро рухнет под действием силы тяжести, вы, конечно, вправе предоставить системе самой разбираться с этой проблемой. Но если в доме, когда он рухнет, окажутся ваши дети, вы наверняка усомнитесь, что приняли правильное решение.

(Вернуться в главу 13.)

ГЛАВА 29

Великое Вспоминание

25 мая, театр «Ванфрид», Раденау

Есть один наркотик, известный под названием «ангельская пыль», или фенциклидин. Под его действием люди ощущают себя всесильными и неуязвимыми, их маниакально тянет совершать действия, выходящие за пределы физических возможностей человеческого тела, и они бездумно ломают себе кости, рвут в клочья плоть, выворачивают суставы, воображая, что это не причинит им никакого вреда, и убеждаются в обратном лишь после того, как наркотик перестал действовать.

У нашей культуры есть своя разновидность «ангельской пыли», которая внушает нам иллюзию всесилия и неуязвимости. Под её действием мы маниакально совершаем действия, выходящие за пределы возможностей не только нашего биологического вида, но и любого биологического вида на земле, и мы бездумно ломаем себе кости, рвём в клочья плоть, выворачиваем себе суставы, воображая, что это не может причинить нам вреда. Только теперь, когда действие наркотика начинает ослабевать, мы, как тот наркоман, начинаем осознавать масштабы нанесённых себе увечий. Но даже осознавая всё это, мы продолжаем принимать наркотик, потому что ещё не поняли, что это он источник всех наших бед.

Наркотик, о котором я говорю, называется Великим Заб-

вением. Как «ангельская пыль» отбивает у человека память о том, что он состоит из костей и мяса, так Великое Забвение отбивает у нас память о том, что мы — биологический вид в сообществе биологических видов и не свободны, и не освобождаемы от действия сил, которые управляют всей жизнью на этой планете. Великое Забвение лишает нас способности видеть, что невозможное ни для какого биологического вида невозможно и для нас. Как «ангельская пыль» толкает людей на действия, смертельно опасные для любого человека, так Великое Забвение толкает нас на действия, смертельно опасные для любого биологического вида.

Многие думают, что человечеству уже не спастись. Я слышу об этом каждый день и сочувствую тем, кто так думает. Их ощущение безнадёжности объясняется тем, что они ошибочно принимают действие наркотика за проявление самой человеческой природы. Пора перестать принимать этот наркотик и кормить им наших детей. Пора перейти к Великому Вспоминанию.

Забвение племенного строя

Недавно я уже объясняла, что Великое Забвение породило ложную идею о том, будто люди на этой планете появились лишь несколько тысячелетий назад, и это были люди нашей культуры. В подтверждение этой лжи приводилась легенда о том, будто наша культура была не только первой и основополагающей человеческой культурой, но и единственной культурой, предназначенной Богом для всех людей. Это ложное представление по сей день господствует в мире, как на Востоке, так и на Западе, несмотря на то, что правда о происхождении человека опровергает его со всей очевидностью, причём эта правда всем хорошо известна.

Отцы-основатели нашей культуры заново переписали историю и представили её так, будто люди пришли в этот мир уже с инстинктивной тягой к цивилизации, но, конеч-

но, без опыта её построения. Они очень быстро открыли для себя преимущества общинного образа жизни, а оттуда дорога к цивилизации была уже простой и ясной. Деревни вырастали в города, города — в мегаполисы, мегаполисы — в королевства, и так далее.

Всё было ясно, но не всё шло гладко, потому что ключевой инструмент управления обществом ещё предстояло изобрести, и этим инструментом должен был стать закон.

Не зная, что такое вообще закон, граждане тех ранних городов и царств были обречены на страдания от преступности, массовых беспорядков, эксплуатации и несправедливости. Закон был настолько же жизненно важным и незаменимым изобретением для упорядоченного развития общества, насколько изобретение астролябии было важным для навигации в океане.

Естественно было бы ожидать, что законы существовали задолго до изобретения письменности, но, похоже, законов до той поры не было. Если бы законы ранее передавались из уст в уста, то первые же образцы письменности наверняка закрепили бы их в камне, глине, на пергаменте или папирусе, но — ничего подобного археологи не находят. В действительности самым первым письменным сводом законов был так называемый Кодекс Хаммурапи, датируемый лишь примерно 2100 годом до н. э.

Короче говоря, что сочинили отцы-основатели нашей культуры, то и стало общепринятой исторической истиной, увековеченной во всех дальнейших творениях общественной мысли и цитируемой во всех школьных учебниках по всему свету по сей день. Истины в этом, конечно, не больше, чем в том, что детей приносят аисты.

Давайте теперь снимем чёрные очки Великого Забвения и посмотрим, что на самом деле происходило в мире десять тысяч лет назад. На протяжении более ста тысяч лет члены семьи *Homo sapiens* расселялись со своей африканской роди-

ны по всему свету и в итоге достигли буквально каждого его уголка. И я не имею в виду, что это случилось «недавно». К тому времени, о котором я говорю, то есть десять тысяч лет назад, современные люди жили на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Австралии и Новом Свете по меньше мере уже двадцать тысяч лет. Отнюдь не пустынный, Ближний Восток был одним из самых густонаселённых регионов мира, и населён он был такими же племенами, какие в те времена жили повсюду в мире и какие по сей день можно встретить в местах, где им позволили выжить.

Итак, мы сделали два шага за пределы сказки. Основатели нашей культуры жили не в пустом мире, они были племенным народом, и вокруг него жило много других племенных народов, каждый со своей культурой. Это были древние-предревние культуры, и их возраст автоматически означает, что идея законности была им совсем не чужда. Ни разу за всю историю антропологии не встречалось такое племя, у которого не было бы полного свода законов — полного в том смысле, что он охватывал все стороны жизни племени.

Мы никогда не узнаем, как назывались племена, населявшие в то время интересующий нас регион. Неизвестно и название племени, в котором зародился наш собственный ушлый подход к жизни. Поскольку потомков того племени мы называем Берущими, я дам ему созвучное название — Бер. И пусть это будет началом истории, которую я сочинила для вас.

Ясное дело, не нужно принимать её за подлинную историю, но это и не дурацкая сказка, какие рассказывают вам те, кто всё ещё ослеплён Великим Забвением. В том, что беры существовали, нет никаких сомнений (иначе нас с вами не было бы на свете!), как нет сомнений и в том, что это племя жило в окружении других племён, которые на этом рисунке представлены под названиями Вер, Гер, Дер, и так далее до Нер.

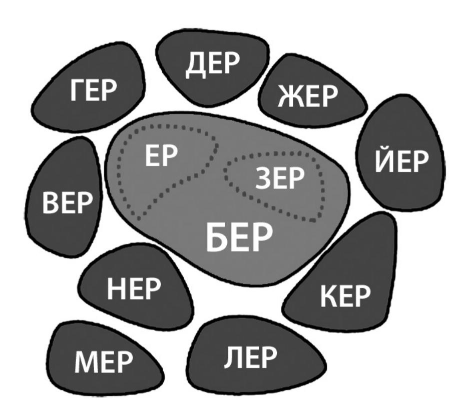


Этот рисунок отражает две жизненно важных реалии племенной жизни. Первая реалия — тёмный фон территории каждого племени символизирует твёрдость и целостность его самобытных законов и обычаев. Это в буквальном смысле всё, чем племена отличаются друг от друга. Законы и обычаи неров — это всё, чем они самобытны как племя. Законы и обычаи деров — это всё, чем они самобытны как племя. И так далее. Вторая реалия — чёткая граница территории каждого племени подчёркивает, что культурные границы между ними непроницаемы. Член племени Гер не может просто взять и по собственному желанию перейти в племя Кер. Такое немыслимо ни в каких племенах нигде в мире.

Вероятно, в те годы некоторые из этих племён занимались сельским хозяйством, а некоторые были охотниками-собирателями. В том, что такие племена соседствовали друг с другом, нет ничего необычного. Как бы то ни было, мы знаем, что беры (племя, в котором возник образ жизни Берущих) занимались сельским хозяйством. При этом нет никаких оснований считать, что они и изобрели сельское хозяйство. Их изобретением был новый *метод* ведения сельского хозяйства — *тоталитарный* метод.

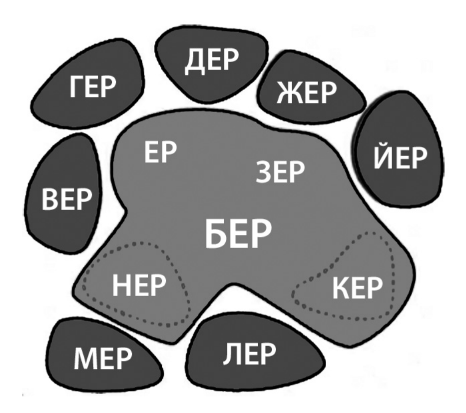
Но грандиозность изобретения беров не ограничивалась сельским хозяйством. Им пришла в голову беспрецедентная

идея навязать свой образ жизни *всем людям*. Значение этой идеи невозможно преувеличить. Я не знаю ни одного древнего народа, который ставил бы своей целью навязать свой образ жизни соседним народам. Такой цели определённо не было ни у одного племенного народа, но и из цивилизованных ни один не проявлял к этому интерес. Например, майя, натчезы и ацтеки и не думали навязывать свой образ жизни другим народам, включая покорённых ими. Беры в этом отношении были настоящими революционерами. С помощью подкупа, убеждения и агрессии они начали экспортировать свою революцию на соседние территории.

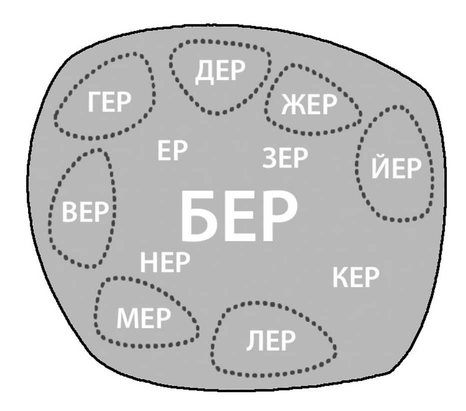


Объединённые общей культурой, беры, еры и зеры неизбежно утратили былую твёрдость и целостность законов и обычаев, некогда характерных для них. Поэтому они изображены на менее контрастном фоне. Законы и обычаи беров мало что значат для еров и зеров. Законы и обычаи еров мало что значат для беров и зеров. Законы и обычаи зеров мало что значат для беров и еров. Поскольку образ жизни у них теперь общий, культурные границы между ними постепенно стираются. Теперь трудно отличить одних от других. Ер ты или зер, теперь не так важно, как было прежде. Главное теперь — союз с берами. Здесь важно иметь в виду, что в

этом союзе оригинальные законы и обычаи беров имеют не больше силы, чем чьи-либо другие. Еры и зеры не стали берами. Они лишь в значительной степени перестали быть ерами и зерами.



Процесс продолжается. Законы и обычаи отдельных племён продолжают терять значение. К этому времени еры и зеры практически потеряли свою самобытность как племена, такая же участь ждёт неров и керов.

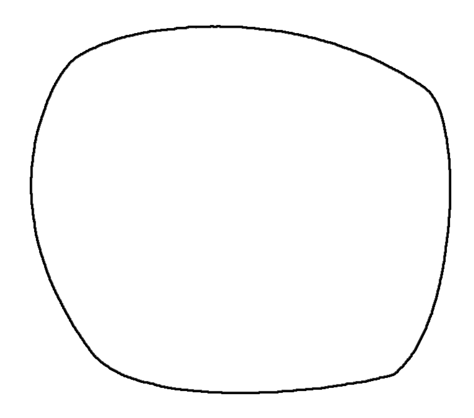


В конце концов двенадцать независимых прежде племён слились в одно большое коллективное хозяйство. Поскольку

племенные законы и обычаи теперь сведены к нулю, к нулю же свелись и отличительные черты племён.

Отныне вер так же запросто может жить среди керов, как бельгиец во Франции или уроженец Нью-Йорка в Сан-Франциско.

Теперь мы готовы к тому, чтобы изобразить состояние законов в этом коллективном хозяйстве.



Отцы-основатели нашей культуры воображали, что наша культура возникла в правовом вакууме. Как видно из этой серии рисунков, наша культура возникла в условиях абсолютного *изобилия* законов, но затем постепенно перестала им следовать, причём, я уверена, не по собственной воле (во всяком случае первое время). Даже законы самих беров вышли из употребления как ничего не значащие для большинства населения.

Хочу обратить ваше внимание на то, что эта реконструкция не полностью плод моего воображения. Полистайте историю распространения нашей культуры на американском континенте, в Австралии, Африке и других местах, и вы непременно увидите, как по ходу её продвижения в ней медленно, но уверенно растворялись племенные законы, а с племенными законами — и племенная самобытность людей.

О природе общепринятых законов

С течением времени правовой вакуум охватывал всё более обширные территории, и в конце концов возникла необходимость в какой-то новой форме законов. Поскольку племенные законы устарели, не оставалось ничего другого, кроме как начать *выдумывать* новые.

Думаю, всякий, кто часто выступает перед публикой, рано или поздно начинает чувствовать, когда сказанное им вызывает резонанс в аудитории. Именно это я почувствовала, когда сказала, что не оставалось ничего другого, кроме как начать *выдумывать* законы.

Казалось бы, откуда же ещё взяться законам, если их не *выдумать?* Но именно этим и интересны племенные законы. Ни один из них не был *выдуман,* все они были *традиционными* законами. Ни один из них не являлся результатом работы какой-то комиссии, состоявшей, например, из старейшин племени. Все они возникали естественным образом в ходе эволюции общества. Они обретали форму так же, как обретал форму клюв птицы, как обретали форму когти крота, — какая форма лучше соответствовала возложенной на орган функции, такая и оставалась. Племенные законы никогда не отражали понятия членов племени о том, что «правильно», «хорошо» или «честно» — они просто были *оптимальны* для данного конкретного племени. Продемонстрирую это примером…

Вот у женщины там срочный вопрос. Говорите, пожалуйста…

Да. Повторяю вопрос для тех, кому не было слышно. Это о женском обрезании у племенных народов, которое заключается в обрезании клитора. Я изучала этот вопрос и не нашла ни одного незатронутого цивилизацией племенного народа, который практиковал бы эту омерзительную операцию. Упоминания о ней я нашла лишь у народов, полностью поглощённых культурой Берущих, а именно — исламской

разновидностью культуры Берущих. В Коране нет ни слова об обрезании клитора, однако практикующие его почему-то уверены, что оно одобряется исламом и даже требуется им. Кстати, эта практика не встречается за пределами регионов, находящихся под влиянием ислама. Веским аргументом в пользу того, что эта практика не присуща племенному образу жизни, является тот факт, что она не встречается у племенных народов, доживших до наших дней, таких как пагибети или яка. Она встречается только у народов, лишившихся своего племенного самосознания, племенных законов и обычаев вследствие их поглощения более крупными и нередко политически признанными сообществами Берущих, такими как, например, Сенегал или Мали.

Вас устраивает ответ?

Я собиралась привести пример того, как общепринятые племенные законы отличаются от законов, выдуманных комиссиями. Вот как алавы в Австралии поступают в случаях супружеской измены.

Предположим, что вы неженатый молодой человек из племени алава, и вас угораздило влюбиться в Гуртину, жену вашего троюродного брата, и вы видите, что она питает к вам такие же чувства. С троюродным братом у вас прекрасные отношения, и вы никоим образом не желаете ему зла, но что случилось, то случилось — вы и его жена безумно влюбились друг в друга.

Всё это трогательно и романтично. Живя в одном племени, вы неизбежно видитесь каждый день. Как звёзды двойной системы, вы находитесь под действием двух противоборствующих сил: одна толкает вас друг к другу, другая расталкивает. Что вы читаете в глазах друг друга, вам совершенно ясно, но это нуждается в испытании. И вы жаждете этого испытания, но в то же время и знаете, какую цену вам неизбежно придётся заплатить.

Неважно. Терпеть вы больше не в силах. Пламя любви

сжигает вас заживо. Однажды вы случайно встречаете её за окраиной деревни. Она как всегда смущённо опускает глаза, а вы уже всё для себя решили и готовы к действию. «Сегодня ночью», — шепчете вы, — «за лебедой на другом берегу реки».

Несколько секунд она колеблется, прислушиваясь к своему сердцу, но и она уже знает, что время пришло. «На закате Луны?» — спрашивает она. «На закате Луны», — шепчете вы. Она кивает и бежит прочь, её сердце готово вырваться из груди от радости и страха.

Ночью вы, конечно, приходите в назначенное место пораньше, чтобы поуютнее обустроить ваш будуар любви, ваше гнёздышко страсти. А вот и Гуртина. Вы бросаетесь в объятия друг друга. Ах!

Несколько часов спустя, изнурённые счастьем, вы молча сидите у маленького костра, наблюдая, как пламя его бледнеет по мере приближения рассвета. Ваши взгляды встречаются, и в них вы читаете больше, чем только что было сказано самыми нежными словами и ласками. Вы испытали свою страсть. Теперь, говорят ваши взгляды, настало время для испытания вашей любви.

Вздохнув, вы присыпаете костёр землёй и направляетесь обратно в деревню, стараясь шагать бесшумно. Вы следите за выражением своих лиц. Ликование было бы инфантильной дерзостью. Стыд был бы отречением от любви. Вместо этого ваши лица расслаблены и выражают готовность стойко встретить всё, чего не миновать. Вы оба знаете, что увидите, когда войдёте в деревню, и именно это вы видите. На одном краю деревни выстроились мужчины, уже выкрикивая угрозы, на другом — перешёптываясь, толпятся женщины.

Вы и Гуртина снова обмениваетесь взглядами — на этот раз совсем на мгновение, — после чего возмущение соплеменников обрушивается на вас. Женщины набрасываются на неё, мужчины — на вас. В воздух со свистом летят камни, копья, бумеранги, затем в дело идут дубинки и мотыги.

Но вы не просто стоите и принимаете удары, вовсе нет. Вы отбиваетесь, защищая свою любовь, отвечая криками на крики, камнями на камни, копьями на копья, ударами на удары, пока все не выбиваются из сил.

Гуртину, в крови и синяках, возвращают мужу, а вам говорят собирать пожитки и отправляться прочь из деревни куда глаза глядят. Пока что у мужчин больше нет на вас сил, но злоба в них не утихла, и после передышки всё начнётся сначала, поэтому вы сразу собираетесь в дорогу и — думаете. Крепко думаете. Испытание вашей любви ещё не закончилось, оно только начинается. Настоящим испытанием будут следующие несколько часов, и проходить оно будет в ваших умах и сердцах. Вы покидаете деревню, зная, что пока что у вас есть выбор.

Вы должны ответить себе на массу вопросов. Действительно ли вам нужна эта женщина? Нужна ли она вам больше всего на свете? Если нет, если есть даже тень сомнения, то просто продолжайте шагать — побродите две-три недели, а когда вернётесь, мужчины уже успокоятся, ещё две-три недели посмеются над вами, а потом обо всём забудут. Но вот Гуртина… Гуртина увидит, кто вы на самом деле — трусливый соблазнитель, ничтожество. Она не забудет вам этого никогда. Но всё это можно пережить. Альтернатива, с другой стороны… Весь день вы ходите кругами в окрестностях деревни, достаточно далеко, чтобы не попасться никому на глаза, и размышляете. К вечеру вы уже знаете, что сомнений никаких не осталось. В наступившей темноте вы тайком пробираетесь к деревне, к хижине, где держат под охраной вашу любимую. Под не очень строгой охраной.

Её охраняют, чтобы она не сбежала с вами. Но посмотрите на эту охрану! Она же чисто символическая.

Гуртина тоже стоит перед выбором, перед таким же роковым выбором, что и вы. Охрана, какой бы они ни была, ограничивает её выбор. Она не свободна. В отличие от вас.

Значит, это вы должны проявить смелость и пробраться к ней. Ей незачем доказывать свою смелость, выбираясь к вам. Да она и не может. Её охраняют, вы понимаете. Таким образом, если вы не придёте к ней, ей не будет за это стыдно. Стыдно будет вам.

Но это одна сторона медали. Её охрана защищает и вас, потому что Гуртина тоже должна сделать выбор. Действительно ли вы нужны ей? Нужны ли вы ей больше всего на свете? Если нет, если есть даже тень сомнения, то в ответ на ваш зов ей достаточно будет беспомощно пожать плечами, как бы говоря: «Ты видишь, любимый? Я не могу сбежать. Меня слишком тщательно охраняют». Таким образом, присутствие охраны позволяет ей известить вас о своём выборе, не ущемляя вашего самолюбия. Присутствие охраны позволяет ей поставить в вашей истории точку в один момент, без единого слова и, можно сказать, безболезненно.

Теперь обратите внимание, что ничто из этого, конечно же, не было организовано экспромтом по данному конкретному случаю. Да, охрана Гуртины на удивление слепа и глуха. Не совсем слепа и глуха, поскольку всё-таки выполняет изложенные выше задачи, но достаточно слепа и глуха, чтобы не мешать ей сбежать по вашему зову, если таков её выбор. Потому что алавы, естественно, не настолько бесчувственны, чтобы не понимать, что, если она действительно любит вас, то бессмысленно чинить ей препятствия.

Испытание подошло к концу. Вы и она приняли ваше решение. Теперь придётся платить его цену. Цену за нарушение обычаев племени, за обесценивание брака в глазах детей. И цена эта настолько велика, что почти равна смерти: пожизненное изгнание из племени.

По вашему сигналу Гуртина убегает из-под охраны, и, вместе отныне и навсегда, вы вдвоём устремляетесь в ночь, чтобы никогда не вернуться. С этого момента вы будете жить в стране мёртвых. Изгнанные из племени, вы мертвы

как для тех, кого оставили позади, так и для тех, кого встретите в будущем. Вы теперь в полном смысле бездомные, по собственному вашему выбору, одни в бескрайнем и пустом мире. Вы теперь сами друг другу дом — дом, который вы поставили *выше* племени. У вас никогда больше не будет другой поддержки, кроме той, которую вы найдёте друг в друге, и ни друзей, ни отца с матерью, ни дядей с тётями, ни двоюродных братьев и сестёр, ни племянников и племянниц. Вы бросили их всех — ради друг друга.

И вы знаете, что цену эту вы заплатили по вашему собственному выбору, она никем не была вам назначена в качестве наказания. Продолжать жить в племени вместе было бы немыслимо, позорно и даже хуже, чем в изгнании. Для племени это было бы разрушительно, потому что стоило бы детям однажды увидеть, что супружеская измена не влечёт за собой расплату, брак стал бы посмешищем, и сами основы семьи и племени обратились бы в прах.

Этот пример демонстрирует поразительную эффективность племенных законов. В отличие от выдуманных законов, которые представляют собой лишь перечень преступлений и наказаний, племенные законы по-настоящему *действуют*. Они действуют для всех, кого касаются. Если мужчина и женщина любят друг друга больше всего на свете, как в описанном случае, они, конечно, должны быть вместе. Но в интересах племени они должны *уйти* — исчезнуть с его глаз и из его памяти навсегда. Дети в том племени увидели собственными глазами, что брак и любовь — это не пустые слова, какими они стали в «цивилизованных» обществах вроде нашего. Оскорбление, нанесённое мужу, было отомщено, и никто не будет насмехаться над ним за его спиной, поскольку все мужчины племени помогали ему наказать обидчика.

Но, возможно, в этот момент рассказа у кого-то возник вопрос: почему эти двое вообще вернулись в деревню? О, в этом вся суть закона. В противном случае он перестал бы действовать. Представьте, что после ночи, проведённой в любовных утехах, вы предложили Гуртине: «А зачем нам ждать ещё день? Давай убежим сейчас?» Что бы она подумала? Она подумала бы: «Что же я натворила? Похоже, я в нём ошиблась. Он трус, если предпочитает улизнуть тайком, чем вернуться и гордо сказать остальным: „Вот, мы пришли! Делайте с нами всё, что хотите!“» Если не вы, а она предложила бы вам то же самое, вы то же самое подумали бы о ней. Поэтому вернуться вы должны были неизбежно и вместе.

В этой истории каждая её часть представляет собой закон, и каждое действующее лицо — соавтор и исполнитель закона. Закон для этих людей — это не отвлечённый акт, напечатанный в книге. Это то, из чего соткана вся их жизнь. Это то, что делает алав алавами и отличает их от масаев и малануггануггга, которые разбираются с супружескими изменами другими способами, наилучшими для *них*.

Никогда не лишне повторить, что *нет и не может быть единственно правильного образа жизни*. Обратное утверждает лишь самая смертоносная и разрушительная цивилизация из всех когда-либо существовавших в истории — *наша*.

Думаю, для всех очевидно, что этот закон о супружеской измене не мог быть придуман никаким законодательным органом. Это не импровизация и не изобретение, и, *поскольку* это не импровизация и не изобретение, алавы чтят его с незапамятных времён. Вряд ли кому-нибудь из них приходило в голову анализировать его, как я сделала сегодня, но это не имеет никакого значения. Алавы соблюдают свои законы не потому, что они выдерживают проверку анализом. Алавы соблюдают законы алав потому, что они алавы, и не соблюдать законы алав для них равносильно потере своего племенного самосознания, равносильно изгнанию из племени.

ГЛАВА 29

Мир изгнанников

Надеюсь, теперь у вас есть представление о расплате за участие в революции Берущих. Это изгнание из племени — потеря племенных законов, обычаев и самосознания. Поскольку изгнание из племенных социальных структур в Старом Свете (под ним я подразумеваю Ближний Восток, Дальний Восток и Европу) происходило за тысячи лет до самых ранних исторических хроник, оно стало частью Великого Забвения и, следовательно, попросту не имело места для отцов-основателей нашей культуры. В их воображаемой реконструкции истории первые люди были «протогорожанами» — горожанами без городов, фермерами без ферм, торговцами без торговли. Они едва ли могли представить себе целый мир, населённый одними изгнанниками, а ещё меньше то, как могло выглядеть изгнание целых племён и что это для них означало. Оглядываясь в прошлое, они видели лишь людей, начинавших строить цивилизацию, поскольку у них была изначальная тяга к цивилизации. Если же мы оглянемся в прошлое, отбросив ограничения, навязанные нам Великим Забвением, мы увидим совсем другое — людей, бессознательно (но систематически) отказывавшихся от вполне благополучного образа жизни, а затем суетливо сколачивавших что-нибудь ему на замену. С тех пор мы и суетимся, и каждый год наши законодатели и политические мыслители возвращаются к бесконечному сколачиванию чего-нибудь, что работало бы так же безотказно, как система, которую мы разрушили.

Меня иногда упрекают в том, что я влюблена в племенной образ жизни. Мне так прямо и говорят: «Если вы так это любите, идите и живите в каком-нибудь племени, а нас оставьте в покое». Кто так меня понимает, тот совершенно не понимает, что я говорю. Племенной образ жизни бесценен не потому, что красив, рационален или «близок к природе». Он бесценен даже не потому, что представляется естественным

для людей. Для меня это всё тарабарщина. Это как говорить, что миграция птиц хороша потому, что она естественна для них, или что зимняя спячка хороша для медведей потому, что они любят поспать. Племенной образ жизни бесценен потому, что он *испытан временем*. Люди были довольны им в течение трёх миллионов лет. Он был оптимален для них в той же степени, в какой гнёзда оптимальны для птиц, паутина для пауков, норы для кротов, берлоги для медведей. Во всех этих случаях дело не в красоте — дело в *оптимальности для жизни*.

Мне также говорят: «Если всё было так чудесно, то почему это всё исчезло?» На это я отвечаю: оно не исчезло, оно продолжается по сей день. Та система продолжает работать, но тот факт, что она работает, не делает её неуязвимой. Норы, гнёзда и паутину можно уничтожить, но это не изменит того факта, что они *работают*. Племенной образ жизни *можно* уничтожить, и он *был* большей частью уничтожен, но это не меняет того факта, что его система оптимально работала не протяжении трёх миллионов лет и продолжает работать так же оптимально, как прежде.

Тот факт, что система племенного уклада жизни работает, сам по себе не значит, что никакая другая система работать не будет. Но наша проблема не в том, может ли работать «какая-то» другая система. Наша проблема в том, что *наша конкретная* система не работает — и работать не может. Она несёт в себе механизмы своего разрушения. Она фундаментально нестабильна. И, к сожалению, она разрослась до глобальных размеров раньше, чем удалось установить природу её нестабильности.

Важно понимать, что наш эксперимент с новым образом жизни не единственный в наше время. Птицы экспериментируют с гнёздами — так гнёзда развивались с самого начала и так они продолжают совершенствоваться. Кроты экспериментируют с норами — так норы развивались с самого

начала и так они продолжают совершенствоваться. Пауки экспериментируют с паутинами — так паутины развивались с самого начала и так они продолжают совершенствоваться. Мы не знаем, какие эксперименты в области человеческой культуры проводились в Старом Свете, — эксперимент Берущих стёр их следы в истории, — но мы знаем обо многих экспериментах, проводившихся в других местах. Поразительно в них то, что те варианты культуры испытывались таким же образом, каким обычно испытываются варианты организации жизни внутри биологических видов. Что действует, выживает, что не действует, гибнет, оставляя позади себя окаменелости и руины — оросительных каналов, дорог, городов, храмов, пирамид.

Повсюду люди искали альтернативы традиционному племенному образу жизни — охоте и собирательству. Их обязательными требованиями к альтернативам были осёдлость и стопроцентно сельскохозяйственное производство продуктов питания, и, если один эксперимент заканчивался неудачей, они были готовы настойчиво экспериментировать снова и снова. Они свыклись с тем, что секрет успеха оставался секретом. Что стало с народами, загадочным образом бросившими возведённые ими города в джунглях и пустынях? Они исчезли в другом измерении? Нет, они в конце концов отчаялись и ушли. Они просто вернулись к испытанным системам жизненного уклада, в долговечности которых можно было не сомневаться.

Эксперимент Берущих отличался от всех других совершенно безосновательной верой в то, что их образ жизни — единственно правильный для людей, для всех, повсюду, навсегда и несмотря ни на что. Для Берущих не имело значения, что неудача следовала за неудачей. Для них не имело значения, нравился ли такой образ жизни всем. Для них не имело значения, что жизнь людей превращалась в ад. *Это единственно правильный образ жизни.* Точка. Эта странная

догма лишала людей возможности жить иначе, как бы плохо ни действовала навязанная им система. Чем хуже она работала, тем больше людям приходилось страдать.

Вечные страдания

И люди страдали.

Нетрудно понять, чем привлекал людей племенной образ жизни и чем привлекает он их по сей день там, где он ещё сохранился. В жизни племенных народов страданий тоже хватает, но при их образе жизни никто не страдает, если *все* не страдают. У них нет ни класса или группы, которые обречены на страдания, ни класса или группы, которые освобождены от страданий. Если вам кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, проверьте сами. При племенном образе жизни не существует правителей. Старейшины или вожди (почти всегда не единственная их функция в племени) обладают влиянием, но не властью. Там нет ничего похожего на правящий класс, как нет класса богатых или привилегированных. Нет ничего похожего на рабочий класс, как нет класса бедных или бесправных.

Звучит как идеальное общество? Но почему бы ему и не быть таким после трёх миллионов лет эволюционного совершенствования? Вас же не удивляет, что естественный отбор организовал жизнь гусей наилучшим образом для гусей. Вас же не удивляет, что естественный отбор организовал жизнь слонов наилучшим образом для слонов. Вас же не удивляет, что естественный отбор организовал жизнь дельфинов наилучшим образом для дельфинов. Почему же вас удивляет, что естественный отбор организовал жизнь людей наилучшим образом для людей?

И наоборот: почему вас должно удивлять, что основатели нашей цивилизации, уничтожив образ жизни, выдержавший испытание продолжительностью в три миллиона лет, оказались не в состоянии быстро слепить ему на замену

что-нибудь столь же оптимальное? Задача без преувеличения сверхчеловеческая. Мы пытаемся решить её уже десять тысяч лет, и чего добились?

Первым делом исчез краеугольный камень успеха племенной системы организации общества — социальное, экономическое и политическое равенство. С началом нашей революции тотчас начался и процесс социального расслоения — на правителей и подданных, богатых и бедных, привилегированных и бесправных, хозяев и рабов. Возник класс страдающих, и этим классом стали (и навсегда остались) так называемые «массы». Не буду повторять историю, известную всем. Всего несколько тысяч лет отделяют нас от эпохи богоравных царей, когда высшие классы жили в ошеломляющей роскоши, а все остальные (массы страдающих) приравнивались к скоту.

Наконец, мы вступили в так называемую историческую эру. Операция по промыванию мозгов под кодовым названием «Великое Забвение» была успешно завершена. Племенная жизнь канула в Лету тысячи лет назад. Никто во всём цивилизованном мире, как на Востоке, так и на Западе, больше не помнил о временах, когда совершенно простые люди — те самые, которые отныне составляли массы страдающих, — жили в достатке, а человеческое общество не делилось на тех, кто обречён на страдания, и тех, кто освобождён от страданий.

Все думали, что так было с самого начала. Все думали, что таковы природа мира и природа человека. Люди начали думать, что мир — это гадкое место. Они начали думать, что и сама жизнь — это сплошное страдание, разве что с короткими передышками. Они начали думать (и кто их осудит за это?), что в человеке что-то фундаментально порочно. Они начали думать, что человечество обречено. Они начали думать, что человечество проклято. Они начали думать, что надо бы, чтобы кто-то их *спас*.

Важно, чтобы вы понимали, что ни одна из этих идей не

досталась нам в наследство от племенного образа жизни — и не могла достаться. Такие идеи возникают у людей, чья жизнь скудна и наполнена страхом. Можно заставить людей жить по-скотски, но нельзя заставить их думать, что они такой жизнью довольны. Можно отнять у людей все права, но нельзя отнять у них их мечты. Страдающие массы понимали, что они страдают, понимали, что что-то в жизни устроено в корне неправильно, понимали, что они остро *нуждаются*… В чём? В *спасении*.

Поиск истоков и причин человеческих страданий (и средств прекращения их) стал первой великой интеллектуальной и духовной задачей нашей цивилизации, и начался он около четырёх тысяч лет назад. Следующие три тысячелетия стали свидетелями развития всех тех религий, которым суждено было стать основными религиями нашей культуры, — индуизма, буддизма, иудаизма, христианства и ислама, — и у каждой имелись своя теория об истоках и причинах человеческих страданий и свой подход к прекращению их, преодолению их или смирению с ними. Но все они совпадали в одной, центральной идее: будь то освобождение от бесконечного цикла смертей и реинкарнаций или благословенное воссоединение с Богом на небесах, спасение является высшей целью человеческой жизни, невообразимо выше всего другого — здоровья, счастья, чести, славы, — и каждый из нас в достижении этой цели один-одинёшенек во Вселенной. Нирвану, чистую карму и благодать не купишь на рынке. Ни родители, ни супруг или супруга, ни друг или подруга никоим образом не могут поделиться с вами спасением. А поскольку ничто даже отдалённо не сравнимо по важности со спасением, оно — единственная вещь, в отношении которой вы можете со спокойной совестью быть законченным эгоистом. Ваше спасение должно быть вам дороже всего на свете — дружбы, верности, порядочности, чести, родины, семьи. Никто и ничто во Вселенной не стоит того, чтобы вы

пожертвовали своим спасением, и кто бы ни просил вас об этом, вы вправе ответить, что он (она) просит у вас слишком много, и — отказать без колебаний и угрызений совести.

Антихрист ли Б?

Теперь мы, наконец, готовы рассмотреть самый трудный вопрос, на который многие из вас просили меня ответить. Снова и снова вы спрашиваете меня: «Скажите, как вести себя с обвинителями? Как объяснить им, что вы не Антихрист?»

Вам следует начать с понимания того, что такое «Антихрист». Все серьёзные комментаторы сходятся в том, что «Антихрист» — это всего лишь самое позднее имя древнего персонажа религиозных легенд нашей культуры, значительно более древнего, чем Христос, которому этот персонаж, как следует из его имени, противостоит. Иными словами, он не просто представляет собой антитезис Иисуса. Все наши душеспасительные религии боятся явления того, чьей целью будет сбить праведников с пути к спасению.

Антихрист не только антитезис Иисуса, он также антитезис Будды, Илии, Моисея, Мухаммеда, Нанака, Джозефа Смита, Махарадж-джи – всех спасителей и проповедников спасения в мире. Фактически это Антиспаситель.

Легенду об Антихристе сопровождало странное и едва ли не смехотворное утверждение, что его главной привлекательностью для большинства людей в мире будет его разнузданная порочность. Из этого видно, какого низкого мнения наши душеспасительные религии о своих верующих. Это до какой же степени они презирают нас, если полагают, что мы рабски последуем за первым встречным, который пообещает нам вечную жизнь в царстве порока, гнусности и разврата.

Теперь я, наконец, готова ответить вам, как реагировать на обвинителей Б. Когда вам говорят: «Б — это Антихрист», не думайте, что лучшим ответом будет что-нибудь вроде: «Да нет, вы не понимаете». Обвинители прекрасно всё понимают.

Когда они говорят вам: «Б — это Антихрист», ответьте им следующее. Скажите им: «Да, вы абсолютно правы. Б стремится завладеть сердцами людей, чтобы увести их от *вас* и чтобы мир смог жить полной жизнью. Б стремится соединить голоса людей всего мира в один голос, поющий: „Мир должен жить! Мир должен жить! Мы всего лишь один биологический вид среди миллиардов видов. Боги любят нас не больше, чем пауков, медведей, китов или кувшинки. Эпоха Великого Забвения кончилась, и вся её ложь разоблачена. Мы вспомнили, кто мы есть. Наша родня — не херувимы, не серафимы, не князья и не короли на тронах с державой в одной руке и плетью в другой. Наша родня — подёнки, лемуры, змеи, орлы, барсуки. Слепота, которой мы страдали по вине Великого Забвения, прошла, и мы больше не думаем, что человек от природы порочен. Мы не думаем, что боги схалтурили, когда сотворяли нас. Мы больше не думаем, что все формы жизни в бескрайней Вселенной совершенны и один только человек — нет. Слепота, которой мы страдали по вине Великого Забвения, прошла, и мы больше не можем жить так, будто мы самые важные. Мы не можем продолжать верить, что боги создали нас для страданий. Мы не можем продолжать верить, что счастливая жизнь начинается лишь после смерти. Нас больше не привлекает небытие нирваны. Мы больше не мечтаем утопать в роскоши в царстве небесном“».

Скажите им: «Вы правильно понимаете, что мы сбились с пути к спасению. *Как вы всегда и боялись, что мы собьёмся,* так мы и сбились. Но, слушайте, мы не сбились с пути к спасению ради греха и разврата, как вы воображали, что мы собьёмся. Мы сбились с пути к спасению, поскольку вспомнили, что прежде принадлежали миру и были счастливы принадлежать ему. Мы сбились с пути к спасению, но не из любви к пороку и злу, как вы высокомерно воображали. Мы сбились с пути к спасению из любви к миру, что вам и не снилось в вашем многотысячелетнем сне».

Евангелист Иоанн писал: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей». Затем, всего двумя стихами ниже: «Дети! Час последний близок. И, как вы слышали, что грядёт Антихрист, так и множество Антихристов уже появилось, из чего мы знаем, что последний час близок».

Иоанн знал, о чём говорил. Он был прав, призывая своих адептов остерегаться тех, кто любит мир. Это *нас* он имел в виду, и последний час действительно близок, но это *их* последний час, а не наш. Они прожили свой день, и наступил последний час того дня.

Теперь наступает наш день.

(Вернуться в главу 19.)